Альманах библиофила XII

Всесоюзное добровольное общество любителей книги

**«Альманах библиофила»
рассказывает
о книгах и книжниках
прошлого и настоящего,
библиотеках и библиофилах,
поисках и находках в книжном мире,
о делах минувших и современной жизни
книголюбов в разных концах нашей страны
и других странах**

Альманах библиофила

Альманах библиофила

Выпуск 12

МОСКВА «КНИГА» 1982

76.11
А57

Главный редактор
Е. И. Осетров

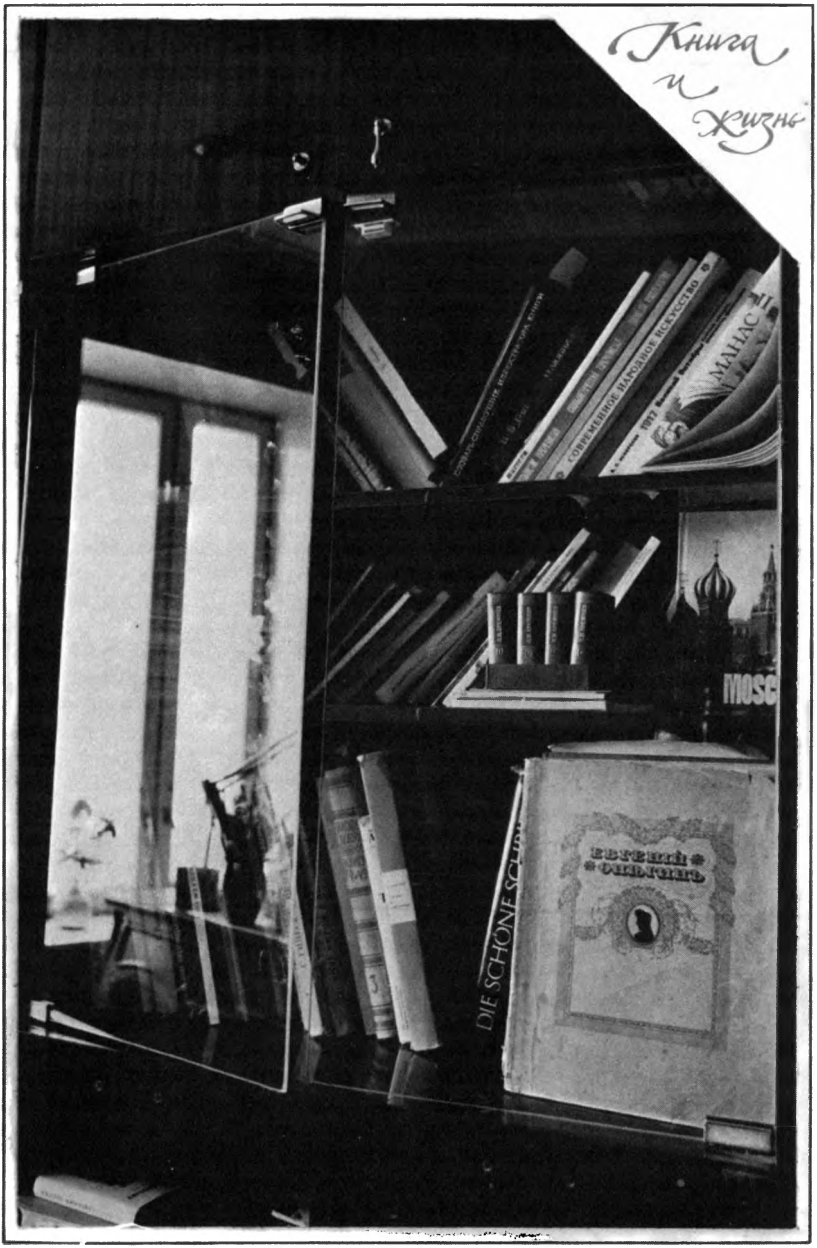
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. Аверинцев, В. И. Безъязычный,
С. Н. Семанов (*ответственный секретарь*),
Н. Х. Еселев, В. В. Кожинов,
И. А. Котомкин, В. Я. Лазарев,
А. Э. Мильчин, А. И. Овсянников,
Л. А. Озеров, П. В. Палиевский,
В. Г. Утков

Художник
В. В. Вагин

А $\frac{4501000000-050}{002(01)-82}$ Без объявл.

© Всесоюзное добровольное общество любителей книги, 1982 г.


Книга и жизнь
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
DIE SCHÖNE SCHU
MOSC

Игорь Петрянов-Соколов

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Беседу вел Владимир Рожков

Академик И. В. Петрянов-Соколов — видный советский ученый, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Его работы в области физической химии, совершенные им открытия получили заслуженное признание. Хорошо известна и общественная деятельность Игоря Васильевича, отдающего много времени и сил заботе о сохранении памятников отечественной культуры, возглавляющего Всесоюзное добровольное общество любителей книги.

Ученый ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.

— Игорь Васильевич, ваша жизнь посвящена науке. В науку верят, она порождает легенды и надежды. В чем вы видите смысл своего служения науке?

— Я думаю, что правильнее было бы говорить не о служении науке, а о служении человечеству средствами науки. Служить людям можно разными путями, и пусть каждый выбирает тот, который ему ближе. Один заботится о прямых нуждах ближнего: скажем, печет хлеб или шьет ботинки. Другой проявляет свою заботу при помощи искусства: создает новую музыку, например. Третий конструирует новые машины, стараясь облегчить тяжелый труд. А кто-то становится ученым. Служить науке ради науки вряд ли стоит. А вот служить родной стране путем, называемым наукой,— смысл большой.

Вероятно, правы те большие умы, которые считают, что объем непознанного нами всегда больше узнанного. Поэтому и объем еще не найденных и не осуществленных возможностей также намного больше тех, которыми мы обладаем. Поиск неведомого очень заманчив, вероятно, в первую очередь, теми надеждами, которые с ним связаны. Кроме того, разумеется, и увлекательностью самого научного поиска, конечная цель которого — открытие новых возможностей для человечества.

— Одно из крупнейших направлений ваших исследований связано с защитой человека и окружающей его среды от вредных воздействий индустрии. Вас заботит и защита

ценностей культуры. Тут, видимо, нечто более глубокое, чем простое совпадение...

— Да, это единая общая забота — охрана природы и бережное отношение к миру, в котором мы живем. Эта проблема тревожит не только меня и должна заботить каждого живущего сейчас на Земле.

Возможности человека, благодаря той части непознанного, которой мы к настоящему времени сумели овладеть, теперь настолько велики, что стали соизмеримы с процессами, происходящими в природе в глобальном масштабе. Человек стал самой большой силой на земле. Он по своему разумению изменяет поверхность — или, как раньше говорили,— лик планеты. Масштабы этой перестройки колоссальны. При этом возникают гигантские потребности, а запасы природных материалов не бесконечны. Мы тратим их безудержно. А ведь в мире существуют великие законы сохранения, и все то, что мы берем у природы, не может исчезнуть бесследно.

Неразумное развитие промышленности в капиталистических странах, бездумное отношение к последствиям этого развития становится опасным для самого физического существования человека. Возьмем самое простое — воздух, которым люди дышат. Без еды можно обойтись больше пяти недель, без воды — почти пять суток, а без воздуха и пяти минут не проживешь. Тем не менее воздуху уделяется недопустимо мало внимания, с поразительной, а вернее, с преступной беспечностью его отравляют, превращая атмосферу больших индустриальных районов и крупных городов в свалку ядовитых промышленных отбросов. В результате многие промышленные центры накрыты, словно гигантскими колпаками, толщиною в сотни метров, тучами из удушливого, отравленного газами и аэрозолями воздуха. Человеку становится нечем дышать...

Известно, что один из наиболее загрязненных в мире — воздушный бассейн Токио. В печати были сообщения, что на улицах этого города установлены автоматы с платной подачей кислорода. Захотел подышать — отдай монету!

— *Древнегреческий натурфилософ Анаксимен, считавший воздух первоначалом всего сущего, рассматривал его как пример чистого движения, не имеющего вещественности, плотности. Воздух, тончайший, прозрачный, говорил он, ощутим, только когда мы дышим или движемся, или при дуновении ветра. Да и могло ли быть иначе в чистейшей атмосфере античности? Многие обращали внимание и на то, что небо на старинных изображениях золотое. Говорят, на заре человечества оно было именно таким. Как вы*

думаете, Игорь Васильевич, не придется нашим потомкам привыкать к серому небу?

— Ну, золотое небо — это только красивый символ. У чистого неба — цвет голубой, он зависит от рассеяния солнечного света в прозрачной атмосфере. А вот серое небо нам действительно угрожает. Загрязнение атмосферы ведет к заметному изменению климатических условий — увеличивается число туманных дней в году, создаются помехи для авиации. Уже возникли на Земле такие промышленные районы, где голубого неба вообще подолгу не видят. Еще далеко не установлены размеры потерь в сельском хозяйстве. А как оценить разрушающее действие химически агрессивных газов и аэрозолей на бесценные произведения и памятники культуры и искусства? Под действием кислотных загрязнений ускоряется процесс гибели древнейших манускриптов в хранилищах, тканей и металла в музеях. И уж ничем нельзя измерить непоправимый ущерб от ухудшения здоровья, потери трудоспособности, снижения творческой активности людей.

Современная химия — царство сверхчистых веществ. А химическая промышленность — один из главных виновников загрязнения воздушной среды, земли и воды.

Конечно, нельзя остановить научно-технический прогресс. Но надо искать и находить методы и средства защиты людей от его вредных последствий. В этой большой и многосторонней социальной проблеме ведущая роль принадлежит науке. Серьезные, плодотворные разработки ведутся нашим Физико-химическим институтом имени Л. Я. Карпова, другими исследовательскими центрами страны.

Важность и неотложность борьбы с загрязнением воздуха, воды и земли неоднократно подчеркивалась Коммунистической партией и Советским правительством. Эта великая гуманистическая цель сохранения в чистоте природной среды, в которой обитает человек, стала первоочередной, актуальной для всех народов земли.

Одна из самых больших задач, стоящих перед человечеством,— создание автотрофной хозяйственной системы. Идею эту выдвинул великий русский ученый, геохимик Владамир Иванович Вернадский. Современное общество может существовать за счет запасов, получаемых у природы при многократном использовании одних и тех же материалов. Возможны разные подходы к решению этой задачи. Очень большое значение имеет создание безотходного производства — принцип, впервые предложенный у нас в Советском Союзе и признанный уже в глобальном масштабе. Им уже руководствуются страны СЭВ, а также Европейского сообщества, в

будущем его, вероятно, примет и ООН. Это может иметь большое значение для повышения жизненного уровня всех людей на земном шаре. Решение проблемы дефицитного сырья я считаю одной из важнейших задач, стоящих перед учеными. Этот принцип, воплощающий идею бережного отношения к миру, в котором живет человечество, по моему мнению, прямо противоположен самой страшной по своему расточительству опасности для человечества — военной угрозе. Ведь война, навязываемая человечеству империалистами,— это дикая трата богатств, жизней, бессмысленная и бесцельная. Наверное, поэтому у нашего чудесного слова «мир» два значения — они оба глубоко выражают его суть.

— *Творческое, сознательное отношение к миру включает в себя и охрану нашего духовного достояния. Ведь не хлебом единым жив человек...*

— Конечно, это связано очень тесно. Чтобы общество, люди могли существовать дальше, они должны ориентироваться на тот уровень культуры, который достигнут к настоящему моменту. На смену расточительности должен прийти принцип бережливого отношения к богатствам, которыми овладело человечество. А богатства эти не могут ограничиваться только нашими материальными потребностями, их надо понимать гораздо шире. В начале нашей беседы я говорил о разных путях служения людям. Так вот все, что человек создал, что успешно проходит социальное и историческое испытание,— должно быть сохранено. Отсюда и проистекает та забота, которую проявляет наше время,— забота о сохранении памятников культуры.

Мы бережем старый храм потому, что в него вложен огромный человеческий труд, творческий труд. Когда этот храм создавался, он был нужен людям. Человечество, история сохраняет свои создания в течение многих веков потому, что в этом есть огромная социальная необходимость. Многое может быть потеряно — из-за войны, невежества, безграмотности, бескультурья,— за примерами далеко ходить не надо. Но то, что сбереглось в течение веков, существует и доныне потому, что народ это хранил. Раз памятник остался, значит, он был народу нужен, иначе время бы его разрушило. В него вложена великая красота — а потребность в красоте была всегда.

Многое необходимо людям, чтобы жить. Но, вероятно, самые большие и важные слова должны быть сказаны о книге — великом достижении человека, хранилище его ума за многие века существования...

— *Игорь Васильевич, помимо большой исследовательской и организационной работы, которую ведете, вы пишете*

научно-популярные книги, возглавляете прекрасный журнал «Химия и жизнь», являетесь членом редакционной коллегии Детской Энциклопедии и главным редактором третьего тома этого издания. Вы организовали серию хороших научно-популярных книжек «Ученые — школьнику». Какое значение придаете вы этой деятельности?

— По моему глубокому убеждению, для развития науки важна не только специальная литература, но и научно-популярная. Поэтому я и взялся за редактирование научно-популярного журнала, причем такого, какого нет нигде,— по химии.

Специальные статьи интересны лишь узкому кругу ученых. Они могли бы и так поговорить и поспорить...

— Да, существуют же «invisible colleges» («невидимые колледжи») — неофициальные собеседования ученых, в спорах которых нередко рождается истина. Эта внеписьменная традиция уходит корнями во времена перипатетиков, но сохраняется и доныне. Известен пример Ферми, который в последние годы жизни вообще не читал специальной литературы, а всю нужную ему новейшую информацию получал непосредственно и устно от крупнейших специалистов в интересующих его отраслях знания... К тому же язык научных статей носит «замкнутый» характер, он труднодоступен для непосвященных.

— Тысячи специалистов, работающих в смежных и далеких областях, такие статьи, как правило, мало читают. Иное дело — научно-популярные работы. С ними знакомятся «просто так», из любознательности, для отдыха. И между делом получают нужную информацию.

А работая над статьями для Детской Энциклопедии, ученые борются за юного читателя и, следовательно, за будущее своей науки.

— И последний, традиционный для нашего издания вопрос: книги, любимые вами?

— Их много. Любовь к книге, как это бывает, осталась с детских лет. Очень жалею, что не сохранились (жизнь была сложной и трудной) две-три книги, которые держал в руках, когда был мальчишкой. Особенно — самая первая книга, по которой учила читать мама. Это был «Конек-Горбунок». Хотя я прочел сказку в очень раннем возрасте, но отлично помню ее. К сожалению, в таком виде она больше не переиздавалась, и нынешние дети не могут почувствовать ту ласковую, добрую и человеколюбивую красоту, которую вложила в книжку художник Самокиш-Судковская. Я давно мечтаю о переиздании «Конька-Горбунка» с ее рисунками для наших ребят, чтобы

они поглядели, какие в сказке добрые, веселые, хорошие, умные, красивые герои — и кони, и кит, и люди... Лучшего издания, чем то, которое радовало меня в детстве, не встречал. А может быть, все объясняется тем, что это была первая моя книга,— кто знает...

Второй книгой, которую я также прочел в раннем детстве, и до сих пор удивляюсь, как удалось тогда,— был полный (а не сокращенный для детей) «Робинзон Крузо». Вероятно, в какой-то степени Робинзон Крузо стал моим учителем, от которого я получил первые уроки самостоятельности, преодоления неодолимых трудностей и решения неразрешимых проблем. Это очень хорошая книга, умная и добрая.

У меня на полках почетное место занимает «Война и мир», а также — чудесные, неповторимые, единственные в своем роде повести Гоголя. Много изданий Пушкина.

Хочу отдельно отметить две книги: «Тиль Уленшпигель» и «Кола Брюньон». Они для меня — воплощение самых высоких идеалов человечества. Эти две — самые любимые. Впрочем, где граница любви, кто возьмется ее измерить?

Вадим Кожинов

ВОПЛОЩЕННОЕ В СЛОВЕ

Беседу вел Владимир Ерохин

В статьях и книгах, устных выступлениях критика, литературоведа Вадима Кожинова можно проследить постоянно развивающуюся мысль о культуре — коллективной памяти человечества, о значении литературного творчества и книги в мирообразующем процессе.

Словесностью, книжностью пронизано все наше бытие. Редко кто вспомнит теперь столь нашумевшие в свое время, ставшие сенсацией пророчества канадского профессора Маршалла Маклюэна, предрекавшего конец письменной цивилизации с развитием разнообразных средств общения. Книга популярна сегодня как, пожалуй, никогда.

И все же даже сейчас, в условиях небывалого доселе «книжного бума», далеко не все люди (включая и тех, кто в должной мере приобщен к ценностям культуры) становятся завзятыми книжниками. Случайно ли это? Или сказывается предостережение великого Платона, на пороге книжной эры с тревогой отзывавшегося о запечатленном слове, «окаменяющем» живую мысль?

— Этот круг идей, без сомнения, представляет интерес,— *сказал Вадим Кожинов (когда я поделился с ним своими размышлениями).*—Но мне хочется начать разговор с темы «книга в России». Русская книга являет собой глубоко своеобразный феномен. И, может быть, эта тема приведет нас и к некоторым мыслям о книге вообще.

Русская культура является по характеру своему и существу *литературной.* Литература с давних пор — а XIX век, давший особенно яркую вспышку во всех областях духовной жизни, показал это с наибольшей очевидностью — была и остается в России основой, душой, средоточием всего культурного бытия.

Был такой период, лет 20—25 назад, когда некоторые авторы усиленно третировали русскую живопись за ее «литературность» (сравнение шло с итальянской, французской, гол-

ландской школами). То же самое можно было бы сказать, кстати, и о русской музыке, которая, если угодно, насквозь литературна. Единственное, чего не учитывали «критики»,— что это не недостаток, а существеннейшая особенность нашего искусства. Рассуждать об искусстве, беря в качестве некоего идеала живописи — французскую, а музыки — немецкую, конечно, можно. Но бессмысленно. Русские живописцы — сознательно или бессознательно — *стремились* к литературности своих сюжетов, тем, мотивов. Литературная основа была для них естественна, органична и необходима.

— *Почему?*

— Это сложный вопрос, и ответ на него завел бы нас в дальние дебри философии или, вернее, историософии. Но ключ нам дан: «В начале было Слово»...

— *И слово было греческим...*

— Исторически — да. Но нам здесь важно то, что слово лежит в основании русской культуры. Об этом немало сказано ее величайшими представителями. Возможно, это вытекает из национального характера нашего народа. Примем просто как факт: слово — основа не только нашей художественной культуры, но и культуры в целом.

Я имею в виду слово самодовлеющее, суверенное, словосущность. Ведь вообще-то все формы человеческого сознания воплощаются в слове. Но далеко не везде оно является, так сказать, субстанциальным. В некоторых случаях слово — только знак (как в технических науках), подобный любому другому знаку — схеме, формуле, цифре. Литература есть бытие слова в узком, прямом смысле. А книга — неотъемлемая внешняя форма, в которую объективируется литература, словесность.

О громадном значении книги в России говорит хотя бы такой, на мой взгляд, необычайно выразительный статистический факт. Накануне первой мировой войны русская промышленность и техника не были ведущими в мире. Россия во многих отношениях отставала от европейских стран и США. Далее: мы знаем, что полиграфия — чрезвычайно сложное производство, связанное с успехами многих наук и многих областей техники. Так вот, при всем этом Россия занимала одно из ведущих мест в мире по выпуску книг, как по количеству названий, так и по тиражам. Выходило более 30 тысяч названий книг в год при среднем тираже 7 тысяч экземпляров — довольно большом для того времени. По выпуску книг Россия почти в 3 раза превосходила Францию, Англию, США[1].

Необходима оговорка: в Германии книг выходило несколько больше. Причины очевидны. Германия — родина книгопе-

чатания. Полиграфическая промышленность там рано достигла высокого уровня. Германия играла в этом смысле лидирующую роль. Она выполняла массу иностранных заказов, в том числе русских. Это характеризует, разумеется, и немецкую промышленность, и немецкую культуру.

Так что Россия действительно занимала одно из ведущих мест по выпуску книг. Это о многом говорит. Не о достижениях русской промышленности и полиграфической техники, а о великом значении книги в России. Россию того времени нельзя было сравнивать с западными странами по уровню развития химической промышленности, полиграфии и ряду других технических характеристик. И все же, как книжная держава, она играла одну из главенствующих ролей в мире.

И я полагаю, что именно на примере России мы можем говорить о книге как об абсолютно незаменимой форме существования литературы.

— *Как же иначе? Ведь литература — от литеры, буквы?*

— Последние 10—15 лет наблюдается все расширяющаяся тенденция переводить литературу, и в частности русскую (о которой, главным образом, и идет у нас речь), в зрительный план. Я имею в виду экранизацию — на телевидении и в кинематографе. Не скрою, что меня многое здесь тревожит, и весьма серьезно.

Несомненно, неукротимое влечение экранизаторов, инсценировщиков к литературным произведениям, желание привести русскую литературу к существованию на экране свидетельствует о грандиозном значении ее в нашей культуре и самой жизни. Но ясно и другое: если это явление будет и дальше расширяться, захватывая новые поколения людей, выросших в телевизионной, кинематографической эре, последствия, с моей точки зрения, могут быть катастрофическими.

Любая экранизация, инсценировка в лучшем случае обедняет, в худшем — грубо искажает источник. Конечно, произведению может быть нанесен и минимальный ущерб. Режиссер может обладать достаточно высоким духовным уровнем, который обеспечивает возможность перенести произведение на экран без жестоких потерь. Но подобного уровня мастеров не так много.

К тому же надо отчетливо понимать: великие творения русской литературы не нуждаются в *осовременивании*. Русские писатели с полной основательностью осознавали, что пишут не только для своего века. Это ясно формулировали Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой.

Российская словесность создавалась *для нас* — как и для каждого нового поколения. Ее не нужно осовременивать.

И тем не менее возникает тяжкая, страшная опасность отказа от традиционного книжного существования литературы. Для значительной части людей, несомненно, доступнее экранное перевоплощение книги. Но даже если оно максимально точно, адекватно оригиналу — все равно не может заменить авторского текста. Книга подразумевает довольно сложный и богатый по своему содержанию творческий акт. Читая «Войну и мир», мы сами приобщаемся к стихии высочайшего и напряженнейшего творчества. Как говорил сам Толстой, истинное искусство рождает ощущение: «Я не воспринимаю, а творю».

Мы раскрываем книгу и погружаемся в безграничную, полную событий и страстей художественную жизнь «Медного всадника», «Братьев Карамазовых», «Войны и мира»... Задумываясь над тем значением, которое книга вообще имеет в культуре, мы, поражаясь, открываем в ней все новые и новые глубины.

Опасность, о которой идет речь, состоит в том, что воспринимающий произведение на экране несравненно более пассивен (даже не количественно, а качественно), чем читатель. Безусловно, и в душе зрителя пробуждаются новые чувства и мысли, но это — совсем другое явление. Поэтому-то я и говорю: вытеснение книги из культурного бытия — великая опасность.

Весьма типично, характерно для нашего времени, что экранизация побуждает читать. На книги, ставшие телеспектаклями и фильмами, спрос в библиотеках возрастает невероятно. Но это далеко не всегда спасает положение, потому что у таких — пришедших от экрана — читателей заведомо ослабленное или даже испорченное восприятие литературы. Слабое отражение образов, сюжета, авторской картины мира на экране впитывается очень легко и свободно, а с книгой иметь дело не так просто. Тут требуется напряженное сопереживание и сотворчество.

Облегченная жизнь на экране захватывает. Мелькание кадров вызывает желание бежать в библиотеку, найти книгу...

— *Когда это решение становится массовым, наступает одна из причин «книжного бума»...*

— Об этом явлении говорят преимущественно в негативном плане. Его связывают прямо-таки с гибелью книг, которые попадают в руки наиболее энергичных людей, стремящихся соответствовать престижным канонам. Книги добываются, ставятся на полки и... исчезают из обращения. Известный издательский работник из Ленинграда Дмитрий Хренков обвинял значительные слои людей в том, что они убивают

книги, держа их как вещи, не интересуясь тем, что помещено между двумя переплетами.

В одной из центральных газет был напечатан весьма характерный фельетон: некий молодой человек продал всю Библиотеку всемирной литературы из домашнего собрания. Суперобложки он незаметно набил газетной макулатурой. Родители узнали о пропаже... через 2 года.

И все же, мне думается, не следует оценивать «книжный бум» только со знаком минус. Предположим, у людей дома без всякого движения стоят книги. Но любой импульс — скажем, та же экранизация — приведет к тому, что они снимут с полки том и начнут читать.

Нельзя принимать печальные последствия мещанского книголюбия, выражающегося в слепом преклонении перед книгой как вещью, как чисто материальной ценностью, за суть дела.

Да, это факт: книга нередко становится предметом самой примитивной спекуляции, средством обогащения ловких и беспринципных людей. Но спекуляция ведь вырастает на живой потребности. Невозможно спекулировать на ненужном. А вот на жизненно необходимом спекуляция может нарасти, как болезнь. Люди согласны жертвовать, поступаться, отказываться от нужного ради более важного. Нельзя заставить покупать вещь по высокой цене, если в ней нет органической потребности. И печальные следствия «книжного бума» представляют собой отголосок невиданного во всемирной истории — не в количественном, а именно в качественном плане — гигантского увлечения книгой.

Хочу подчеркнуть: это самым тесным образом связано, сопряжено с тем громадным значением, которое имела и имеет книга в России. При сходных условиях в других странах аналогичное явление в той же мере вряд ли возможно. Столь напряженное и безоглядное традиционное увлечение книгой мы наблюдаем только в своем отечестве.

Снова вернусь к тому, с чего я начал. Россия накануне первой мировой войны в техническом отношении отставала от США, а по выпуску книг почти в три раза превосходила их. Возьмем издание художественной литературы: только в последнее время Англия, Франция, США превысили уровень России 1913 года. По технической литературе они давно его превзошли, а вот по художественной набрали этот уровень лишь в недавние годы.

Количество изданий художественной литературы выросло у нас в стране в сравнении с 1913 годом более чем в полтора раза, а средний тираж — почти в 10 раз[2].

Эти статистические выкладки интересны не сами по себе, а как подтверждение неоспоримого факта: литература — незыблемая основа отечественной культуры.

Книга, которую я считаю незаменимой формой существования литературы,— уже давнее изобретение. Человек сжился с нею. Книга — глубоко освоенный предмет самого нашего быта.

— Мне вообще кажется, что книга принадлежит к парадигматике культуры, к числу таких ее инвариантов, как дом или одежда.

— С этим нельзя не согласиться. И только досаду вызывают фантастические романы, в которых дом есть, а книги нет: вместо нее — телевидение или некая передача мыслей на расстоянии. Это ошибка.

Мы далеко не уяснили для себя полноты значения книги. Это резервуар, в который вливается вся наша культура. Ничто не сравнимо с ней в этом плане.

Для России характерно преимущественно книжное бытие культуры. В Италии эту же роль играют живопись и вокал, вне которых немыслимо представить итальянскую культуру. Познавать Италию только через книгу — мало. А в России можно все постичь через книгу. Кто не освоил у нас мир книг — не поймет ни живописи, ни музыки. На основе этого представления о книге и надо ставить проблему.

— Но не зря, видно, в древности говорилось: «Буква мертвит, а дух животворит»...

— Да и сейчас приходится встречаться с мнением, что книга как вещь может помешать восприятию живого культурного процесса. Во всяком случае, по отношению к отечественной культуре это, по-моему, неправильно. Книги позволяют постичь живую жизнь духа. Статика букв преодолевается, и подлинный читатель получает возможность воспринимать и усваивать живое биение отечественной культуры и самого человеческого и народного бытия.

Собственно «библиофильская» сторона книги в России не выражена так сильно, как в целом ряде других стран. Не это было главным. Мы уступаем, видимо, Франции, Германии, Англии с точки зрения совершенства книги как предмета, хотя и у нас есть издания самой высокой библиофильской ценности — особенно начала XX века, когда работал отряд превосходных художников книги. Эта линия, продолжаясь в 20—30-е годы, была прервана Великой Отечественной войной, а теперь снова возрождается.

Но и весьма высокий уровень библиофильских изданий все же не может придать им самодовлеющей ценности. Наши

библиофилы, даже оценивая книгу с точки зрения формы, не придают ее внешности исключительного значения; на первый план выдвигается содержательность: речь идет о том, насколько адекватно воплощен смысл книги в шрифте, виньетках, формате, переплете и т. д. Подобный подход требует больших художественных усилий, творческого акта.

Пример конгениальности — то, как Николай Кузьмин оформил «Евгения Онегина». Через абсолютно внешнее, на первый взгляд, то, что схватывается библиофильским осязанием, даже, если хотите, обонянием, происходит наше соединение с миром Пушкина. Да, уже зрение и осязание наслаждаются этой книгой. Первый взгляд схватывает характер книги (не произведения, а именно книги) как таковой. Но мы уже приближаемся, приобщаемся к содержанию пушкинского романа. Внешность издания дает при этом «сведения» большой значимости. Духовная содержательность выводится художником в материальный план, и это позволяет глубже, родственнее, интимнее воспринимать поэтический текст. Суггестивность, момент внушения делает глубже и неотвратимее восприятие художественного смысла.

Именно в отечественной культуре было бы неправильным ставить во главу угла чисто библиофильский аспект издания. На Западе, напротив, духовная содержательность книг для издателей порой второстепенна, на первый план часто выходит форма как таковая. Это естественно, если в основе культуры лежит не литература. Так, для Италии или Франции стержневым началом стала живопись, что выражено уже в самом характере книги как предмета. Даже невыдающиеся художественные произведения, даже справочники здесь — великолепные творения книжного искусства, и это вполне закономерно.

Возьмите старые итальянские издания — скажем, прекрасные тома Витрувия, посвященные архитектуре. Национальная культура проявляет себя уже в самой полиграфии. Эти внешние черты книги, пожалуй, не меньше, чем ее содержание, приобщают к итальянской культуре.

У нас же книжное искусство целиком подчинено смыслу. Причем связь между этими двумя сторонами книги — прямая. С чисто формальной точки зрения в российских изданиях первенствует искусство слова. И вот что важно здесь. Русские литераторы никогда не стремились к абсолютному совершенству своих творений — во всяком случае, в той степени, в какой это свойственно писателям Запада. В России не могло быть такого рыцаря формы, как Флобер, мечтавший написать книгу ни о чем,— как некое чисто формальное совершенство.

Было бы внекультурным видеть в этом стремлении какую-то безусловную недостаточность. По-настоящему образованный человек может по достоинству оценить такое искусство, он может восхищаться уникальными творениями в области формы, даже испытывать зависть к столь высокой степени мастерства, которой нет и не может быть в отечественной словесности,— потому что у наших писателей нет такой задачи.

Так вот в той мере, в какой существует прямая связь между совершенством полиграфии и формальным совершенством художественных произведений, русская литература не совершенна. Занятны в этом отношении отзывы иностранцев. Во Франции достаточно распространена точка зрения, согласно которой Толстой и Достоевский — титаны, которые и не снились Западу. Но писать они не умели... Это парадоксальное мнение не лишено смысла. Для русской литературы в самом деле не характерна чеканная, завершенная, вполне «идеальная» форма.

— Достоевский считается на Западе основоположником или, во всяком случае, предтечей философии экзистенциализма (о которой сам он, естественно, знать не мог). Искания русских левых художников начала века легли в основу западноевропейского и североамериканского модернизма. Не является ли столь модная сейчас на Западе так называемая «плохая проза» эпигонством того гениального несовершенства, которое дали миру титаны русской классической литературы?

— Если вы имеете в виду так называемый мовизм, то это — частная тенденция, не имеющая, на мой взгляд, сколько-нибудь серьезного значения. Это явление того же порядка, что и поп-арт, «битлз»,— едва ли плодотворная внешняя «демократизация» культуры. Для сравнения обратимся к музыкальному искусству. «Битлз» получили гигантское признание именно потому, что создавали в массах слушателей иллюзию: «Мы поем так же, как они». Это вызвало ощущение общности, эмоционального родства. За тысячелетие существования европейской культуры люди привыкли к определенным нормам восприятия искусства. Раньше со сцены пели те, кого невозможно повторить. В современных условиях массовый успех может принести только новизна. И вот — «парни поют, как мы» (то есть, как в пивной или на вечеринке). Голосов нет, вместо музыки — шумовые эффекты... Негатив имеет значение лишь на фоне позитива. Пение «как у нас» устранило рампу, низведя эстраду до уровня зала, а публике открыв широчайшую возможность самовыражения. Бардами и менестрелями становится каждый десятый, перенимая у «кумиров» их наглость, развязность...

— Если уж говорить о музыке, меня нисколько не тревожит, а только радует повальное сейчас увлечение игрой на гитаре, мгновенно исчезающие с прилавков деревянные блок-флейты, привлекательные своей простотой. И то, что подростки или те же пресловутые «парни из пивной» поют во дворе, а не дерутся, по-моему, не так уж и плохо. Развитие непрофессиональных форм искусства, современного фольклора, возможно, свидетельствует и о каких-то глубинных процессах в культуре — о стремлении людей к нерасчлененности, неразрывности бытия, к той цельности жизни, которая существовала в древности и была затем утрачена...

— Но это чревато и вредными последствиями. Происходит обесценивание искусства в его глубочайших проявлениях. И есть серьезное различие между древним и современным фольклором. В старину каждый занимался художественным творчеством. Но существовала тончайшая, разработанная тысячелетиями традиция — такая, например, как искусство многоголосого пения. На этом коллективном опыте народного творчества вполне мог вырасти и гений. Так создавались великие произведения культуры. Наш же современник вторгается в самодеятельное «творчество» без подготовки, без традиций и корней.

Но может быть, вы в чем-то и правы: не исключено, что здесь начинается возвращение к древнему синкретизму искусства и быта, всего образа жизни.

Мне вспоминается книга сельского учителя Адриана Митрофановича Топорова «Крестьяне о писателях», где собраны нередко странные, но самобытные суждения. Отец космонавта Германа Титова учился в той самой сельской школе и участвовал в написании книги. Село стало знаменитым, туда начали наезжать корреспонденты, расспрашивать о днях, когда создавалась эта книга. И одна крестьянка прекрасно сказала: «Тогда мы все пели, на гармонях играли, танцевали. А сейчас — смотрим телевизор, радио слушаем, а сами ничего не производим».

Верно, есть такая тенденция — оживающая потребность быть творцами. Людям надоело оставаться только болельщиками, покупателями, посетителями, зрителями. Но надо различать уровни. Массовая художественная культура, создающая формы нового фольклора, возможна, если ее участники не будут стремиться к соперничеству с профессиональным искусством. А то ведь сегодня менестрельство претендует на то, чтобы вообще заменить искусство пения. Я резко столкнулся с этим постольку, поскольку увлекаюсь творчеством одного

замечательного певца — Николая Тюрина. Серьезным препятствием для него стал... прекрасный голос.

— *В литературе с менестрельством сопоставима массовая графомания. Причем плохо не то, что все пишут, а то, что пишут плохо и хотят непременно печататься. Есть несовершенство разного рода — от скудости и от избытка таланта. Если я правильно вас понял, напряженный поиск средств выразительности у гениев русской литературы шел под напором содержательности, бьющей через край, не вмещающейся в традиционные формы...*

— Любопытно сравнить это с весьма характерным для Запада творчеством Анри де Ренье — по существу, бессодержательным, но исполненным формального совершенства, которое само по себе обладает определенной содержательностью. Есть у нас прекрасное библиофильское издание — собрание сочинений Ренье, осуществленное издательством „Academia" в 1923—1927 годах. Адекватное воплощение творчества этого мастера миниатюр, написанных тонко отточенным пером,— около двух десятков карманного формата томиков, чрезвычайно изящно оформленных. Уже самое осязание этих легких книг (помните — я говорил о библиофильском осязании?) выражает их содержание. И это при том, что библиофилия — не самая выигрышная наша сторона, в этом отношении мы уступаем другим странам.

У русской культуры есть великое достоинство — всемирность, всечеловечность, способность оценить достижения других народов. Там, где речь идет о понимании мирового значения книги, русских нельзя упрекнуть. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить огромные тиражи переводной литературы, великолепно изданную Библиотеку всемирной литературы, постоянные публикации произведений иностранных авторов в толстых журналах. Или посмотреть наш «Альманах библиофила», который уделяет самое серьезное внимание собраниям зарубежных книг. Вспомните материалы о библиотеке Соболевского, о других наших библиофилах, главным предметом которых было собирательство зарубежных книг.

Уступая иностранным изданиям с формальной точки зрения, отечественные книги имели уникальную способность передавать живое биение духа и самого бытия. То, что Запад истолковывал как неумение писать, было для их творцов стремлением не дать произведению формального завершения, которое убивает, приводит к закостенению, отвердению живого дыхания жизни. Наши художники-оформители именно это и выдвигали на первый план.

Кузьминское издание «Евгения Онегина» очень характерно для русской книги. Исходя из черновых беглых набросков Пушкина, художник построил эстетическую концепцию книги. Как бы моментальные, мгновенные, небрежные рисунки эти соответствуют духу и стилю пушкинского романа. Они выполнены как бы между делом, не претендуя на совершенство (хотя оно, конечно, есть). Графика, обладающая строго завершенной формой, была бы тут неуместна. Кузьмин нашел точное решение.

Могут возразить, что решение художника было продиктовано пушкинскими рисунками. Но и у любого писателя (в том числе западного) можно обнаружить подобного рода наброски. Бездумно чертить на полях — свойственно человеку. Это были черновики, ни на что не претендующие. Их можно было бы убрать в архив, как первоначальную стадию работы. Кузьмин положил их в основу своего труда. Своего рода импровизация.

Кстати, о прославленной *импровизационности* джазовой музыки. И мне хочется высказать свое мнение по этому поводу, раз уж зашла речь об излюбленном вами предмете.

Да, несомненно, импровизационная природа негритянской (или хотя бы связанной с ней) музыки — очень интересный феномен. Более полувека назад Европа была буквально покорена ею. Как это ни парадоксально, глубоко архаическая музыкальная стихия предстала как нечто сугубо современное. И именно ее импровизационный характер вкупе с ее синтетичностью (нераздельное единство музыки как таковой, пения, танца, даже особой манеры двигаться) создавали мощное ощущение свежести, первозданности, своего рода гениальности и т. п.

И все же я хочу обратить ваше внимание на другую сторону дела. Позволю себе выразить убеждение в том, что в недалеком будущем полувековое господство этой музыкально-песенно-танцевальной стихии в Европе будет осмыслено как своего рода культурное бедствие, как эпидемия, или, точнее, пандемия.

Как могло случиться, что богатейшая и прекраснейшая музыкальная культура европейских народов на полстолетия была как бы совершенно заглушена и оттеснена на второй план этой стихией? Конечно, народная музыкальная культура Италии, Испании, Франции, Англии, Австрии продолжала существовать и развиваться и в эти полвека, но где-то на периферии, на каких-то культурных островках; подавляющее большинство людей жило во власти того, что так или иначе относится к «джазовой» культуре.

— *Джаз вдохнул в европейскую музыку новую жизнь, вернув музыкантам радость первозданного спонтанного творчества, освободив их от рабской привязанности к нотам, дав им полноту самораскрытия в процессе игры.*

— Это верно, живость, индивидуальность у джаза не отнять. Но содержательно он очень однообразен...

— *Я сказал бы, что он, скорее, каноничен. Вспомним, например, гармоническую структуру блюза, в принципе неизменную. Да и мелодические ходы даже у такого гения джаза, как Чарли Паркер, представляют собой необозримо широкий, но тем не менее вполне определенный набор заранее заготовленных стандартных блоков — нечто вроде деталей конструктора. Что же касается содержательности, не надо забывать о духовных основах джаза, выросшего из рабочих песен и «спиричуэлз».*

— Вместе с тем в основе он восходит к древней импровизации с очень ограниченным запасом мыслей и чувств. Фольклор — вещь типовая...

— *Потому здесь и минимален элемент случайности. Через неповторимую индивидуальность музыканта-импровизатора действуют усвоенные им культурные образцы.*

— Это относится не только к музыке. Всякая попытка поломать каноны...

— *...или сбросить их с корабля современности...*

— ...неизбежно приводит к рабству форме, причем гораздо более бедной и однообразной. Попытка сделать законом случайность парадоксальна, но закономерно ведет искусство к энтропии, хаосу, вырождению. Своеобразие в искусстве, как и повсюду в мире, возможно только при четкой организованности. Жизнь являет собой необозримое многообразие форм; хаос же всюду одинаков.

Рисунки Кузьмина, о которых мы говорили, не были случайностью, за ними стояла огромная работа. Пушкин, конечно, рисовал как бог на душу положит. А вот сделать книгу в стиле пушкинских набросков мог художник только самого высокого класса. Это как в цирке: самый лучший акробат — тот, который вроде бы ничего не умеет...

Отечественная книга не должна стремиться к вещности. Утверждая это, я вовсе не хочу призвать издателей, полиграфистов отказываться от совершенства. Есть более сложная задача — высшей степени совершенства, в котором нет абсолютной завершенности, вещности. В самом облике произведения передать колебание, живое движение. Эту тенденцию можно увидеть в русской книге — изданий, подобных «Евгению Онегину», немало. Популярный пример — высокое мастерство

книжной графики художников «Мира искусства» — набросочность, незавершенность, ускользающие контуры. Скользящая поэтика... Художники этой школы сыграли огромную роль в развитии нашей книжной графики. Их влияние осталось и потом, со временем нарастая. Ярчайшее явление в этом смысле — Конашевич, стремящийся сохранить живое. Ему свойственны асимметрия, процесс, заложенный в самом рисунке.

— *Рисунок в принципе динамичен. В основе его лежит линия — след движения руки, очерчивающей пространство. Он весь — запечатленное движение. Но в каком-то моменте этой фиксации движения возникает статуарность, и оно кристаллизуется, выпадает в осадок жесткой формой. Наступает материализация, складывается вещественный мир... Дихотомия подвижности и вещественности как двух начал занимает человечество еще со времен Пифагора, Гераклита и Парменида. Она отразилась в обратной перспективе русской иконы, выводящей за пределы видимого образа, и готической скульптуре, плотностью, осязаемостью своей утверждающей незыблемость первооснов бытия. Почему эстетика России выбрала именно процессуальность, отбросив статику?*

— Для русских характерно своего рода «пренебрежение» формой...

— *Не аморфность, а непрерывность формообразования...*

— Но здесь есть и негативная сторона. Ни в одной стране мира, например, не было такого пренебрежения к памятникам культуры, как в России. Почему? Да потому, что у нас ценился дух как таковой. С точки зрения русского человека, дух оформившийся — умер.

И у нас стремились расшатать, разрушить форму для полного воплощения этого духа. Реализовывалось это и довольно своеобразно (мягко говоря) — как гибель памятников.

— *Да, это явление давнее, я бы даже сказал — традиционное. Известно, что в Москве во второй половине XVIII века было разрушено больше памятников русского зодчества, чем за два последующих столетия...*

— Чего стоит хотя бы великолепный дворец в Коломенском! Или возьмите дворец XV века в Кремле, уничтоженный при Николае I. По его же приказу была снесена церковь XIV века у Боровицких ворот — она мешала императору видеть строительство храма Христа Спасителя...

Маркиз де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» возмущался нашим варварским отношением к своему прошлому. И это — француз. А что сказал бы англичанин — представитель

страны, где почитание памяти, истории возведено в ранг общенациональной черты!

Такова негативная сторона явления, глубоко коренящегося в самом характере культуры.

Я часто задумываюсь о Льве Толстом — последовательном и неукротимом разрушителе всего и вся. Подчас он заходил в ужаснейший тупик — как в «Сказке об Иване-дураке», где весь смысл человеческого существования сведен к тому, чтобы добывать и потреблять хлеб. Критерием личностной ценности в этой сказке выступает немая девка. Она, прежде чем усадить человека за стол, смотрит, есть ли у него на руках мозоли. Если нет — ему достанутся объедки. Взбунтовавшись против застывших форм культуры, художник готов отказаться и от культуры вообще, всецело.

— *«В этом вихре — вся судьба России...»*

— Постоянный уход от самого себя, от уже достигнутого... В этом мне видится, конечно, и русский максимализм, и бескомпромиссная духовность.

Самобытнейший русский мыслитель Николай Федорович Федоров понимал книгу как одну из форм бессмертия человека — ее творца, бессмертия его духа. Из этого и должно исходить истинное собирательство — из внутренней, духовной сущности, а не формальной вещности книги.

— *Именно в этом смысле рукописи не горят...*

— ...Даже если книга сгорела в сожженной населением Москве, как «Слово о полку Игореве», или была казнена, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Книга у нас становится поступком, подвигом. Она несет в себе глубочайший драматизм, дает гигантский заряд социальной и культурной энергии.

Именно это свойство книги, а не ее чисто библиофильский аспект, представляет особенную ценность для отечественных собирателей.

— *У нас встречается и такой весьма своеобразный феномен, как «антибиблиофильство», когда человек не столько собирает, сколько раздаривает книги, отдает их «почитать» и не требует назад — не из легкомыслия, а по внутреннему побуждению. Один философ утверждал даже, что воистину нашими являются лишь те книги, которые подарены нами, взяты у нас и «зачитаны»... Но это, конечно, крайность. А какова ваша библиотека?*

— Она являет собой пример той самой незавершенности, которая так характерна для русской культуры... Я раздал много книг. Их не возвращали мне никогда. При всех моих долголетних усилиях в ней слишком многого нет — это харак-

терная черта моей библиотеки. Но то, что есть — нужное. Я убежден со всей непреложностью, что надо иметь только те книги, которые необходимо читать не один раз. А таких сравнительно немного. В мире — несколько сот тех, которые обязательно надо перечитывать.

У меня довольно полно представлена классика. Многочисленны всякого рода справочники — они составляют примерно четверть моего собрания. Обладание библиографическими справочниками в какой-то степени заменяет наличие книг в библиотеке, позволяя удостовериться в самом факте их существования. Естественно, много книг по специальности, по литературоведению. В идеале это собрание должно постоянно обновляться: меняются интересы, ценности. Бывает и так, что какую-то книгу вначале недооценил, а потом печалишься оттого, что не можешь ее достать...

В моем собрании нет особо дорогих изданий. Но наряду с книгами-работягами стоят на полке и «аристократы» — редчайшие книги. Вот одна из них — «Медведь на бульваре» Бориса Зубакина, напечатанная в 1929 году. Ее автор — поэт-импровизатор, чрезвычайно интересный и оригинальный человек, долгое время живший на Капри у Горького. Он был приятелем моего учителя М. М. Бахтина, развлекал его своими экспромтами. Некая косвенная связь с автором и побудила меня случайно, по сногсшибательной цене купить эту книгу, ставшую величайшей библиографической редкостью, хотя сама по себе она большого интереса не представляет.

Есть и другие книги, интересные своей, если можно так выразиться, житейской судьбой. Например, поэтический сборник Варвары Бутягиной «Лютики», вышедшей в 1921 году с предисловием Луначарского. Но история этой книги и ее автора заслуживает специального рассказа — может быть, и на страницах «Альманаха библиофила».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вот точные данные: «В России... было выпущено книг: в 1912 г.— 34 630 названий общим тиражом 133 млн. экз., в 1913 г.—34 006 названий тиражом 119 млн. экз. Россия в 1913 г. вышла на второе место в мире после Германии (35 078), опередив Англию (12 379), США (12 230) и Францию (10 758)» (Назаров А. И. Книга в советском обществе. М., 1964, с. 28).

[2] В 1977 году было издано 5427 книг художественной литературы (из них на русском языке — 2728 книг) средним тиражом 47,2 тыс. экз. (см.: «Печать СССР в 1977 году». М., 1978), в 1913-м — 3475 книг художественной литературы (из них 3127 — на русском языке) средним тиражом 5 тыс. экз.

Виктор Федотов

СТАРОЕ ИЗДАНИЕ «ГАЙАВАТЫ»

Неразрезанную книгу
с пожелтевшими листами
я нашел у букиниста
и задумался на миг.
Столько лет ее хранили
и ни разу не листали
теплой, любящей рукою,
очень жадною до книг.

Может, был ее владелец
занят очень важным делом,
ждал, когда наступит время
с ней побыть наедине.
Но лонгфелловским напевом
насладиться не успел он.
Так могло это случиться,
и естественно вполне.

Или все гораздо проще.
Изменились его взгляды,
и другие интересы
появились у него.
Вот и стал ценить он книгу
за красивые наряды,
а от прежних увлечений
не осталось ничего.

Я унес от букиниста
книгу в ветхом переплете.
Не убрал ее на полку
и поныне со стола:
что-то тайное в ней было,
притягательное что-то,—
современницею Блока
книга старая была.

МОСКОВСКИЕ КНИЖНИКИ

Он увлекателен, мир книжный,
не потому ль и в дождь и снег
в путь отправляется неближний
довольно старый человек.

Книгоискатель. Не любитель,
а книгочей и книговед.
Как там его ни назовите,
названья точного тут нет.

Советуются с ним ученый,
преподаватель, старый друг,
член Академии наук
и некто, книгой увлеченный.

Да всех их и не перечислить,
кому хотя бы раз помог
прокомментировать, домыслить...
Поистине он книжный бог.

Буди его в глухую полночь:
«Где издано, кем и когда?» —
ответит. Где еще пополнишь
такие знанья без труда!

Старейших книжников московских
встречаю я двоих-троих
у магазинов и киосков,
средь шумных улиц городских.

Не ради редкостных находок,
не теша чей-то интерес,
они в пленительных походах,
как лесники, что любят лес.

Николай Палькин

РОДИНА ПЕСЕН

Беседу вел Алексей Корнеев

Поэт Николай Палькин — автор многих стихотворных сборников и поэм. Многие его стихи, положенные на музыку, стали песнями. На протяжении ряда лет он возглавляет журнал «Волга». По роду своих разносторонних занятий Николаю Егоровичу, естественно, постоянно приходится иметь дело с книгами — и как автору, и как редактору, и, разумеется, как читателю.

Мы встретились с Николаем Палькиным в Москве, в дни съезда Союза писателей РСФСР. Наш разговор начался с его воспоминаний о годах детства, о том времени, когда он впервые как читатель приобщился к печатному слову.

— Детские и юношеские мои годы прошли в городе Балашове, улицы которого пахли паровозным дымом, свежеиспеченным хлебом и мокрой после дождя землей.

Сколько себя помню, всегда в нашем доме жила песня — подлинная, настоящая, народная. Жила и запала мне в душу. Впоследствии мне самому посчастливилось стать автором песен.

Родители были людьми скромного достатка. Поэтому у нас книга, к сожалению, была нечастой гостьей.

Для меня дружба с книгой началась со школьной библиотеки. К заведующей библиотекой (она же была и единственным ее работником) я относился с такой же любовью, как и к первой своей учительнице. Первая книга, запомнившаяся на всю жизнь,— это юбилейный однотомник сочинений А. С. Пушкина, выпущенный в 1937 году к 100-летию со дня гибели поэта. Читая все подряд, я вдруг заметил, что многие стихотворения мне знакомы — их знала наизусть и читала вслух моя мать. Простая женщина, не получившая почти никакого образования, она любила стихи. Теперь я понимаю, что любовью к литературе, книге в очень большой степени обязан и ей.

Постепенно в мою жизнь вслед за Пушкиным вошел Некрасов, а затем — Лермонтов. Поэзия захватила меня настолько, что я незаметно для себя начал писать стихи.

— *Как же это случилось?*

— Это было, когда я учился в пятом классе. На уроке литературы учительница прочитала нам стихотворение «Сова» Тараса Шевченко. Образ несчастной женщины захватил и потряс меня. В скором времени я прочитал «Мороз — Красный нос» Н. А. Некрасова. А увиденная в учебнике репродукция с картины Перова «Проводы покойника» усилила впечатление. Три образа в моем воображении слились в один.

В тот зимний вечер во мне впервые пробудилось желание писать стихи. В буквальном смысле, если можно так выразиться, сочинять я начал «от печки». Дома у нас была большая русская печь. Лежа на ней, я рифмовал первые в своей жизни стихотворные строки. Их не сохранила память, но я на всю жизнь запомнил этот вдохновенный час. Много лет спустя написал об этом стихи:

Слегка обиженная чем-то,
Метель вздыхает у ворот.
Уж поздний час, но мне Шевченко
Никак забыться не дает...

Я весь поддался этим чувствам.
И как, уже не помню сам,
О чем-то горестном и грустном
Стихи в тот вечер написал.

Верней сказать, я неумело
Сложил каких-то восемь строк.
Такое на душе кипело,
Что не сложить я их не мог.

Потом «публиковал» стихи в школьной стенгазете. А еще несколько лет спустя я впервые увидел свое имя в печати. В газете «Большевик», издававшейся в городе Балашове, было напечатано мое стихотворение «Переправа», посвященное партизанам Великой Отечественной войны.

После этого закончил вечернюю школу, педагогический институт в Балашове, Центральную комсомольскую школу в Москве. Стал журналистом. Работал в редакциях многих газет — районных, областных, краевых. В литературу, как говорится, пришел из журналистики. Первая моя поэтическая книга была издана балашовской газетой «Комсомолец». Она называлась «Поле золотое» и увидела свет в 1957 году.

— *Николай Егорович, кого из поэтов вы можете назвать своими учителями?*

— Быть может, это покажется странным, но для меня, выросшего на Волге, учителями стали поэты Смоленщины — Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Николай Рыленков. Рыленкова я считаю своим крестным отцом в поэзии. В «Комсомольской правде» он напечатал рецензию на мою первую книжку стихов. Многим помог мне, только еще входившему в литературу, этот замечательный человек, большой поэт. Его книги на почетном месте в моей библиотеке.

— *А с чего начиналось ваше личное собрание?*

— С томика стихов Сергея Есенина 1946 года издания.

— *Затем вы продолжали пополнять библиотеку? Какие, в основном, книги составляют ее?*

— Те, которые близки мне по духу, дороги мне — словом, те, без которых мне было бы трудно. Я хочу, чтобы в необъятном книжном море рядом со мной были именно те авторы, которых я люблю. Это и классики русской литературы, и писатели нашего времени, и зарубежные мастера слова — поэты, прозаики, публицисты... К слову сказать, помимо поэзии я работаю в жанре публицистики, часто выступаю со статьями на страницах периодических изданий.

— *Интересно было бы знать, как часто приходится обращаться вам за советом к книгам?*

— Буквально не проходит и дня, чтобы я не снимал какой-нибудь том с полки и не перечитывал. Это необходимо мне для творчества, работы в журнале.

Говорят, что в жизни человек перечитывает книги три раза: в юности, зрелости и на закате лет. Замечаю, как с годами постепенно меняются мои пристрастия. В последние годы меня все более начинает увлекать мемуарная литература. Свидетельства современников, встречавшихся с замечательными писателями земли русской — Пушкиным, Гоголем, Львом Толстым, Тургеневым, Островским,— необычайно дороги для меня. Все более приходится по душе эпистолярный жанр. С огромным интересом читаю письма Льва Толстого, Чехова — они помогают лучше понять их творения...

— *А сколько книг в вашей библиотеке?*

— На этот вопрос ответить не берусь. Я никогда не ставил своей целью собирать книги ради книг, ради того, чтобы сказать: моя библиотека насчитывает столько-то томов. Да и как можно назвать томом тоненькую книжечку — а их особенно много в библиотеках любителей поэзии, к которым и я себя причисляю.

— *Однако порой небольшая книжка, как известно, содержательнее увесистого тома. Ведь еще Фет, помнится, сказал:*

Вот эта книга небольшая
Томов премногих тяжелей.

Вероятно, и в вашей библиотеке есть такие небольшие по объему, но дорогие для вас книги.

— Вы правы. Я рад, что мне посчастливилось приобрести тонкую книжку «Концерты М. Е. Пятницкого со крестьянами», вышедшую в Москве в 1914 году. Она объединяет старинные народные песни, собранные Пятницким, статьи и рецензии из журналов и газет о концертах его хора, обстоятельные программы его выступлений. Вообще я стремлюсь собирать литературу о народной песне — не только книги, но и вырезки из журналов, газет.

Образ Митрофана Пятницкого, хранителя и ценителя русской песни, создателя первого подлинного народного хора, глубоко запал мне в душу. Не случайно я посвятил ему поэму «Венец» — свой скромный вклад в дело увековечения его памяти.

— *Николай Егорович, у каждого человека, а тем более у литератора, есть свои любимые писатели. Несомненно, они есть и у вас...*

— Ближе всех мне Некрасов и Толстой. Моя давняя, еще юношеская любовь — Чехов. Ведь он, так сказать, был моим «сватом». Я работал как-то в редакции молодежной газеты и, как и полагается корреспонденту, много времени проводил в командировках. Моей неизменной спутницей в этих поездках была армейская полевая сумка (предмет зависти моих товарищей по редакции), в которой вместе с блокнотами я возил томик Чехова.

Однажды по заданию редакции я оказался в плодоовощном совхозе. Меня встретила молодая девушка — секретарь комсомольской организации. Она рассказала мне о совхозных делах, о людях, работавших там. Потом разговор зашел о газете, в которой я работал, о журналистике вообще и незаметно перешел на литературу. В числе своих любимых писателей моя собеседница назвала и Чехова. Я достал из сумки томик. Помню, как вместе читали мы чеховские рассказы и смеялись над каждой страницей.

Искрящийся юмор его рассказов сблизил двух совершенно незнакомых людей. С тех пор мы читаем книги вместе. А томик Чехова занимает почетное место в нашей домашней библиотеке.

— *Как вы относитесь к заразившей некоторых книголюбов погоне за «модными» книгами?*

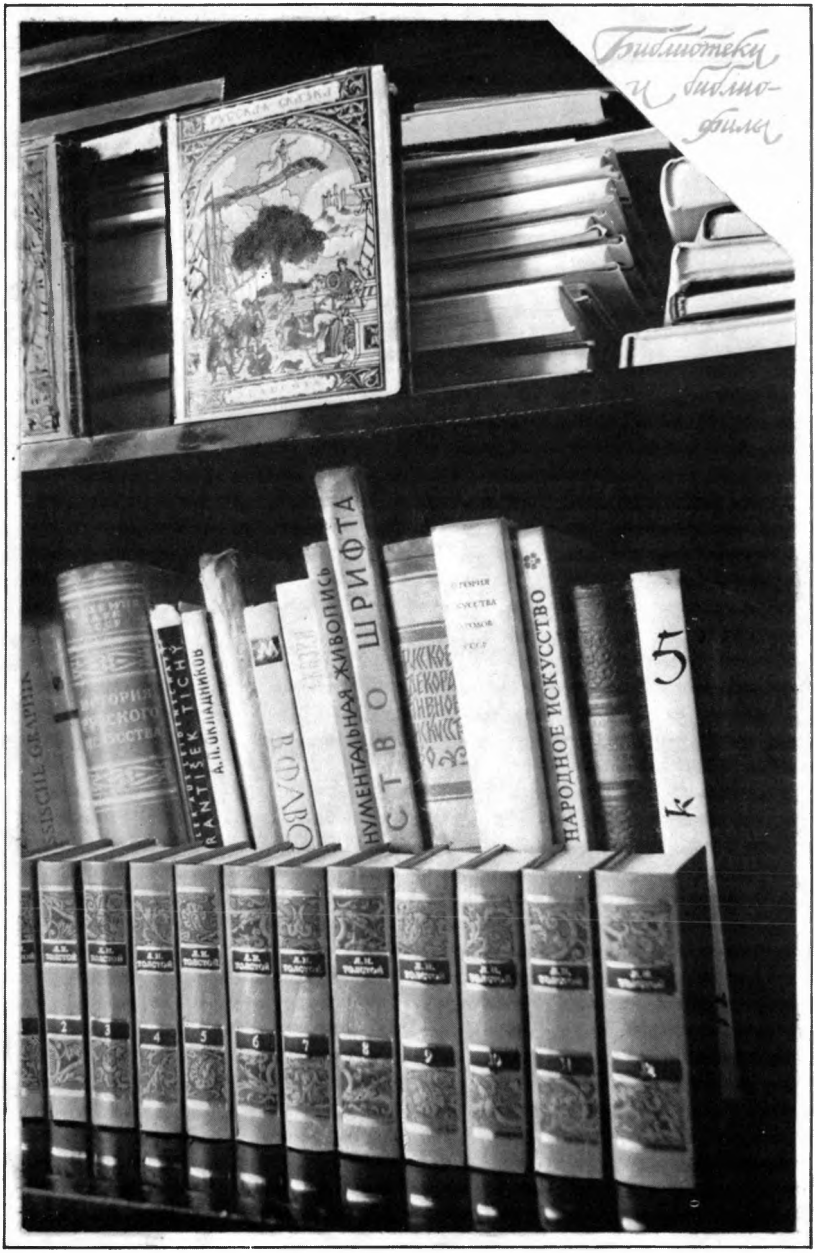
— С чувством легкого недоумения. Порой люди приобрета-

ют книги, вовсе не задумываясь над тем, зачем, с какой целью они это делают, нужны им эти книги или нет. К сожалению, грешат этим и писатели.

Часто приходится слышать такую фразу: «Помогите купить книги!» Неважно какие, каких авторов — лишь бы это были книги. К таким людям я испытываю чувство сострадания. Им не понятна, чужда настоящая любовь к книге — глубочайшей сокровищнице мысли. Собирание книг становится занятием престижным. Такие «собиратели» приглашают к себе в гости, чтобы угостить не только шампанским и изысканными блюдами, но и книгами, дать насладиться (а быть может, и позавидовать) видом обширной библиотеки, к книгам которой наверняка никогда не прикасаются их руки. Да, все зависит от того, с какой целью собирают книги. Если делается это не ради интерьера, если библиофильство стало целью жизни человека, если владелец библиотеки хорошо разбирается в книгах, к нему я испытываю чувство глубокого уважения.

— *Подлинная любовь к книге непреходяща. Помнится, Н. П. Смирнов-Сокольский сказал, что эта любовь имеет древние корни, неиссякаемые истоки.*

— Хорошо сказано. Как и любовь вообще, любовь к книге неоднородна. Но эта любовь столь же прекрасна, столь же возвышенна...


Библиотеки и библиофилы
ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА
А. П. ОКЛАДНИКОВ
ОРДЕР
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
СТВО ШРИФТА
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
К
Л. Н. ТОЛСТОЙ

Евграф Кончин

СПАСЕННЫЕ СОКРОВИЩА

РОДНИКОВСКАЯ ПЕРЕПИСКА ИЛЬИЧА

Тяжелый 1918 год. Вокруг молодой Республики Советов все туже сжимается кольцо фронтов. В стране голод, разруха, полыхают кулацкие и эсеровские мятежи. Восстают белочехи. На Севере высаживаются интервенты. Положение Советского государства наитруднейшее.

Об этом — ленинские письма и телеграммы того времени, телеграммы, подчас жесткие, категоричные, тревожные. И вдруг среди них — переписка Председателя Совнаркома с руководителями исполкома маленького текстильного городка Родники, что находится близ Иванова, переписка о создании местной рабочей библиотеки, о сохранении книг.

В Родниках встречаюсь с первым советским библиотекарем в городе Михаилом Ивановичем Карповым, старыми коммунистами — директором народного музея Иваном Александровичем Беляевым и секретарем местного отделения Общества охраны памятников истории и культуры Марией Васильевной Романовой. Они многое рассказали мне о создании первой рабочей библиотеки. Другие материалы о ней стали известны по литературе, из архивных источников.

Ленин требовал от центральных и местных организаций принятия действенных мер для сохранения ценных книжных собраний, для их более широкого использования в деле просвещения рабочих и крестьян.

В конце 1918 года Советское правительство принимает строжайшие меры по охране культурных ценностей и книг. К выполнению этой задачи привлекается Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) и ее органы на местах. В специальном циркуляре ВЧК говорилось о важности сохранения находившихся в бывших имениях и принадлежащих народу ценностей, в том числе библиотек.

В декабре 1918 года Чрезвычайная комиссия Родниковского уезда, которой руководил Тарас Николаевич Столбов,

конфисковала личную библиотеку бывшего депутата III Государственной думы от социал-демократической фракции Петра Ильича Суркова, находившуюся в его доме в деревне Кутилово. Сам Сурков уже долгое время не жил здесь, работал в Москве. Его книжное собрание было единственным в своем роде, ибо состояло в основном из революционной, политической и научной литературы. Было изъято 900 томов, в том числе труды Маркса, Энгельса, Ленина, Каутского, Лафарга, комплекты журналов конца XIX — начала XX века, а также сочинения Пушкина, Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Гете, Гейне, Гюго, Шиллера, Уэллса...

Пожалуй, родниковские руководители несколько поторопились с конфискацией этой библиотеки, не спросив на то, согласно существующим правилам, разрешения библиотечного отдела Наркомпроса.

Стоило, конечно, предварительно поговорить и с Сурковым. Вероятнее всего, он и сам передал бы часть книг родниковской читальне, на остальные же, наверное, получил бы охранную грамоту. Но, с другой стороны, потребность в книгах была огромной, а сурковская библиотека находилась в отдаленном селе, почти без присмотра, и вполне могла погибнуть...

Когда П. И. Сурков узнал о конфискации библиотеки из весьма путаного письма сестры, то пожаловался В. И. Ленину. 26 декабря 1918 года Председатель Совнаркома посылает в Родники телеграмму.

«Немедленно распечатайте кладовку и горницу Петра Ильича Суркова в деревне Кутилове. Сообщите имена произведших запечатание и объяснение их действий, почему реквизируют книги. Телеграфируйте исполнение» [1].

27 декабря телеграмма Предсовнаркома обсуждалась на расширенном заседании Родниковского исполнительного комитета, Чрезвычайной комиссии и районного комитета партии. «Постановили: Принимая во внимание то, что книги, находящиеся в библиотеке гр. Суркова, имеющие общественно ценное значение, находятся закрытыми и никем не читаемыми, в то время когда ощущается громадный недостаток в книгах для просвещения широких рабочих и крестьянских масс, когда в Родниках создается районная библиотека, должная обслуживать сорокатысячное население, реквизуемые книги принесут громадную пользу, являясь общественным достоянием. Кроме того, имея в руках обязательное постановление Юрьевецкого исполкома о том, что все библиотеки должны быть взяты на учет и зарегистрированы владельцами, собрание постановило: действия Родниковской Чрезвычайной ко-

миссии считать вполне правильными, для более же верного освещения данного вопроса делегировать к товарищу Ленину представителя, который выяснил бы данный вопрос. Собранием командируется тов. Прокофьев...»

Ленину была послана телеграмма за подписями секретаря уездного комитета партии Калинкина, председателя исполкома Балахнина и председателя местной ЧК Столбова, в которой указывалось, что реквизиция библиотеки Суркова была произведена по решению уездного исполнительного комитета, ввиду острой нужды в книгах.

Но еще до отъезда секретаря местной ЧК Андрея Никитича Прокофьева в Москву В. И. Ленин направляет в Родники 28 декабря вторую телеграмму:

«Пришлите почтой все постановления ваши насчет библиотек. Сурков согласен отдать свою в местную рабочую читальню, и мне это кажется справедливым» [2].

30 декабря Прокофьев был принят Лениным. Между ними состоялся продолжительный разговор о родниковской библиотеке. И не только о ней. Но подробности беседы неизвестны. Много позже, когда Андрея Никитича расспрашивали о встрече с Лениным, он шутливо отвечал: «Вот выйду на пенсию и начну писать мемуары...» Но так и не успел ничего написать...

Документы же свидетельствуют о том, что Председатель Совнаркома вручил Прокофьеву записку в библиотечный отдел Наркомпроса:

«Прошу принять подателя, тов. Прокофьева. Его просьба реквизировать библиотеку Суркова для района в 40 000 человек, по-моему, правильна; может быть, известные права пользования оставить за Сурковым? Прошу послать мне копию вашего постановления по этому вопросу, а равно прошу помочь товарищам из Родников в расширении их библиотеки. Нельзя ли послать им одну из реквизированных помещичьих библиотек? И об этом прошу известить меня.

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин)*» [3].

2 января 1919 года заведующий библиотечным отделом Наркомпроса В. Я. Брюсов сообщил Ленину о том, что он разговаривал с А. Н. Прокофьевым. Валерий Яковлевич, настойчиво добивавшийся строжайшего соблюдения установленного государственного порядка реквизиции книг и библиотек, видимо, указал представителю родниковских властей на неправомерность их действий. Тем более, что 27 декабря 1918 года была составлена обширная инструкция о правилах конфискации частных библиотек, о которой, впрочем, в Родниках

еще не знали. Затем Брюсов и Прокофьев согласовали юридические нормы передачи библиотеки Суркова читальне.

3 января 1919 года Ленин сообщает в Родники:

«Тов. Прокофьев!

Посылаю Вам письмо Брюсова. Прошу вернуть мне его с сообщением, как Вы покончили с библиотекой Суркова.

Надеюсь, Вы сделаете все же все возможное, чтобы Суркова *немного* удовлетворить: например, дать ему право пользования *и тому подобное.*

Оказывается, Вам надо было обратиться в *библиотечный отдел внешкольного отдела.* Я передам туда, чтобы позаботились о Вас.

С ком. приветом *В. Ульянов (Н. Ленин)*»[4].

В этот же день из библиотечного отдела направляются Ленину списки книг, реквизированных у Суркова, а также возвращенных ему. Сурков получил обратно более 400 книг, преимущественно самоучители, календари, каталоги библиотек и книжных магазинов и другие справочные издания.

24 января 1919 года В. Я. Брюсов направляет Ленину письмо, в котором сообщает, что библиотечный отдел Наркомпроса принял решение окончательно оставить библиотеку Суркова за родниковским отделом народного образования, о чем позднее было послано в Родники специальное уведомление. Кроме того, родниковской библиотеке были дополнительно выделены необходимые ей книги.

(Приходится сожалеть о том, что книг Петра Ильича Суркова, послуживших основой районной библиотеки, ныне нет в Родниках. А они бы составили интереснейший раздел местного музея, тем более что собранием Суркова пользовались многие видные большевики еще до Октябрьской революции, скрываясь от преследований царского правительства на конспиративной квартире депутата Государственной думы.)

В этом частном факте В. И. Ленин обнаружил важную государственную проблему. И, быть может, именно родниковская переписка способствовала тому, что 2 января 1919 года Владимир Ильич внес на заседание Совета Народных Комиссаров вопрос «О библиотечном деле». Обсуждение состоялось 14 января. Правительство в своем постановлении обязало Комиссариат народного просвещения усилить заботу о правильной постановке библиотечного дела в России. А 30 января вышло постановление Совета Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина, в котором поручалось библиотечному отделу Народного комиссариата просвещения публиковать ежемесячно и доставлять в Совет Народных Комиссаров

краткие данные о действительном проведении в жизнь постановлений Совета Народных Комиссаров от 7 июня 1918 года и от 14 января 1919 года, касающиеся расширения числа библиотек и читален и распространения книг среди населения.

...Несколько слов об Андрее Никитиче Прокофьеве, родниковском адресате Ленина, сыгравшем большую роль в создании местной библиотеки, в сохранении книжных богатств уезда. Личность колоритная, незаурядная. Человек огромной воли, удивительной работоспособности, энергии и целеустремленности. Член партии с 1917 года, участник трех революций. Недаром именно его послали в Москву к Ленину. Встреча с вождем круто изменила жизнь Прокофьева. Вероятно, не без рекомендации Владимира Ильича в 1919 году ЦК РКП(б) направляет Прокофьева на работу в центральные органы ВЧК. Он активно борется с врагами революции, участвует в ряде крупных операций. Так, Прокофьев участвовал в захвате штаба анархистов в Краскове, по заданию Дзержинского и Луначарского разыскивал спрятанные редчайшие музыкальные инструменты. Как вспоминает комиссар московских театров Е. К. Малиновская, Ленин одобрил это начинание и содействовал успешному собиранию инструментов. В 1923 году Андрей Никитич награждается значком почетного чекиста за № 171 и грамотой, подписанной Дзержинским.

С 1926 года занимает крупные хозяйственные посты, в частности, руководит строительством автозавода в Москве, который ныне носит имя Лихачева. Умер А. Н. Прокофьев в 1949 году, будучи кавалером четырех орденов Ленина...

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКОРИНЫ

Летом 1945 года на территории Западной Польши в городе Ратиборг (ныне — Рацибуж) советские солдаты обнаружили в станционных пакгаузах множество ящиков. Судя по немецким надписям, привезли их из Минска. Когда несколько ящиков вскрыли, то увидели книги со штампами Государственной библиотеки Белорусской ССР имени В. И. Ленина. О находке доложили маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Вряд ли солдаты, которые натолкнулись на библиотечное имущество, думали, что известие о нем так заинтересует прославленного военачальника. А он тотчас позвонил в Минск главе правительства республики Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко.

Новость, действительно, была весьма заслуживающей такого высокого внимания. Ведь считалось, что собрание одной из значительнейших библиотек нашей страны, основанной в

1921 году, было уничтожено фашистскими оккупантами. Когда Минск освободили от гитлеровцев, в городе нашли чуть больше 300 тысяч томов — из двух миллионов, что хранились в библиотеке до войны. Все остальное разграбили и погубили оккупанты. Причем грабеж проходил планомерно, организованно. Своеобразный отборочный пункт устроен был тут же, на складах библиотеки. Свозили сюда литературу со всего города. Затем одни книги отправляли в Германию, другие — сжигали. Судилище над книгами творили специальные представители пресловутого «штаба Розенберга», так называемые шефы «по культурным делам» Сивица, Рахель, Мюллер, Кох.

Полностью были вывезены газеты (пять тысяч годовых комплектов), фонды отдела белорусской литературы, архива печати БССР, отдела старопечатных и редких изданий, абонемента, читальных залов и научных кабинетов. Уничтожен был библиографический материал и накопленный за двадцать лет архив общего справочного отдела... Наконец, серьезно пострадало само здание республиканской библиотеки, подсобные помещения.

Но главное — книги! Исчезли самые ценные, а вернее — бесценные, уникальные издания. Поэтому можно понять радость директора библиотеки Иосифа Бенциановича Симановского, когда ему сообщили, что нужно отправляться в Ратиборг и привезти обратно украденные фашистами книги.

О сохранении и возвращении книг заботились и сами солдаты и офицеры. Без всяких указаний «сверху», по собственной инициативе они посылали в Минск письма, в которых выражали беспокойство о библиотечном достоянии, тревогу за его целостность. Вот строки из письма военного техника А. Н. Россинского — он направил его директору библиотеки: «Дорогой товарищ! Сообщаю Вам, что мы нашли Вашу библиотеку, то есть книги, вывезенные немцами из города Минска... А советую Вам выслать своих людей и отгрузить литературу в вагоны, потому что она пропадает».

В Ратиборг поехали Симановский и сотрудница библиотеки Анна Эммануиловна Ковалева. Книг было, по их предварительным подсчетам, около 600 тысяч томов. Чтобы вывезти их в Минск, потребовалось пятьдесят шесть вагонов.

Солдаты погрузили ящики в специальный эшелон. Поздней осенью 1945 года состав прибыл в разрушенный Минск.

Одна из старейших работников библиотеки, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР Нина Борисовна Ватаци вспоминает:

— Жили мы, немногие еще сотрудники, здесь же, в неустроенном и, конечно, никак не приспособленном для

нормального жилья помещении библиотеки. Спали на столах. Холод был страшный. К утру в комнатах вода замерзала, иней появлялся на стенах, а через латанные досками окна снег наметало. А что сделаешь? Город-то почти весь был разрушен... Так вот, подняли нас тогда ночью. Что случилось? Книги из Германии вернулись, наши книги! Быстро оделись и бегом к Дому правительства. К нему проложена была узкоколейка, по которой и подогнали состав. Тяжеленные ящики выгружали в вестибюль. А на улице — холод, мокрый снег. Сколько времени выгружали? Неделю, кажется. Помогали нам студенты, жители города.

Какое удивительное событие было, когда молодая сотрудница Ася Герценова извлекла из ящика книгу, изданную в 1517—1519 годах белорусским просветителем «из славного города Полоцка» Георгием Франциском Скориной,— ценнейшую из ценнейших в собрании республиканской библиотеки. Симановский собрал сотрудников, дал каждому подержать в руках старинный том, хотел что-то сказать, но не смог от волнения... Да всем и так было понятно, какое это несказанное счастье, когда Скорина возвращается в свой родной дом. Скорина печатал свои книги на чужбине, самой большой мечтой его было, чтоб они читались на родной земле, куда стремился он всем сердцем своим, всеми помыслами. Писал горестно: «Понеже от прирождения звери ходящие в пустыни знають ямы своя. Птици, летающие по воздуху, ведають гнезда своя. Рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя. Пчелы и тым подобная боронять ульев своих. Такаж и люди игде зродилиси и ускромлены суть по бозе к тому месту великую ласку имають...»

Вернулись все семь книг библии, переведенные на родной язык Скориной и впервые им же отпечатанные. Нашлись также листовки Кастуся Калиновского, рукописи Янки Купалы, Якуба Коласа, Змитрока Бядули, экземпляр книги Янки Купалы «Дорогой жизни» (1913) с авторской правкой. Были восстановлены уникальные собрания, входившие в библиотечный фонд: академика Е. Ф. Карского — по белорусоведению и славянской филологии (около двух тысяч томов), Н. А. Янчука — по белорусской литературе и этнографии, выдающегося русского филолога академика Я. К. Грота — по славяноведению; наконец, редкостная коллекция книг И. Х. Колодеева, посвященных истории Отечественной войны 1812 года.

Однако многие тома прибыли в очень плохом состоянии: рваные, грязные, отсыревшие и обгоревшие, даже простреленные и пробитые осколками. Среди таких отмеченных войной изданий оказалась книга В. И. Ленина «Великий почин»,

выпущенная в 1939 году на белорусском языке. В нее попал осколок бомбы. Ныне этот уникальный экспонат библиотеки бережно хранится не только как библиографическая редкость, но и как своеобразный памятник годины ратной.

Возвращались книги, увезенные из Минска бежавшими оккупантами, из других далеких земель. Разыскивали их и отсылали в родной город неизвестные, по большей части, солдаты и офицеры. Так, в одном из ящиков с возвращенными книгами обнаружили записку: «Дорогие замляки! Разрешите пожелать вам всего наилучшего в вашей работе по восстановлению народного хозяйства. Шлем вам книги, которые фашисты, было, увезли в Польшу, в город Пшина. До свидания. С приветом к вам земляк» (подпись неразборчива).

Еще один пример доброго участия советского воина в поисках и сохранении книг. Написано письмо карандашом, размашистым торопливым почерком, на пожелтевшей бумаге: «В одном из подвалов завода «Фокке-Вульф», южнее города Познань (Польша) были обнаружены книги вашей библиотеки. Я их сохранил. Я знаю, что это большая ценность нашего народа и что в эти книги вложено много вашего труда. Считаю, что я поступил правильно, как подобает русскому человеку. Старший техник-лейтенант Самусь Федор Григорьевич. Полевая почта 4056».

Благодарны минчане не только солдатам своим, но и патриотам других стран. Коллеги из Праги помогли нашим экспертам найти в Чехословакии несколько десятков томов республиканской библиотеки, увезенных из Минска каким-то фашистским боссом. Часть литературы была обнаружена в подвалах Берлина и Мюнхена. Некоторые книги удалось извлечь из-под развалин одного из кенигсбергских фортов. Туда ездили в августе 1945 года неутомимый Симановский и Аста Ивановна Зинина.

Страницы этих книг повествуют о многом. Не могут они поведать лишь о своей собственной драматической военной судьбе. Рассказать о ней должны люди. И помнить всегда, ибо она, эта судьба,— часть нашей героической истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 226.
[2] Там же, с. 230.
[3] Там же, с. 231.
[4] Там же, с. 234—235.

Вл. Купченко

ЖЕМЧУЖИНА ДОМА ПОЭТА
(Библиотека М. А. Волошина)

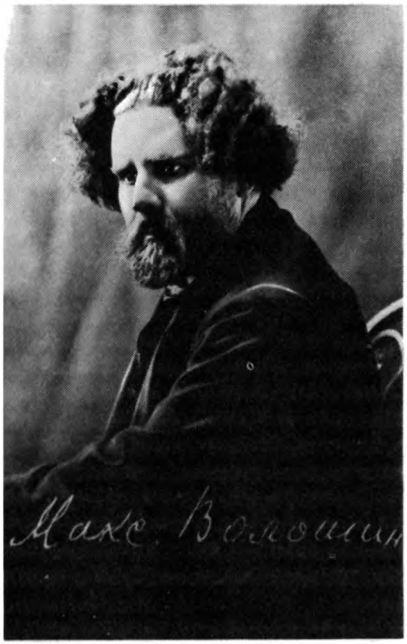
1

О библиотеке Максимилиана Волошина давно ходят легенды. Вдали от центров культуры, на пустынном коктебельском побережье, в лихолетья войн — сколько раз она могла быть уничтожена, распродана по частям! О ее исключительной ценности еще в 1935 году писал такой знаток книги, как А. А. Сидоров: «Здесь я нахожу ряд книг, отсутствующих в лучших библиотеках Москвы; первоиздания французских поэтов и писателей конца XIX — начала XX века, ряд ценнейших монографий по французскому искусству, комплекты научно-литературных журналов — все это подлинное богатство». В период гражданской войны, обращаясь к властям с просьбой об охранных грамотах для своего дома, Волошин, как самые большие ценности, всегда называл архив и библиотеку...

Собирать книги Максимилиан Александрович начал с гимназических лет, тратя на их покупку пятачки, которые мать давала на завтрак. Постепенно библиотека росла.

Особенно много книг прибывало после каждой поездки Волошина в Париж. Их продавали поэту издатели Леру, Ларусс, Кальман-Леви, Ашетт, Колен, Дорбо, пока его постоянным «либрером» не стал Альфонс Пикар. Немало книг было приобретено затем и в магазинах Готье, Ф. Павленкова, товарищества М. Вольф, И. Косцова, получено от издательства братьев М. и С. Сабашниковых. В советское время Волошин выписывал издания Археографической комиссии и издательства «Academia», регулярно получал книги издательств «Никитинские субботники» и «Недра». По просьбе поэта, друзья присылали ему прочитанные газеты и журналы, через Центральную комиссию улучшения быта ученых он имел возможность выписывать французскую периодику. Немало книг было подарено ему авторами.

Щедрый на все, избравший своим девизом: «Вы отдали — и этим вы богаты», Волошин тем не менее с неохотой отдавал



М. А. Волошин

в чужие руки полюбившуюся ему книгу. М. Цветаева пишет об этой его «святой жадности»: «Но одна физическая собственность, то есть собственность, признанная и физически, у него была: книги... Давал, голубчик, но со вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал — все, давал — всем. Но сколько выпущенных из рук книг — столько побед над этой единственной из страстей собственничества, для меня священной: страстью к собственной книге». Свидетельством преодоления этой страсти остается в Доме поэта толстая тетрадь с записями выдававшихся книг. Гости Волошина, взяв книги, обычно сами записывали их названия.

В собственноручно написанном объявлении Максимилиан Александрович требовал: «Берущие книги: I. Сообщают мне о каждой выбранной. II. Сами записывают ее в тетрадь. III. Не берут на берег. Не перегибают. IV. Не передают друг другу». Увы, далеко не все соблюдали эти элементарные правила, до сих пор в некоторых книгах обнаруживается песок с пляжа... А сколько книг, поставленных не на место, приходилось потом искать неделями! Сколько книг было «зачитано»!.. Летом 1916 года, после возвращения из Франции, Волошин писал феодосийке А. Петровой, что приводит в порядок библиотеку, «в которой похозяйничали... прошлым летом Толстые с Мандельштамом». Несмотря на это, Максимилиан Александрович дал Осипу Эмильевичу для чтения франко-итальянское издание «Божественной комедии» Данте, которое тот благополучно «завез» в Петроград и затем потерял...

Другая книга послужила поводом для тяжелой ссоры, надолго оборвавшей отношения двух поэтов. Произошло это летом 1919 года. Братья Мандельштам жили в Феодосии, но в Коктебеле нередко бывали — и Осип пользовался иногда библи-

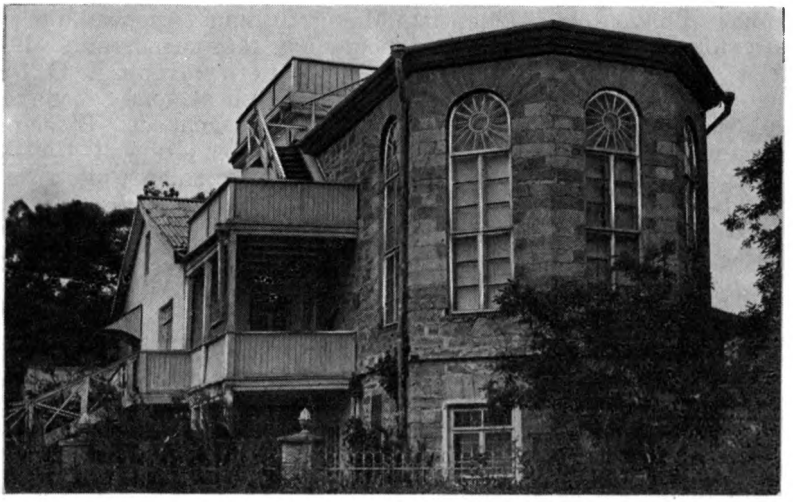
отекой Волошина. Однажды Максимилиан Александрович заметил отсутствие на полке сборника Мандельштама «Камень», в свое время подаренного автором его матери, Е. О. Волошиной. Эту книгу он очень ценил (по ее выходе отозвался на нее хвалебной рецензией). Начались расспросы. Выяснилось, что Мандельштам обещал подарить свою книгу Л. Козинцевой, жене И. Эренбурга, а так как экземпляров у него уже не было, он счел возможным «изъять» волошинский...

В это время сам Мандельштам должен был уехать из Крыма. Глубоко раздосадованный, Волошин обратился к начальнику феодосийского порта, их общему знакомому, с просьбой потребовать возврата книги, неосторожно выразившись, что Мандельштам «уже давно обкрадывал» его библиотеку. К несчастью, адресат прочел волошинское письмо вслух при Мандельштаме, и самолюбивый двадцативосьмилетний поэт, вспылив, ответил Волошину совсем уже непозволительным «ругательным письмом»... Вскоре Мандельштам был случайно арестован белой контрразведкой, и Волошин, преодолевая личную обиду, все-таки выступил в его защиту. А книга?.. В волошинскую библиотеку она так и не вернулась. Лишь недавно, благодаря помощи московского библиофила Л. Турчинского, музей М. А. Волошина приобрел идентичный экземпляр «Камня»... В доме поэта отсутствует и еще ряд изданий, которые, судя по разным упоминаниям в архиве поэта, прежде у него были: «Версты» М. Цветаевой, «Столп и утверждение истины» П. Флоренского, «Луг зеленый» и «Символизм» Андрея Белого, «Необычайные похождения Хулио Хуренито» И. Эренбурга, «Сочинения» В. Маяковского, изданные ВХУТЕМАСом... Всего на сегодняшний день выявлено 453 дезидерата.

Правда, при жизни поэта некоторые книги прямо выделялись «на съедение» гостям: издания «Универсальной библиотеки», библиотечки «Огонек», дубликаты. В 1933 году М. С. Волошина, вдова поэта, передала 375 книг разных авторов в библиотеку Дома отдыха писателей. Некоторые из них после Великой Отечественной войны вернулись в Дом, но большая часть пропала...

Полная опись библиотеки была составлена только в 1940 году. Выявить ее утраты до этого времени довольно трудно. Между тем после смерти Волошина в 1932 году Дом был широко открыт для посетителей. В нем занимались все, кто проявлял интерес к творчеству поэта.

Только в исключительных случаях удавалось находить отдельные из утраченных книг. В. Мануйлову посчастливилось приобрести в 1974 году «Восьмистишия» Татиды (Берлин,



Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле

1923) с дарственной надписью Волошину; Р. Хрулевой — «Переводы» А. Ремизова (1909) и «Из двух книг» М. Цветаевой (1911). В самое последнее время в Дом поэта вернулись «Ирландские саги» (1929), «Бегущая по волнам» А. Грина (1928), «Справочник разрушителя» Б. Шоу (1909), «Изразец» Г. Шенгели (1921).

Сам Волошин свои книги никогда, по-видимому, не пересчитывал и количество их называл приблизительно: то пять, то шесть, то восемь тысяч. В 1931 году, в дарственной записи Союзу советских писателей, он исчислил свою библиотеку в «8—9 тысяч томов (приблизительно), из коих бóльшая часть на французском языке». Думается, что около тысячи можно было бы прибавить — ибо и сейчас мемориальная библиотека Волошина насчитывает 9.200 названий книг, журналов, газет, оттисков статей. Подавляющее большинство — в мягких обложках, и сохранность их находится под угрозой. Некоторые книги поражены грибком, другие повреждены насекомыми, в третьих отсутствуют отдельные страницы или иллюстрации. И все же, в целом, состояние библиотеки вполне удовлетворительное, несмотря на то, что, примерно с 1927 года, книги хранились в неотапливаемом зимой помещении и два года, при немецко-фашистской оккупации, лежали в земле... Книги выдержали испытание временем.

2

Состав библиотеки М. А. Волошина — яркое свидетельство его эрудиции и разнообразия его интересов. Помимо художественной литературы, книг по литературоведению, истории, философии, искусству, отдельными книгами представлены астрономия, археология, физика, ботаника, геология. Мария Степановна внесла в библиотеку ряд книг по медицине, для которых на волошинских полках был выделен уголок.

В расстановке книг у Волошина, по-видимому, была определенная система. Кое-где на полках до сих пор сохраняются остатки бумажных наклеек с совершенно выцветшими надписями (лишь на одной можно разобрать написанное рукой Максимилиана Александровича: «Собрание соч.»). Требование ставить книги на то же место, без сомнения, выполнялось далеко не всеми... Усилия Марии Степановны сохранить порядок на полках незыблемым также не всегда достигали цели. Отдельные тома собраний сочинений стоят порой в разных местах. Тем не менее и сейчас можно проследить примерное размещение книг на стеллажах: над лестницей, ведущей на хоры,— беллетристика, поэзия, литературоведение, альманахи. На хорах — журналы, книги по философии, естествознанию, истории, искусству, путеводители. В летнем кабинете — книги на французском языке, словари, оттиски статей.

Анализируя состав библиотеки, убеждаешься, что Волошин переоценивал количество французских изданий: их немногим более трети (3470). Есть книги на немецком, итальянском, английском языках (все — в небольшом количестве). Полиглотом Максимилиан Александрович (в отличие от своих друзей К. Бальмонта и В. Брюсова) не был. Основательно поэт знал, помимо русского, только французский язык. Однако со словарем он читал и по-немецки, и по-английски, и по-итальянски. Словари всех этих языков (а также испанского, шведского, болгарского) стоят на его полках. Собираясь в 1903 году на Дальний Восток, Волошин начал изучать японский язык, памятью чего остается «Японско-русский словарь» И. Гошкевича (1857). По соседству — учебник древнееврейского языка, который поэт одно время штудировал, задумав прочесть Библию в оригинале.

Подобно Теофилю Готье, Волошин любил просто читать словари, особенно «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля. (В библиотеке он представлен двумя изданиями: 1880 и 1903 годов.) Следы чтения хранят выпуски «Материалов для словаря древне-русского языка» И. Срезневского. Свидетельством интереса поэта к античности стоит на

полке «Гомеровский словарь» Вл. Краузе (1880). Из справочников Волошин больше всего ценил тридцатитомную «Большую энциклопедию» (издательства H. Lamiraudt) — неисчерпаемый источник сведений, особенно по гуманитарным отраслям знания. Настольной книгой Максимилиана Александровича был энциклопедический словарь «Petite Larousse». В последние годы жизни, по случаю, поэт приобрел «Энциклопедический словарь» Ф. Брокгауза и И. Ефрона.

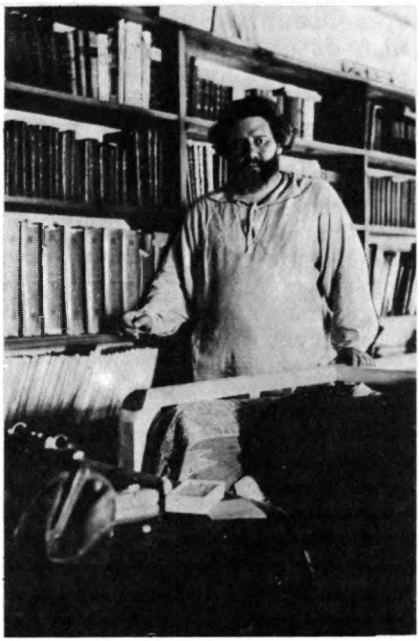
Большое место на полках Дома поэта занимают повременные издания, прежде всего, журналы (2546 номеров). Из русских — это «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Вестник иностранной литературы», «Былое», «Мир искусства»; журналы, в которых Волошин сотрудничал,— «Новый путь», «Весы», «Перевал», «Золотое руно», «Аполлон», «Русская мысль». Значительно больше французских журналов: « Mercure de France », « Revue bleue », « Revue des idees », « La revue Hebdomadaire », « La grand revue », « L'Illustration », « L'Art et les artistes », « L'Art vivant » и многие другие. Сохранились отдельные номера французских журналов с участием Волошина: « Ecrits pour l'Art » (1905) и « L'Elan » (1915).

Среди книг на русском языке львиную долю составляют собрания сочинений классиков (в значительной части — в виде приложений к «Ниве»). На втором месте — произведения писателей начала XX века, в том числе друзей и знакомых Максимилиана Александровича: К. Бальмонта, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Белого, А. Н. Толстого, Г. Чулкова, А. Ремизова, А. Блока, М. Цветаевой, М. Кузмина, Вяч. Иванова.

Довольно богат раздел философии, как на русском, так и на французском языке. Представляет интерес наличие в библиотеке Волошина «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса и «Нищеты философии» К. Маркса. Сохранились в библиотеке Волошина две работы В. И. Ленина: «Как коммунисты-большевики относятся к среднему крестьянству» и «Государство и революция». До 1933 года был в библиотеке сборник «К годовщине смерти Ленина» (Л., 1925). Среди философских сочинений в собрании Волошина можно отметить труды А. Бергсона, А. Шопенгауэра, Г. Спенсера, Д. Дидро, Н. Бердяева, В. Соловьева, В. Розанова, К. Леонтьева, серию монографий по философии Куно Фишера и т. п.

Всеобщая история представлена у Волошина сочинениями Г. Вебера, О. Иегера, Ф. Шлоссера; история древнего мира, весьма интересовавшая поэта,— трудами Д. Брестеда, М. Корелина, Г. Масперо, А. Морэ, З. Рагозиной, Э. Ренана, Г. Ферреро. Особый интерес вызывала у Волошина история Великой французской революции, по которой у него были собраны

сочинения П. Кропоткина, Г. Кунова, И. Тэна, А. Ламартина, Ж. Ленотра (на русском и французском языках). Но, разумеется, больше всего книг по истории России: от «Летописи по Ипатскому списку» до сборников «Падение царского режима». Богато представлена мемуаристика — как русская, так и французская.



М. А. Волошин в своей библиотеке

Большое место занимают в библиотеке Волошина книги по искусству. Из общих трудов — это трехтомная «История искусств» Карла Вермана, «История живописи всех времен и народов» А. Бенуа, 5 томов «Histoire de l'art» Андре Мишеля (A. Colin), альбом « Le musée l'art» (Larousse). В отечественном разделе — «История русского искусства» И. Грабаря и его же монография о В. Серове, «История гравюры» Э. Голлербаха, «Страницы художественной критики» С. Маковского, один том «Словаря русских художников» Н. Собко. Среди редкостей этого раздела — альбом «Семь плюс три», выпущенный в Харькове в период гражданской войны тиражом 200 экземпляров, брошюры о живописи Давида Бурлюка, альбом «16 автолитографий» Б. Кустодиева. Редки некоторые каталоги выставок, в частности, «Бубнового валета», обществ «Мишень», «Ослиный хвост», «Союз молодежи».

Зарубежное искусство представлено главным образом книгами на французском языке. Больше всего изданий по искусству Италии и Франции. Здесь можно отметить каталоги парижских салонов и выставок Эрмитажа, богато иллюстрированные монографии о Леонардо да Винчи А. Волынского (Киев, 1909), о Фелисьене Ропсе Э. Рамиро (Париж, 1905), о Рафаэле Э. Мунта и о Рубенсе Э. Мишле (обе — Париж, 1900). Среди редкостей — книжка В. Бабаджана «Сезанн», выпущенная в Одессе в 1919 году, одна из первых книг о кубизме А. Глеза и Ж. Метценже (Париж, 1912), трехтомник об искус-

стве Франции Эмиля Маля (Париж, 1902, 1908, 1924), роскошный альбом Т. Кутлера «Грамматика японского орнамента и рисунка» (Лондон, 1880). Однако дорогих изданий в собрании немного. Поэт, зарабатывавший на жизнь только литературным трудом, мог себе позволить приобретение таковых не часто...

Страстный путешественник, Волошин любил «путешествия по карте» и путеводителям. В его собрании — «бедекеры» по Испании, Греции, Германии, Италии, Швейцарии, Парижу, Константинополю (где он бывал), по Палестине и Сирии (куда только собирался), а также путеводители по Дунаю, Луаре, по отдельным городам Европы. Будучи жителем Крыма и глубоко интересуясь его историей и природой, Волошин, однако, не собрал сколько-нибудь значительной «Таврики». Несколько путеводителей, «Флора Крыма» В. Аггеенко (1890), ряд брошюр и оттисков статей, подаренных ему крымоведами (Н. Барсамовым, А. Башкировым, Л. Колли, А. Полкановым, Н. Эрнстом). Тем не менее Волошин был большим знатоком края, и один из номеров выходившего в Москве журнала «Крым» (1927, № 1) был преподнесен ему от имени редакции, как «почетному члену Общества по изучению Крыма».

«Редкостей» в библиотеке Волошина почти нет. Книг XVIII века — единицы. Самым старым изданием является «Всеобщая история» Ж. Б. Боссюэ, вышедшая (на французском языке) в Амстердаме в 1708 году. Крайне редки некоторые провинциальные издания: альманахи «Пьяные вишни» (Харьков; Одесса, 1920), «К искусству!» (Феодосия, 1919), выпущенный тиражом 100 экземпляров «Ковчег» (Феодосия, 1920). В немногих собраниях есть книга «О трех рыцарях и о рубахе» Жака де Безье (в переводе И. Эренбурга), рисунки и текст которой были выполнены художником Иваном Лебедевым в технике гравюры на дереве. К редкостям относится сборник стихов Валентина Парнаха «Словодвиг», изданный в 1920 году, с рисунками Н. Гончаровой и М. Ларионова. Самой редкой из русских книг волошинской библиотеки можно, по-видимому, признать «Что есть табак» А. Ремизова, изданную в 1908 году в количестве двадцати пяти именных экземпляров.

3

О человеческих и творческих связях Волошина много говорят книги и оттиски статей с дарственными надписями их авторов. Свои произведения поэту дарили: И. Ф. Анненский, Ю. К. Балтрушайтис, А. Биск, С. М. Городецкий, В. И. Иванов, С. А. Клычков, М. Л. Лозинский, Вас. И. Немирович-

М. А. Волошин, 1930 г. Публикуется впервые

Данченко, И. А. Новиков, С. Н. Сергеев-Ценский, Ф. К. Сологуб, А. Н. Толстой, М. И. Цветаева, Анаст. Чеботаревская, К. И. Чуковский, Эллис и другие литераторы. Из советских писателей можно назвать также П. Г. Антокольского, Г. А. Шенгели, И. Г. Эренбурга. На книгах волошинской библиотеки — автографы литературоведов М. С. Альтмана, Д. Д. Благого, искусствоведов А. Г. Габричевского, Э. Ф. Голлербаха, Н. Н. Евреинова, философов Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета, художников К. Е. Костенко, П. П. Кончаловского, И. Лебедева, И. К. Пархоменко, Б. М. Кустодиева и других. Дарили Волошину свои труды инженеры, геологи, зоологи, лингвисты, биологи, экономисты, археологи — люди разнообразных профессий, почитатели таланта поэта.

Некоторые из дарственных надписей Волошину стоит привести. На книге К. Бальмонта «Горящие здания» (М., 1900) читаем: «Максу Волощину... И меня поймут лишь души, что похожи на меня, люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня. 21 марта 1903. Москва. К. Бальмонт». В. Брюсов подарил «дорогому Максимилиану Александровичу Волошину» свой сборник «Зеркало теней. Стихи 1909—1912 г.» (М., 1912) «в знак неизменной дружбы», «в день выхода книги и моих именин 9 марта». Л. Гроссман, только что лично познакомившийся с приехавшим в Одессу Волошиным, подарил ему свой «Портрет Манон Леско» (Одесса, 1919) в «знак признательности» за его сближение «Анри де Ренье с Тургеневым, давшее основной тон этому этюду. Л. Гроссман 13/26. II.919». На исследовании С. Дурылина «Сибирь в творчестве В. И. Сурикова» (М., 1930) надпись: «Милому Максу — с любовью — книжку, которой не было бы на свете, если б не было „Сурикова“ М. Волошина, посылает С. Н. Дурылин».

Многие надписи говорят о высокой оценке творчества Волошина более молодыми литераторами. С. Парнок свои стихи «Вполголоса» (М., 1928) надписала «Максимилиану Александровичу Волошину, высокому мастеру, к чьему голосу я прислушиваюсь с любовью. С. Парнок. 30.XI.1928. Москва». Сборник Литературного центра конструктивистов «Госплан литературы» (М; Л., 1925) подписан К. Зелинским, И. Сельвинским и В. Инбер: «Максимилиану Волошину — тому, кто в своем „Подмастерье“ сказал, что „стих создает безвыходность, необходимость, сжатость“,— дав, т. о., первую формулу конструктивизма в поэзии. 25.V.27». Волошина — мастера слова аттестует дарственная надпись Мариэтты Шагинян :«Подмастерью, сумевшему стать мастером. Максимилиану Волошину от Мариэтты Шагинян. 1919, 30-е июня. Нахичевань н/Д.».

Л. М. Леонов преподнес свой роман «Барсуки» (М., 1925) «Максимилиану Александровичу Волошину в знак уважения и любви от автора. 17 июня 1925. Коктебель». Владимир Луговской свою книгу «Сполохи» (М., 1926) надписал: «Максимилиану Александровичу Волошину, с глубокой благодарностью, уважением и любовью к его творчеству. В. Луговской, март 1927 г.». «Золотое веретено« Вс. Рождественского (1921) хранит такую надпись: «Дорогому Максу — эта юношеская книга, отмеченная влиянием и его поэтического гения. В. Р. 14/X 29 г.» Посетивший Волошина П. А. Павленко оставил в Доме поэта сборник своих рассказов «Анатолия» (М., 1932) — «Максимилиану Александровичу Волошину — хозяину Киммерии — от нового подданного. П. Павл[енко] 15.VI.32».

4

Для Волошина книга отнюдь не была предметом собирательства и еще менее — материальной ценностью. Он называл книги «постоянным орудием своей работы». «Книги, природа и люди...

Это три ступени моей души»,— писал он в 1911 году. Книга была ценна для него постольку, поскольку она помогала рождению его собственных мыслей. «Мне книга дает только тогда, когда глаза отрываются от нее и я вижу свое... Я люблю думать над книгой, как любят думать под музыку...» «Одиночество, книги и мысли»,— записывает он в дневнике в июне 1905 года.

На полях книг Волошин ставил карандашом крестики, отчеркивал отдельные строки, во французских изданиях надписывал перевод отдельных слов и выражений. На авантитуле сборника Николая Тихонова «Брага» (М; Пг., 1922) Волошин выписал названия привлекших его внимание стихов: «Баллада о синем пакете», «Баллада о гвоздях», «Сами». Изредка появлялись записи собственных мыслей, развивающих мысли автора или полемизирующих с ними. В книге Альфонса Сеше и Жюля Берто «Эволюция современного театра» (Париж, 1908) Волошин делает примечание: «Смысл этого в том, что французс. публика смотрит на пьесу не как на художественное произведение, а как на кусочек жизни. Жизни она выражает одобрение или неодобрение». В книге Д. Рескина «Искусство и действительность» (М., 1900) против известного афоризма: «Девушка может петь о своей утраченной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах» — Волошин возразил: «Почему? Разве Скупой Пушкина не поэт? А ведь он то же самое мог бы сказать, утратив свои деньги».

Порой, при чтении французских стихов, поэт записывал возникавшие у него в голове строки перевода. В книге Анри де Ренье «Портреты и сувениры» (Париж, 1913) на странице 338 читаем: «И вся пустынная страна цветет святыми именами»,— образ, сопоставимый с дорогой сердцу Волошина Киммерией... Много таких строк в книгах Эмиля Верхарна — одного из самых любимых поэтов Волошина. Книга стихов Жюля Лафорга вдохновила поэта на стихотворную ее оценку, тут же записанную на шмуцтитуле:

Эти страницы — павлинье перо,
Трепет любви и печали.
Это больного поэта-Пьеро
Жуткие salto-mortale...

(Это четверостишие вошло затем в первую книжку стихотворений Волошина под заголовком «На книге Лафорга».)

В заметках по истории книгопечатания М. А. Волошин записал: «Жилище человека — его раковина. Книга — его жемчужина: болезнь и драгоценность». В трудную минуту жизни книги были для поэта опорой, друзьями. В стихотворении «Дом поэта» он писал:

Мой кров убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шепот
Не заглушат ни южный ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот...

Крым. Планерское

Константин Ковалев

ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ СТРАСТЬ

...В уютной квартире киевского литератора Юрия Ивакина нет свободного места на стенах, завешанных полками, картинами, фотографиями, эстампами. Юрий Алексеевич неразговорчив, его ответы скупы, точны. Он оперирует фактами и фамилиями, привычно разбираясь в переплетениях судеб книжников, писателей, художников. А показ своей библиотеки начинает с самого необычного собрания оригинальных суперобложек.

В руках у меня знакомые книги из серии «Библиотека поэта». Но вторых таких по оформлению — нет больше нигде. Они преобразились после того, как для них был «сшит» новый «костюм». Суперы изготовлены самим хозяином книг. И каждый — специально для данного экземпляра. На листе суперобложки к книге В. Каменского использованы мотивы из картины Юрия Анненкова, которая хранится в коллекции хозяина. Такая обложка сама уже становится законченным художественным произведением. А на шахматном фоне особенно отчетливо проступают профили Максимилиана Волошина и Вячеслава Иванова, вырезанные известным мастером гравюры Е. Кругликовой. Дополняют их факсимиле росписей поэтов. Портрет Анны Ахматовой на суперобложке сборника ее стихотворений отпечатан с клише работы Ю. Анненкова, подаренного Юрию Алексеевичу Е. Б. Анненковой. Ниспадающие струи геометрических фигур, цветовых оттенков на обложке «Стихотворений и поэм» Бориса Пастернака как нельзя лучше передают строки поэта:

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру:
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва...

Приятно взять в руки такую книгу. Супер сделан из плотной бумаги, мастерски расписан обыкновенной гуашью

Кабинет Ю. А. Ивакина

или акварелью, или же обклеен кусочками цветной бумаги, и затем покрыт слоем лака. Так книга приобретает новый вид.

— Свою библиотеку,— рассказывает Юрий Алексеевич,— я начал собирать еще в школьные годы. Ныне увлекаюсь русской поэзией начала века, 20-х годов. Много лет собираю книги по изобразительному искусству. А суперобложки начал делать в конце 40-х. Книга для меня — это орудие производства. Как писатель я должен знать, понимать, освоить культурное наследие прошлого. Поэтому без хороших книг я себя не мыслю. Не представляю себя без Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Блока, Маяковского. Эти поэты стали частью моего собственного «я»...

Страсть к книге — всепоглощающа. И эта страсть, любовь к книге проявляется у Ивакина не только как к вместилищу информации, но и как к целостному, законченному произведению искусства.

Суперобложка к «Стихотворениям и поэмам» В. Каменского

Суперобложка к «Избранным сочинениям» Жорж Санд

— Книга — это единый организм,— продолжает собиратель свой рассказ.— Ее оформление должно соответствовать содержанию, быть красивым, радовать глаз, чтобы книгу приятно было держать в руках. Какой здесь простор для индивидуального творчества!.. Если иногда не получается издать книгу красиво массовым тиражом, то можно это сделать своими руками, дома. Таким образом, сливается мое «я» с этой книгой, проявляется мое лирическое отношение к ней, моя любовь. Насколько же многозначно и широко понятие книжного искусства! И в этом искусстве участвует читатель.

Юрий Алексеевич иногда называет свое занятие «хобби». Но это «хобби» приняло настолько «угрожающие» размеры, что перешло чуть ли не во вторую профессию.

Первый супер был изготовлен им для книги Вальтера Скотта «Айвенго». На золотом фоне — контур средневекового рыцаря, на корешке — старинные английские гербы. Теперь на книжных полках целая библиотека. И такого спектрального

разнообразия цветных обложек нигде не увидишь, потому что подобных им больше ни у кого нет.

Интерес к искусству книги появился у писателя в детстве. Причем — через карикатуру, что в конце концов и предрешило в дальнейшем судьбу писателя-юмориста — автора семи книг пародий. В библиотеке отца хранился экземпляр «Иллюстрированной истории карикатуры с древнейших времен до наших дней», составленной А. В. Швыровым в 1903 году. Поразили подростка работы мастеров сатирического пера и кисти Гроса, Стейнлена, Домье, Бор. Ефимова. Так началось собирание альбомов и книг по истории карикатуры, приобщение к книжной графике.

— Разнообразие подхода к оформлению книги таково, что трудно сейчас прийти к общему мнению о сути, характере работы иллюстратора. Некоторые считают, например, что художник не имеет права навязывать читателю свой зрительный образ. Ведь каждый владелец книги может представить себе свой идеал героя, свои картины происходящих событий. Иллюстратор же как бы ограничивает воображение читателя. По этому поводу я бы заметил вот что: индивидуальность художника может быть настолько могучей, духовный заряд, им воплощаемый, настолько сильным, что его работы могут представлять отдельный, самостоятельный интерес. Они не просто иллюстрируют слова, они дополняют их, обогащают, расширяют. Такой художник, мне кажется, не противоречит стилю писателя. Он оформляет не его произведение, а книгу, делает и из нее произведение искусства. Блестяще передают зрительный образ автора «Мертвых душ» иллюстрации Агина, прекрасны рисунки Анненкова к поэме Блока «Двенадцать». Таковы и графика Кузьмина к «Евгению Онегину», и разнообразные иллюстрации Кустодиева, Добужинского, Лансере, Бенуа. А «Дон Кихот» уже неотделим для меня от рисунков Гюстава Доре...

Юрий Алексеевич показывает книги из своего домашнего собрания. Вот прижизненное издание «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. На журнальном столике огромной пачкой разложены номера газеты «Искусство Коммуны», издававшейся в Петрограде в 1918 году Отделом изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения. Своеобразным раритетом предстает также сборник стихотворений Ю. Анненкова «$^1/_4$ девятого», иллюстрированный самим автором, от руки, как, впрочем, и все другие 125 экземпляров этой книги. В коллекции Ивакина — экземпляр под номером 86 с дарственной надписью автора. В середине разговора Юрий Алексеевич достает редкие альбомы художника Павла Кузнецова «Автолитографии в

красках» и «Туркестан. Автолитографии», почти совсем неизвестный в личных собраниях альбом харьковских футуристов «Семь плюс три». Когда-то у коллекционера было большое собрание футуристической живописи и литературы, но оно погибло во время войны.

Собрание Ю. А. Ивакина украшают многочисленные книги с автографами известных советских писателей, художников, иллюстраторов книг. Среди них — дарственные надписи Н. Тихонова, В. Рождественского (на редком сборнике стихотворений «Золотое веретено», изданном «Petropolis» в 1921 году), П. Тычины, А. Ахматовой, Н. Ушакова, М. Бажана, И. Драча, М. Алигер. Особо ценит писатель автографы книжных графиков — Николая Кузьмина и Татьяны Мавриной...

Показ библиотеки, кто бы ни был ее посетителем, обязательно заканчивается экскурсией по домашнему музею живописи начала XX века и первых послереволюционных лет.

Бросаются в глаза полотна Ю. Анненкова: «Бретань» (1916), «Портрет художника Радакова» (иллюстратора произведений В. В. Маяковского в то время, когда поэт печатался в журнале «Новый Сатирикон»), театральные эскизы. Туманные улочки старой Москвы и золотые купола Троице-Сергиевой лавры запечатлены в работах А. Лентулова. Будто с пожелтевшей от времени фотографии глядят на зрителя красноармеец с девушкой, расстающиеся, быть может, навсегда. Картина С. Адливанкина так и называется — «Перед отправкой на фронт» (1922). Венчают собрание работы П. Кончаловского, Р. Фалька, Н. Рериха, варианты иллюстраций Н. Кузьмина к «Графу Нулину».

— Я никогда не приобретаю книг или картин, которые были бы мне не нужны, не интересны. Мне претит покупка дорогих вещей ради коллекции или престижа. Книгу, как и произведение искусства, надо любить, а затем уже иметь в личном собрании. Вопрос интимный, и касается лишь только одного библиофила...— этими словами заканчивает нашу встречу Юрий Алексеевич.

Покидать этот домашний музей грустно. Но ведь всегда можно вернуться сюда, в этот дом, где встречают знатоков книги и живописи произведения любимых авторов...

Киев — Москва

Олекса Ющенко

СЕРДЦЕ И СЛОВО

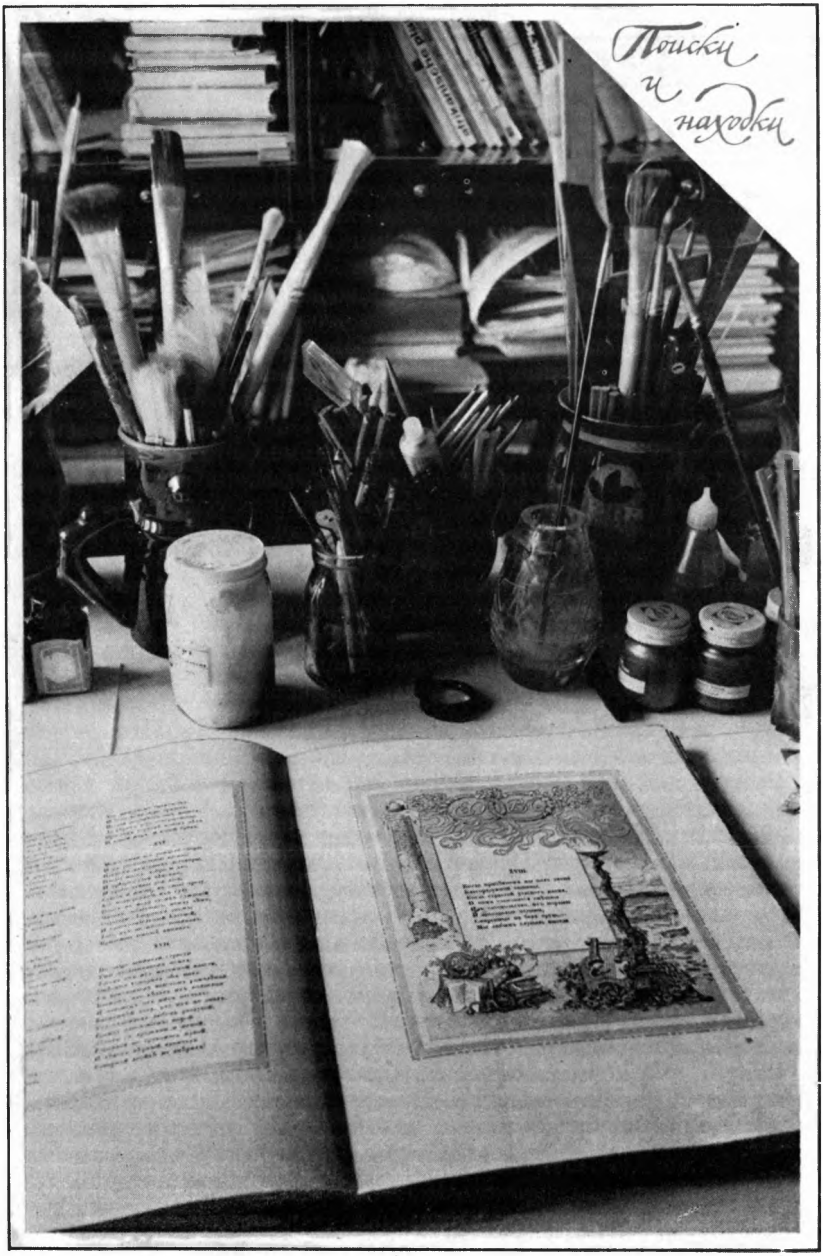
...Снайпера нашли мертвым. Пуля пробила сердце и книгу. Это были «Всадники» Юрия Яновского.

Прошита книга пулей иноземца
И эта ж пуля в грудь бойца вошла:
Всегда хранилась книга возле сердца,
Всегда звала на славные дела.

Немеркнущие книжные страницы
Людским теплом насыщены сполна.
Кровавый мак... Вокруг метель клубится...
Кровавый мак и снега пелена...

Над всей планетой гневно и сурово
Гремел сражений небывалый гром,
Но сердце вдохновенное и слово
Слились навеки в пламени одном.

Авторизованный перевод с украинского
Леонида Вышеславского


Поиски
и
находки

Александр Бабореко

«ЗЛАТОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ»

Бунин говорил, что Боккаччо писал «Декамерона» — книгу о любви — во время чумы, а он «Темные аллеи» — во время войны.

Некоторые критики упрекали его в том, что он, мол, сочинял какие-то любовные истории тогда, когда кровь лилась повсюду.

В. Н. Муромцева-Бунина писала, повторяя, несомненно, мысли самого Бунина, что рассказы «Темных аллей» отчасти появились потому, что «хотелось уйти во время войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так далее».

В дневниках Бунина этих лет как бы в противоположность безумию завоевателей — раздумья о творчестве, мысли о гениях человечества: о Леонардо да Винчи, Гете, Пушкине, Толстом. И «Темные аллеи» — рассказы на темы общечеловеческие, вечные — о жизни и смерти, о любви, и о красоте России, ее природы и истории. В те страшные дни войны он утверждал своим творчеством веру в человека.

Некоторые читатели и критики отнеслись к этим рассказам сдержанно, даже холодно, упрекали Бунина в «натуралистичности» описаний. На это писатель возражал, что «содержание их вовсе не фривольное, а трагическое... Вся эта книга называется по первому рассказу — „Темные аллеи“, — в котором „героиня“ напоминает своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи (Н. П. Огарева. — *А. Б.*) про „темные аллеи“ („Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“), — и все рассказы этой книги только о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях». (Письмо Бунина Н. А. Тэффи от 23 февраля 1944 г.)

Это было в манере Бунина: написать что-нибудь под впечатлением книги, поразившей его чем-либо. Небольшая старинная книжица «Грамматика любви» навела его на мысль

о рассказе того же названия. А «Господин из Сан-Франциско» был задуман после того, как он увидел в витрине магазина на Кузнецком мосту «Смерть в Венеции» Томаса Манна, прочитал эту книгу потом, когда рассказ был написан. «Смерть в Венеции» своим названием напомнила смерть какого-то американца в гостинице на Капри, где останавливался Бунин. Так сложился сюжет рассказа, вошедшего в антологии мировой литературы.

Работая над рассказами последних лет, Бунин читал античных философов — наибольшее внимание привлекла книга Платона о Сократе «Федон»,— вновь обращался к древним трагикам (Софокл) и поэтам (Овидий), к тем экземплярам книг Петрарки, в которых содержались подробные сведения из его биографии: пометки на страницах Вергилия и рисунки на манускрипте Плиния, принадлежавшем Петрарке,— и написал о нем рассказ «Прекраснейшая солнца»; читал русские летописи и цитировал из них строки в рассказе «Чистый понедельник»; следил за тем, что из книг появлялось в Москве.

«Темные аллеи» написаны на широкой основе философского осмысления жизни писателем, который достиг великих вершин мировой культуры.

Бунин говорил, что многие живые меньше значили для него, чем Андрей Болконский, Наташа, Дон Кихот или Гамлет. Но он никогда не жил только книгами и с сарказмом говорил о людях, у которых «уже как бы две души — одна своя, а другая книжная! Многие так и живут всю жизнь начитанной жизнью». Он повторял вслед за Гете:

Все умозренья, милый друг, серы,
Но вечно зелено златое Древо Жизни.

(*«Фауст»*)

Книгу он не просто читал, он над ней работал с карандашом в руках, даже если она ему не принадлежала, часто спорил с автором, делая разного рода пометки на полях, воспринимая порой прочитанное весьма эмоционально.

Он приобрел большой однотомник Александра Блока, изданный в Москве Гослитиздатом в 1946 году под редакцией Вл. Орлова, с его вступительной статьей и примечаниями, а также «Записки писателя» Н. Телешова (М., 1948). Я имею редкое удовольствие листать эти книги с многочисленными пометами Бунина.

Отношение его к Блоку было очень сложным, многое в его символической поэзии не было близким Бунину, вызывало возражения. Он отметил как понравившиеся, отличающиеся простотой языка и стиля, в частности, стихотворения «Гамаюн, птица вещая», «Равенна» (из цикла «Итальянские стихи»). На

обрывке бумаги, служившем, видимо, закладкой в книге, он написал: «„Итальянские стихи“ Блока: хорошо: „Равенна“ (декламация, но хорошо!). Все остальное — плохо (прочел ночью с первого на второе октября)». Сложная символика Блока вызывала его недоумение; в стихотворении «Путь знакомый и прежде недлинный...» (цикл «Соловьиный сад») он отчеркнул последние шесть строк, а ко всему стихотворению сделал пометку: «Непонятная история!»

Мемуары Телешова Бунин прочитал с большой заинтересованностью и сделал много записей на полях книги. В них — несогласие Бунина с преувеличенными оценками таких поэтов, как С. Г. Скиталец, И. А. Белоусов, которого Чехов хвалил, пишет Бунин, «по доброте»; во многих случаях — записи, уточняющие различные историко-литературные факты. Он подчеркнул слова Телешова о том, что в литературном кружке «Среда» Бунин читал «большинство его стихотворений», и написал: «Брехня». Назвал «брехней» и то, что будто бы, как утверждает Телешов, «Господина из Сан-Франциско» Бунин «недооценивал», считал «достойным не более как для фельетона одесской газеты».

В оккупированной Франции, в условиях вынужденного одиночества, книга, творческий труд имели для Бунина особенно большое значение. Творчеством, литературой он жил, в служении ей была цель и великий смысл его жизни.

Бунин, подобно Франческо в рассказе «Прекраснейшая солнца», мог бы сказать о себе, что он «жил, вместе с тем, всеми делами своего века». Он взволнованно следил за судьбой России и союзных с нею держав, боровшихся с фашизмом.

Войну И. А. Бунин прожил в Грассе, на вилле «Жаннет», в 17-ти километрах от Средиземного моря. В. Н. Муромцева-Бунина говорит в письме П. Б. Струве 10 мая 1943 года, что в эти нелегкие дни душевное состояние Ивана Алексеевича «грустное, но скорее спокойное. Живем мы,— пишет она,— очень уединенно, редко кто теперь поднимается к нам на нашу гору. Иногда мы спускаемся к морю в разные места, тогда узнаем что-нибудь из хроники тех мест. Теперь нам запрещено ночевать не дома, а с одиннадцати часов вечера мы не можем выходить. Ездить на автобусах очень трудно от тесноты...» [1].

Вера Николаевна терпеливо выстаивала долгие очереди за билетами в Ниццу, делала она это «для Ивана Алексеевича, который раз в десять дней туда ездит... Людей нашего круга,— продолжает она,— мы почти не видим» [2].

Свое житье в оккупированной Франции Бунин рисовал в письмах друзьям в чрезвычайно мрачных тонах: «...пещерный

сплошной голод, зимой — нестерпимый холод, жестокая нищета... и дикое одиночество... Написал я за это время все же целую новую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — и все только для ящиков письменного стола!»[3]

Кошмару оккупации все же пришел конец. Литератор А. В. Бахрах, еврей, скрывавшийся у Бунина всю войну от нацистов[4], рассказывает, что Иван Алексеевич неистово возмущался, когда немцы запретили ему свободно передвигаться поблизости от дома. «...У небольшого лесочка,— вспоминает Бахрах,— к которому примыкал сад „Жаннеты" и куда можно было пройти через полускрытую, едва заметную калитку (до того мы считали, что в случае чего через нее можно улизнуть!), появилась доска с изображением черепа и с надписью: „Осторожно — лес минирован". „Нет, они потеряли голову,— негодовал Иван Алексеевич,— минировать *наш* лес, ведь это патология!"

Так шло — почти без перебоев — медленно, угрюмо и, главное, однообразно — в Ниццу или в Канны Иван Алексеевич ездить перестал, все его знакомые куда-то оттуда поисчезали и дела у него там больше не было никакого. Но вот в одно прекрасное утро (это было в августе 44-го года) щемяще завыли сирены. Собственно в самом этом факте не было ничего необычного. Воздушные тревоги уже не раз раздавались, и в небесной сини Прованса иной раз можно было приметить черную точку летевшего бомбардировщика. Однако, как правило, отбой никогда не заставлял себя долго ждать.

На сей раз, однако, что-то происходило не „по правилам". Проходил час, другой, третий, а отбоя не было, и из-за этого „неуместного" внешнего спокойствия волнение Бунина не переставало нарастать. То, накинув свой потрепанный халатик, он отправлялся в сад, чтобы „отсидеться" в облюбованной им для подобных случаев будке... Эта будка, крытая соломенным навесом, вплотную прилепилась к скале, была малоприметна и потому Бунин считал ее верным убежищем от бомб, неким „бункером"! То он снова поднимался к себе, может быть, он что-то увидит через окно, то опять сбегал в столовую, стараясь разузнать по радио, что, собственно, приключилось.

Но радио вдруг онемело, и только после полудня как-то случайно удалось выяснить, что воздушная тревога была вызвана высадкой союзного десанта на средиземноморском побережье, где-то в районе Фрежюса, примерно на расстоянии какой-нибудь сотни километров.

Несколько дней прошло в нервном ожидании, усугубляемом отсутствием информации и наполненном самыми противоречивыми слухами. Иногда со стороны Эстереля слышался

артиллерийский гул, раз-другой дымки появлялись над островками, лежащими около Канн, но всего этого было Бунину недостаточно. Он готов был отчаиваться из-за той медлительности, с которой — по его мнению — развертывались военные операции. „Вы видите, ждать нечего, все погибло“,— неистовствовал он, когда наступило долгое затишье.

А то радостное событие, которого все мы ждали более четырех лет, наступило на рассвете 24 августа. Немцы из Грасса ретировались без боя, мы могли видеть, как последние их части спускались мимо виллы по Наполеоновской дороге в полном беспорядке, и через несколько часов первыми ступили отряды канадских военно-воздушных сил, высадившихся на планерах вблизи пляжей.

„Что было у нас на душе — описать невозможно“,— писал затем Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, не узнал обычной грасской толпы. „От радости словно все лица преобразились,— говорил он,— точно все вдруг похорошели!“ — и затем был совершенно ошарашен тем, что, когда зашел в кабачок и заказал, „чтобы отпраздновать освобождение“, двойную рюмку коньяку, хозяин провозгласил, что „сегодня все даром“, и достал заветную бутылку с каким-то большим количеством звездочек. „Такого еще не было во всей истории Франции“,— говорил он, вернувшись домой, рассказывая о виденном со слезой в глазах».

Бунин записал в дневнике 25 августа 1944 года:

«На рассвете 24-го вошли в Грасс американцы. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги! Днем ходил в город — ликование неописуемое. Множество американцев. Взят Канн.

Нынче опять ходил в город. Толпа, везде пьют (уже все, что угодно), пляски, музыка — видел в „Эстерели“ нечто отчаянное — наши девчонки с американскими солдатами (все больше летчики).

В Париже опять были битвы,— наконец, совсем освобожден...

„Федя“ (русский военнопленный, который приходил к Буниным.— *А. Б.*) бежал от немцев за двое суток до прихода американцев, все время лежал в кустах, недалеко от пекарни, где он работал».

30 августа Бунин узнал, что взята Ницца. «Говорят, Ницца сошла с ума от радости, тонет в шампанском».

Уставшего и одинокого Бунина все чаще одолевали грустные мысли о надвигавшейся старости, воспоминания о молодых годах стали острее. «Уже давно, давно,— пишет он

7 октября 1944 года,— все мои былые радости стали для меня мукой воспоминаний!» А день рождения, 22 октября, еще больше казался, как он сам сказал, «роковым» его днем: «Уже семьдесят пятый год пойдет мне завтра,— пишет он.— Спаси Господи.— Завтра в 8 утра уезжает Бахрах, проживший у нас четыре года. Четыре года прошло! — Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я никогда уже не буду этого видеть. Приговоренный к казни».

В новом 1945 году Бунин болел от простуды. Жизнь была трудной. Вера Николаевна подрабатывала перепиской на машинке. Печатала также рассказы Ивана Алексеевича, «чтобы были дубликаты». «Очень самого трогает,— пишет Бунин 1 января 1945 года, — „Холодная осень“... Как уже далеко все! И сколько было надежд. Эмиграция, новая жизнь — и, как ни странно, еще *молодость* была! В сущности, удивительно счастливые были дни. И вот уже далекие и никому не нужные».

12 февраля 1945 года: «Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества, не могу примириться с его дикой гибелью!»

23 февраля 1945 года: «Чудовищное разрушение Германии авионами продолжается. Зачем немцы хотят, чтобы от нее не осталось камня на камне, непостижимо! Турция объявила войну ей и Японии».

Вера Николаевна писала о годах войны:

«Иван Алексеевич в Грассе был сравнительно здоров и бодр. Легко поднимался в гору. Начал болеть воспалением легких уже в конце 1945 года в Париже, а домой, то есть в нашу парижскую квартиру, мы вернулись 1 мая 1945 года».

Главная забота была сейчас — как топить. Запаслись печками, привезенными с юга, нагревательным прибором, получали по карточкам немногие килограммы угля и дров, но это не спасало.

Жили без прислуги, даже без приходящей домашней работницы. От М. С. Цетлин Бунины получали посылки с теплыми вещами. «Я лично без вас бы пропала. Все теплое белье от вас... Иногда вы прямо спасали»,— писала Вера Николаевна Марии Самойловне 8 февраля 1946 года.

Литературная жизнь русского Парижа понемногу возрождалась. Для Буниных возобновились встречи со старыми знакомыми после уединенного сиденья в Грассе. Вера Николаевна хлопотала об устройстве «вечеров» в надежде на заработок для писателей, сильно нуждавшихся. «Первый вечер как бы из прошлой, забытой жизни»,— как выразилась Вера Николаевна (письмо к М. С. Цетлин от 28 октября 1945 г.),

было выступление поэта и литературного критика Г. В. Адамовича, он читал о Маяковском, Есенине, Ахматовой и Мандельштаме. Собрались пережившие «лихие годы» и увидели, как все изменились, постарели, но вместе с тем испытали «трудно передаваемую радость свидания» и грусть, что многих, кто прежде бывал на подобных «встречах», уже нет. Вечер Бунина состоялся 19 июня 1945 года, зал был полон народу. Сбор составил 30 тысяч франков. «Во время войны и оккупации русский Париж,— пишет Л. Ф. Зуров,— был расколот, разбит. От страшных ударов и потерь литературная жизнь никогда не поправилась. „Современные записки" не вернулись из Нью-Йорка в Париж. Уже не было старых газет, издательств. Жизнь уцелевших литераторов изменилась — ничего не осталось от довоенного времени».

Бунин хоть и бывал временами очень мрачный, всем недовольный, легко раздражался, но, как всегда, если оказывался среди людей ему приятных, выглядел жизнерадостным, остроумным, блистал даром изображать людей в лицах. Таким его опять увидели друзья на вечере у профессора Ельяшевича, где были и Зайцевы; он,— пишет Вера Николаевна,— «смешил всех до слез в буквальном смысле этого слова».

Бунин был занят подготовкой первого полного издания «Темных аллей». 6 декабря 1945 года Вера Николаевна писала Марии Самойловне Цетлин: «Иван Алексеевич болен, сильнейший кашель и сердце, и очень занят. Продал „Темные аллеи" Зелюку». Книга вышла в Париже в 1946 году.

Осенью 1945 года Бунин посетил советское посольство в Париже.

В письме к М. С. Цетлин 25 октября 1947 года Бунин говорит: состоялась «поездка в посольство Богомолова, по его, Богомолова приглашению — в связи с предполагавшимся изданием моих сочинений в Москве». Он пробыл в посольстве минут двадцать в «светской беседе».

А. Е. Богомолов рассказывал мне о своей беседе с Буниным, он подтвердил, что Бунин приехал в посольство по его приглашению.

Письма Бунина М. А. Алданову, в которых он говорил о посещении посольства и о возможном возвращении в Россию, взбудоражили некоторую часть русской эмиграции в Америке. Посещению посольства эта часть эмиграции придавала политическое значение. Алданов писал Бунину 5 января 1946 года:

«Не говорите, что в Вашем случае *никакой* политики нет. Это не так: визит, каков бы он ни был и какова бы ни была его цель, помимо Вашей воли становится действием политическим. Я солгал бы Вам (да Вы мне и не поверили бы), если б я

сказал, что Ваш визит здесь не вызвал раздражения. (Есть, впрочем, и лица, одобряющие Ваш визит.) Насколько я могу судить, оно всего больше, с одной стороны, в кругах консервативных, дворянских, к которым тут примыкает и 95 процентов духовенства... с другой стороны, у дворянства политического... Вам известно, какую бурю вызвал визит Маклакова,— значит, Вы знали, на что идете... Раздражение со временем пройдет. Я делаю все, что могу, для его „смягчения"... Ради бога, решите для *себя* окончательно: возвращаетесь ли Вы или нет? По-моему, все дальнейшие Ваши действия должны зависеть от этого решения».

В прессе сообщалось, что «в некоторых эмигрантских газетах, в Париже и в Сан-Франциско, появились статьи», в которых обвиняли Бунина в том, что «он „перекинулся" к большевикам. Иногда ошибочно пишут, будто Бунин получил советский паспорт. В. Н. Муромцева-Бунина сообщала мне, что это неверно.

Мечта Бунина о России была давняя. 2 апреля 1943 года он записал в дневнике: «Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?» В следующем году он опять возвращался к той же мысли: «Почти каждое утро, как только откроешь глаза, какая-то грусть — бесцельность, *конченность всего* (для меня). Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то), кладбище всего, чем жил когда-то» (20 января 1944 г.).

В январе 1946 года Бунин болел воспалением легких. «Сильными мерами воспаление ликвидировали...— писала она Марии Самойловне в Америку 8 февраля 1946 года.— Ян (так она называла Ивана Алексеевича.— *А. Б.*) очень исхудал, ноги — палочки. Стараюсь доставать все, что можно. Но что это стоит! Не успеваю менять „пятитысячники". Помогают посылки из ваших мест... Теперь он уже встает, надевает теплую пижаму. Но из комнаты его мы еще не выпускаем — разная температура. Серов говорит, что в солнечный день он уже может выйти на десять минут на воздух, но, к сожалению, хотя и тепло, но сумрачно — Париж последнее время в серых тонах.

Вчера у нас были Зайцевы *. Они, слава богу, здоровы. А то ведь и у них была тревога. Настроение у них легкое. В понедельник надеюсь выбраться к ним,— Борису стукнет шестьдесят пять лет!

---

* Б. К. Зайцев — писатель. С 1922 года жил за границей. В ряде повестей и рассказов выражал враждебное отношение к революции.

Вообще же Ян очень не хочет кого бы то ни было видеть. Настроение у него чаще всего тяжелое и мрачное. Но иногда бывает и оживлен и даже смешит. Легко допускает к себе тех, кто жил у нас в Грассе: Зурова, Бахраха, Любченко, мою приятельницу, которая часто у нас гостила на вилле „Жаннет". Она очень мне помогла во время болезни...»

В конце 1946 года Бунин собирался на юг. По словам Веры Николаевны, сейчас он «здоров и в хорошем сравнительно духе». Но была уже одышка, от которой он так изнемогал потом.

Предполагался «банкет в честь Ивана Алексеевича по поводу выхода в свет „Темных аллей"». Устраивает, говорит Вера Николаевна, Маковский, которого выбрали председателем «Объединения писателей и поэтов». Банкет назначен был на 29 декабря.

Эта книга, по словам Бунина, «говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном,— думаю,что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни,— и не один я так думаю».

Г. В. Адамович говорит, что «немногие заметили и уловили трагическую сущность этой книги, страстную жажду жизни и страстное сожаление об уходящей жизни...». В «Темных аллеях» — большая сложность и глубина, едва ли постижимо то «божественное и дьявольское» (слова из рассказа «Генрих»), что, как писал Г. В. Адамович, близко теме «Пира» Платона. «И когда одна из его героинь (Натали в одноименном рассказе.— *А. Б.*),— пишет он,— задумчиво спрашивает:

— Разве бывает несчастная любовь? — она, сама того не зная, касается глубочайшей сущности бессмертного диалога. Всякая любовь — великое счастье, „дар богов", даже если она и не разделена. Оттого от книги Бунина веет счастьем, оттого она проникнута благодарностью к жизни, к миру, в котором, при всех его несовершенствах, счастье это бывает».

Никто из современников Бунина не выразил с такой силой и с таким проникновением, как он, ту «высшую радость», что дает человеку любовь, «страшнее, привлекательней и загадочней» которой «нет ничего ни на небе, ни на земле».

Вера Николаевна писала 26 января 1947 года Марии Самойловне Цетлин:

«Почти месяц, как Ян болен... Было три доктора: Серов, Зёрнов и Вербов. Все успокаивают, но меня начинает пугать его состояние. Особенно ночной кашель, отчего я и должна проводить ночи в его комнате... Жара нет. Но он очень ослабел от потери крови. Чуть ли не шесть недель она не останавливается. Кроме того, и печень не в порядке, и он на строгой диете,

которую он покорно переносит. От поездки на юг он не отказался, а соблазнил и Тэффи, которая тоже решила там отдохнуть. Но точного срока отъезда не назначено».

Днем отъезда наметили 15 февраля, а тем временем явилось новое беспокойство: Бунин, как пишет Вера Николаевна, «обескровел, как это было двадцать шесть лет тому назад. Теперь у нас у всех одна задача уговорить его сделать укол,— пишет Вера Николаевна М. С. Цетлин 19 февраля 1947 года...— И все склоняются к тому, что его довольно тяжелое состояние (сердца, общей слабости) зависит именно от очень сильного малокровия, с которым придется бороться очень энергично, чтобы не случилось непоправимого. Он до сих пор в постели и так слаб, что пройти по комнате — целое дело. Большое упущение было сделано, что анализ произведен был так поздно. Всех врачей и нас путал его кашель, который и до сих пор продолжается и имеет характер коклюшечного, есть мнение, что и кашель отчасти зависит от ослабления всего его организма. Одно время думали, что дело в сердце, так как пульс порою бывает очень слабый и частый, после анализа врачи говорят, что это тоже от сильнейшей анемии. А сердце, к счастью (это единственное утешение), в хорошем состоянии. И, если он согласится на уколы, то силы будут восстановлены довольно быстро. Но необходимо усиленное питание. И раньше во время его болезни его питание стоило дорого,— вы, вероятно, от Ангелиночки знаете, какие теперь цены, а последнюю неделю (анализ был получен в прошлую пятницу) его питание и отопление мне иной раз в день обходится две тысячи франков, а самое малое — пятьсот франков. Его необходимо кормить, например, телячьей печенкой, кило которой стоит шестьсот франков. Ему всегда холодно, порой он дрожит и приходится топить, и на одну лишь растопку идут бешеные деньги. Словом, то, что я получила от Шуры, уменьшилось вдвое. Чтобы его не расстраивать, я скрываю от него наше финансовое положение. Конечно, в вышеупомянутые суммы входят и лекарства и оплаты врачей. Ко всему, аппетита у него никакого, приходится умолять его, чтобы он что-нибудь съел. Впрочем, вы, вероятно, знаете, что это такое.

Роговский все еще здесь. Он ждал выздоровления И. А., чтобы его сопровождать. Врачи думают, что после уколов ему будет можно скоро ехать в Жуан ле Пэн, где, конечно, Беляев его поставит на ноги. Конечно, уколы тоже влетят в копеечку. Но ничего не поделаешь. Пришел черный день,— нужно все сделать, чтобы предотвратить непоправимое.

О себе могу сказать, что я устала очень. Ведь с первого

января этого года я проводила до последних дней ночи с ним. Он кашлял так, что приходилось раза по три в ночь вставать и давать ему что-нибудь теплое. Последние три ночи я сплю в своей ледяной комнате, не раздеваясь, так как если позовет, то нужно как можно скорее к нему добежать и дать пить или посмотреть, не погасла ли печка».

Отправился Бунин в Жуан ле Пэн на Лазурный берег только в марте, числа 22-го, пролежав в постели три месяца с острым малокровием, и теперь, как говорил он сам, «чуть живой от слабости».

В. Н. Муромцева-Бунина

Вера Николаевна извещала М. С. Цетлин 29 марта 1947 года:

«...Неделю тому назад мы проводили Яна на юг в „Дом отдыха". Поехал он один, так как удалось достать только один билет в спальном вагоне, и то через Клягина (инженера, автора книги очерков-воспоминаний о Сибири „Страна возможностей необычайных", с предисловием Бунина.— *А. Б.*). Тэффи с Роговским уехали раньше с другим поездом, взявши места с кушетами. У Тэффи перед отъездом был сильнейший припадок, но потом все обошлось, и она хорошо доехала. Довольна, и пока, слава богу, плохих вестей о ней нет.

Яну был добыт билет на верхней полке, и мы все очень волновались, ибо понимали, что при его слабости ему лезть наверх нельзя. Решили просить кого-нибудь, кто помоложе, перемениться с ним местом, в поезде было сорок спальных мест. Но все же волновались, особенно он. По платформе ему было уже трудно идти,— он был так слаб, что, когда пришлось идти к зубному врачу, который принимает в бывшем вокзале, знаете, около нас на рю Буланвилье, то мы брали складной стульчик,— у Берты Соломоновны (вдовы художника П. А. Нилуса.— *А. Б.*) нашелся,— и он садился раз пять. И пока мы шли по платформе,— вагон был первый, дальний, он все прибавлял, сколько дать проводнику, если он найдет

„милого господина". Провожали: вся семья Журовых, Михайлов, Любченко, Бахрах, Адамович,— Леня (Л. Ф. Зуров.— *А. Б.*) был на службе. И вот вся наша орава вошла в вагон, а потом ввалилась в купе, где уже сидел пожилой человек, с которым Ян весело поздоровался, и они оба стали шутить. Я, увидав, что они знакомы, непосредственно обратилась к нему:

— Уступите, ради бога, свое место Ивану Алексеевичу,— он был очень серьезно болен...

— Хорошо,— ответил он, не задумываясь,— я слышал, что он был болен.

— Ни в каком случае я этого не допущу,— возразил Ян.— Идите и говорите с проводником...

— Что вы, Иван Алексеевич, я с удовольствием полезу наверх, и если надо, буду давать вам лекарство».

Спутником оказался издатель Абрам Осипович Гукасов. «Когда поезд трогался,— продолжает Вера Николаевна,— Ян стоял у открытого окна и был очень возбужден и в то же время спокоен. Конечно, ему было приятно, что едет он со знакомым человеком. И, знаете, он спал до самого Марселя так, как давно не спал.

Ведь последнюю неделю он лишился сна, и даже снотворное не действовало. Дело в том,что от него не скрыли, что может быть у него рак, что послано на исследование, и двенадцать дней он мучился, хотя только раз ночью мне сказал: „В понедельник меня может ожидать еще удар..." Я не поняла: — Какой? — „А может быть, окажется рак..." Слава богу, этого не оказалось. Но не понимаю, зачем нужно было раньше времени ему об этом говорить?.. Объясняю я этим, что последний анализ крови хуже предыдущего. В нем оказалось всего два миллиона восемьсот тысяч красных шариков и пятьдесят семь процентов гемоглобина, а в предыдущем было три миллиона и пятьдесят девять процентов.

Беляев, как и Аитов, нашли его сердце и легкие в порядке. Кашель скорее носоглоточного происхождения, может быть, астматического. Но каждую ночь, проснувшись, он мучительно кашляет довольно долго, потом засыпает.

В Антибах его встретили на такси Беляев и Ставров. Дом ему понравился. Кухня тоже. Ему за особую плату готовят отдельно. Я написала Беляеву, чтобы он тратил на него все, что нужно,— ведь сейчас самый критический момент, нужно, чтобы шарики увеличивались в числе.

Ян пишет, что плохо одно, нет фруктов, я послала ему кило апельсинов, заплатив за них 235 франков. Наташа Баранова написала мужу, который в Тунисе, чтобы он прислал оттуда восемь кило их, там они дешевы... В эту зиму

на Ривьере от мороза погибли все фрукты, иначе Клягин присылал бы ему,— ведь у них в Грассе целый апельсинник и мандаринник, а туда как раз едет его жена, которая мне обещала навестить Яна.

Перед отъездом мы позвали Вербова, он его осматривал по специальной части. Врач он умный и дал много дельных советов и не по своей области. И по его совету Ян написал письмо в Лондон Якову Осиповичу (Гавронскому.— *А. Б.*), чтобы он выслал ему особые ампулы для впрыскивания,— новое средство, которое восстановляет кровь. Не знаю, получены ли они. Думаю, что сам Беляев будет их впрыскивать.

Не знаю, как все же он там себя чувствует. Тэффи обещала подымать его дух. Ставрова, которая с мужем уже живет там второй месяц, надеюсь, исполняет для него маленькие поручения, они дружат. Беляев ежедневно его осматривает, а его подруга жизни, по слухам, замечательная женщина, очень хорошая хозяйка; заведующий хозяйством и всеми тикетами бывший моряк Протасьев *, по матери Бунин, очень нравится Яну, так что окружение приятное...

Но, конечно, я живу в тревоге. Успокоюсь, когда узнаю, что шарики прибавляются. Врачи уверяют, что у него очень хороший организм, но все же очень страшно. Это, конечно, мешает и мне отдыхать. Да и дел еще много».

Опасность была в том, что малокровие могло перейти в белокровие, но, к счастью, все обошлось хорошо.

Бунин писал Н. Д. Телешову в Москву 1 апреля 1947 года:

«...Я, как видишь, нахожусь на берегу Средиземного моря, на курорте, несколько подобном нашему Гурзуфу... Слаб я еще и до сих пор так, что с трудом делаю несколько шагов по комнате».

Нужны были большие средства, чтобы поддерживать Бунина хорошим питанием. Помогали дочь Рахманинова, Татьяна Сергеевна, Цетлины и другие[5]: деньгами, посылками; друзья хлопотали о получении для Бунина ссуды, поддерживали его различными сборами. И на юг Бунин смог поехать, только получив очередную ссуду при поддержке Алданова.

Вере Николаевне Бунин писал совсем невеселые письма. «Одно время ему было лучше,— говорит она в письме к М. С. Цетлин 14 апреля,— он начал спать и перестал кашлять, а последнее письмо его меня очень расстроило: „...да навряд я тут пробуду долго,— скорей всего вернусь в Париж не позднее середины мая: вот уже третья неделя, что я тут, а чувствую

* Правильно: Протасов. (*Ред.*)

себя не лучше, чем в Париже, три последние ночи опять были плохи,— кашель, бессонница, сердцебиение при малейшем движении. Писал тебе: „питание сносное". Нет, не очень сносное, а для меня и совсем плохо: прикупки дороги и тоже плохи: ветчина всегда жесткая и не в меру соленая, грюэр (le gruyère — швейцарский сыр.— *А. Б.*) тугой, безвкусный, апельсинов нету" ».

В письме Вере Николаевне за апрель 1947 года Бунин опять жаловался на плохое здоровье и был обеспокоен тем, что мало денег и они быстро таяли: «Могу написать несколько слов — слаб и умом и волей и физически *очень*. Думаю, что напрасно поехал — никакого пока улучшения и ночью одиноко и страшно и тревожно за тебя. Письма твои (два) получил. Вот уже сутки мистраль. *В общем* питаюсь плохо и траты большие. Плата двести франков в день. Кроме того, за вторую комнату — две тысячи в месяц, так что нынче заплатил за месяц вперед всего восемь тысяч. *И прикупаю:* лимоны, апельсины, сгущенное молоко, вино (простое) и *все очень* дорого. Дают то колэн (le colin — рыба хек.— *А. Б.*) и картофель (который я поливаю маслом, *тоже купленным очень дорого за свой счет*), то что-то из рубленого лилового гадкого мяса. Кофе пока пью свое — пока потому, что скоро его не будет, а будут ли давать от дома потом, не знаю. Все это не исключает того, что обо мне очень заботятся — и доктор, и Шиловская (подруга его жизни), и заведующий хозяйством Протасов, о котором я тебе писал. Днем дремлю, ночью бессонница, кашель. Слаб так, что еще ни разу не вышел из дому. И тревога: деньги тают — и что дальше, откуда взять? У меня осталось уже всего тринадцать тысяч...

Очень заботливы обо мне Ставровы — все прикупки делают они. Да, еще зубы: кляну *себя,* что не вырвал, все ноют, и не могу *ничего* в рот взять мало-мальски тугого, крепкого».

Эти страдания длились четвертый месяц.

Первого июня 1947 года Бунин возвратился с юга: он писал М. С. Цетлин 6 мая,что «купил... билет на возвратный путь в Париж на первое июня — здесь мне все-таки,— говорит он,— очень одиноко да и голодно, несмотря на все ежедневные прикупки».

В Париже прожил он почти до конца года, лето выдалось очень жаркое, и у него ослабело сердце, пришлось снова лечиться.

И опять надо было думать об отъезде на юг с наступлением холодов. Строились планы изыскания необходимых средств. Вера Николаевна писала М. С. Цетлин 2 сентября 1947 года:

«В октябре Ян хочет устроить свой вечер, чтобы запастись деньгами для „Дома отдыха“».

Вечер Бунина состоялся 26 октября 1947 года в зале Шопен-Плейель. Читал он рассказы и стихи. Газета «Русские новости» (Париж, 1947, № 126, 31 окт. Сообщил проф. А. Звеерс) писала:

«Кажется, что он читает предельно просто, однако эта его простота не отнимает у него выразительности. Начав и закончив рассказами, в промежутке между ними Бунин на сей раз целое отделение своего вечера посвятил стихам. Это для него исключение, уже давно-давно не имевшее прецедента. В авторском исполнении каждая строка приобретает особый рельеф. Переполненный зал, в котором находился весь русский Париж, шумно и тепло приветствовал последнего из наших литературных могикан».

25 декабря Бунин и Вера Николаевна уехали на юг. Б. К. Зайцев писал М. С. Цетлин 20 декабря 1947 года: «Вера и Иван уезжают 25-го на юг...» Здесь Бунин несколько поправился и окреп.

Как ни пригибала Бунина нужда, как ни изнуряли болезни, он все же не утратил жизнерадостности, энергии в работе, далеко не иссякли в старости творческие силы. Иван Алексеевич,— пишет Вера Николаевна,— «блестящ и остроумен, но иногда впадает и в пессимизм».

В моей книге «Бунин. Материалы для биографии» (М., 1967) Бунин последних лет изображен, по недостатку сведений, несколько односторонне, мало обращено внимания на его творческие интересы и творческую работу, больше подчеркивается тяжесть существования в болезнях и при материальных недостатках, а порой — и в нищете. Все это — недоедание, болезни — действительно было, но было и другое: жизнь,полная творческих увлечений и человеческих радостей. Вот почему книга получила двойственную оценку поэтессы Г. Н. Кузнецовой, многие годы жившей в доме Бунина и хорошо знавшей его. Она мне писала: «Как все хорошо, подлинно! И никаких коробящих фраз — все благородно и чисто» (28 марта 1972 г.). «Вы сделали бесконечно трудную,мозаичную работу, с большим тактом обходя все, что могло бы исказить образ Ивана Алексеевича. Многое в книге было и для меня новым... Он мне много, почти все как будто, рассказал в свое время, но как художник — поэт, несколько преображал действительность, тем более, что почти всегда рассказывал перед тем как написать или следующую главу „Арсеньева“ или какой-нибудь рассказ или набросок... Для будущих биографов книга ваша будет драгоценна, хотя с 17-го года почти до 42-го в ней есть некий

провал — ведь у вас не было материалов! Конец жизни Бунина написан в очень тяжелых тонах, но весь период парижский, а затем и грасский (годы войны.— *А. Б.*) был очень живым, творческим... Да и в предпоследних годах жизни Ивана Алексеевича не все было *так* безотрадно. В его письмах ко мне много он пишет о своей работе, об изданиях его книг, как и о многом другом» (21 января 1968 г.).

Надо постоянно помнить, рассказывая о Бунине по его письмам, что, как говорит Кузнецова, «Иван Алексеевич любил иногда преувеличивать — это было в его манере выражаться, а в горькие минуты и вообще говорить в самых трагических тонах» (6 июня 1965 г.).

И в эти тяжелые годы Бунин немало трудился и жил литературой. Он писал рассказы, статьи, воспоминания, книгу о Чехове, просматривал и правил все ранее им написанное,— а это был огромный труд, судя по тем книгам прозы и стихов, над стилем которых он работал: шесть томов издания А. Ф. Маркса (1915), одиннадцать томов берлинского издания (1934—1936), сборники «Избранные стихи», «Темные аллеи», «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона», «Митина любовь.— Солнечный удар» — все это внимательно выправлено, отдельные стихотворения и местами проза совершенно переделаны — не только улучшен язык и стиль, изменен даже сюжет некоторых произведений.

Бунин писал: «Гете... говорил, что гении переживают две молодости, меж тем как прочие бывают только раз молоды»; если нравственная природа «могущественна, то она, в то время, когда проникает тело, не только укрепляет и облагораживает его, но и придает ему ту вечную юность, которой обладает сама. Вот почему у людей особенно одаренных мы наблюдаем эпохи особой продуктивности: у них вновь наступает пора молодения, вторая молодость...» [6]

Таким писателем был Толстой, говорит Бунин.

И сам он переживал вторую молодость. Он был из тех, кто не признавал ни старости, ни смерти. Художница Т. Д. Муравьева-Логинова, хорошо знавшая Бунина, пишет: «В измученном Иване Алексеевиче жил его прежний творческий дух. Любил он по-прежнему общение с друзьями, живо всем интересовался» [7]. В стихах «Как в апреле по ночам в аллее...» писал:

...С годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

Английский критик и драматург Эдуард Гарнет писал о вышедшем в марте 1933 года в Лондоне переводе «Жизни

Арсеньева» (озаглавленном по-английски „The Well of Days"— «Истоки дней»): «Волшебная свежесть и полнота ощущений и чувств юноши смешиваются всюду с особым поэтическим ощущением пейзажа и глубокой страстной восприимчивостью. Это потрясающе, что человек шестидесяти трех лет мог обладать сердцем, душой и жизненным пульсом юноши» [8].

Таков Бунин и в «Темных аллеях» — захваченный жаждой счастья.

Не всегда его ценили должным образом. Для Мережковского, Гиппиус проза Бунина, как и проза Толстого и Чехова,— всего лишь натуралистическое искусство. Они не замечали того, что Чехов обновил форму рассказа, и совсем не понимали новаторства Бунина, говорившего, что в «Жизни Арсеньева» есть «немало мест совсем прустовских» [9], хотя прочитал он импрессиониста Пруста после того, как написал свой роман. А литератору Л. Д. Ржевскому писал в 1951 году:

«...Рецензия ваша на мои „Воспоминания" в общем очень плоха... „Естественно,— пишете вы,— что реалист Бунин не приемлет символизма Блока"! Называть меня реалистом значит... не знать меня как художника. „Реалист" Бунин очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».

Несомненно, что реализму Бунина присущи некоторые особенные черты, которые сближают его с модернистами, и прямолинейные суждения, вроде вышеуказанных, были для него неприемлемы. Г. Н. Кузнецова писала о Гиппиус и Мережковском: «Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты „Арсеньева". Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими или даже воспринимается отрицательно» [10].

В конце 1947 года Бунин вышел из Союза писателей и журналистов в Париже, что вызвало большое недовольство среди тех, кто усмотрел в этом проявление солидарности Бунина с исключенными из писательской организации членами, взявшими советские паспорта. Их было «человек двенадцать на сто тридцать восемь», писала В. Н. Бунина (правильно — сто двадцать восемь).

В письме на имя генерального секретаря Союза В. Ф. Зеелера, опубликованном в одной из газет, он заявил: «Уже много лет не принимая по разным причинам никакого участия в деятельности Союза, я вынужден (исключительно в силу этого обстоятельства) сложить с себя звание почетного члена его и вообще выйти из его состава».

Бунин писал журналисту М. Е. Вейнбауму 8 декабря 1948 года, что он покинул Союз в силу того, что ему «не хотелось

оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты „Русская мысль", некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера. Естественно было поэтому сугубое раздражение против меня, как человека с именем, со стороны этой кучки...». Вскоре после вечера Бунина, состоявшегося 23 октября 1948 года, когда он прочел свои «Автобиографические заметки», «Русская мысль» «напечатала (10 ноября.— *А. Б.*) анонимный „Маленький фельетон", посвященный,— говорит Бунин в указанном выше письме,— моему вечеру,— нечто беспримерное по всяческой низости и пошлости...» Автором пасквиля был Сергей Яблоновский [11].

Из Союза ушла и Вера Николаевна Бунина. «...Правление Союза,— писала она М. С. Цетлин 1 января 1948 года,— вело себя так на последних двух заседаниях, что я, например, потеряла к нему всякое уважение. А как оставаться членом общества, когда не уважаешь почти все правление? Обнаружилось, что генеральный секретарь не знает устава Союза,выяснилось, что был пристрастно составлен протокол предыдущего собрания, подстроено было „липовое" большинство на последнем заседании...»

Б. К. Зайцев, не одобрявший уход Бунина из Союза, писал М. С. Цетлин 20 декабря 1947 года: «Среди ушедших оказался и Иван! Единственно *это* было для меня тягостно — за него. Ночь я не спал».

Их отношения, по признанию самого Бориса Константиновича, обменявшегося с Буниным полемическими письмами, оказались «надорванными в корне» [12]; он утверждал в письме к М. С. Цетлин (20 декабря 1947 г.) столь несообразные вещи, что едва ли и сам верил в справедливость своих слов, когда писал: «...это несчастный, тяжело больной человек семидесяти семи лет, задыхающийся, непрерывно по ночам кашляющий... Я считаю, что Ивана Бунина нет, осталась несчастная его тень, с которой нечего и спрашивать».

Все же несмотря ни на что теперешний разлад не мог затмить для Зайцева многолетних дружеских встреч с Буниным или умалить в его глазах громадный художественный талант Ивана Алексеевича. Гораздо позже, когда страсти улеглись, он писал мне 30 сентября 1968 года: «Он прошел через всю мою жизнь. В конце... мы разошлись. Это очень грустно... Моя Вера (Вера Алексеевна Орешникова.— *А. Б.*) очень Ивана любила. Они иногда бог знает что говорили — Иван смешил нас до упаду».

Письма Бунина Зайцеву — свидетельство их длительной дружбы. 10 ноября 1929 года Бунин писал:

«Весьма благодарю, дорогой друг, за все,— и за то, что написал... и за доброе слово об „Арсеньеве“: *очень* рад, что тебе нравится,— эта „книга“ (одна из пяти „книг“, то есть частей романа.— *А. Б.*) доставила мне особенно много волнений и сомнений. Восхитился твоей проницательностью — ты страшно верно попал в точку: да, все-таки я человек весьма „нервический“ и довольно-таки склонный „создавать себе препятствия“,— если бы ты знал, например, сколько их стоит *сейчас* передо мной насчет всего дальнейшего в этом самом „Арсеньеве“! Хотя ведь и то сказать: поставил я себе задачу истинно дьявольскую, небывалую по трудности!»

В письме от 14 февраля 1933 года Бунин снова говорит о «Жизни Арсеньева»:

«Дорогой, милый Борис, прости, что поздно благодарю тебя и за услугу и за добрые слова насчет моего писания. Я сейчас отношусь к себе так болезненно, так унижаю себя, что это была большая радость — услыхать — да еще от тебя — одобрение.

Кстати — если бы ты знал, как безобразно исковеркал я это писание! Нашли (в газете „Последние новости“.— *А. Б.*), что я даю слишком большие фельетоны, попросили давать короче, я, от стыда и обиды да еще шальной от парижской жизни и начинающейся болезни, стал сокращать, мгновенно запутался, стал вычеркивать, что попало, переставлять куски... словом сотворил такую бар...ль, что теперь взглянуть боюсь на то, что напечатал. И еще горе — нужда великая, а печатать дальше негде: ясно вижу, что печатать меня дальше и вовсе не хотят — дорог и скучен...

То, что ты напечатал о Св.Серафиме, произвело на меня сильнейшее впечатление: этот снег и Св.Дух просто жуткодивно».

В письмах к Зайцеву Бунин иногда высказывал свои суждения о прочитанных книгах, имеющие исключительно большое значение для понимания его литературно-критических воззрений. 22 сентября 1938 года он писал:

«Дорогой братишка, целую тебя и Веру, сообщаю,что вчера начал перечитывать Андреева, прочел пока три четверти „Моих записок“ и вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что напрасно мы так уж его развенчали: редко талантливый человек...»

Зайцев вспоминал: «Если не ошибаюсь, в последний раз видел я Ивана перед операцией, полуживого и несчастного. А последнее письмо мне от его Веры помечено 1 сентября 1950 года. „Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его горестном положении“... Лишь за несколько дней до его кончины я написал ему

письмо, точно восстановлявшее факты. Ему, думаю, было уже все равно. Ответа не получил. На пороге стояла смерть».

Зайцев пишет:

«Кончая жизнь и о нем думая, нахожу, что относился к нему собственно как к явлению природы — стихии. В его облике, фигуре, движениях, манере говорить, неповторимой одаренности всегда было для меня некое обаяние, внеразумное...» [13]

Обаяние неотразимое — того, кому дано было, как немногим из русских писателей, прославить и возвеличить русскую литературу.

Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

(И. Бунин. «Памяти»)

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания А. В. Бахраха, которые приведены в данной статье, являются продолжением тех глав, которые я опубликовал в статье «Бунин в начале войны. 1939—1941».— Сб.: Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж: изд-во Воронежского университета, 1978, с. 116—118. Дневники И. А. Бунина цитирую по публикации ст. доцента Эдинбургского университета Милицы Грин; ей же принадлежит публикация письма Бунина М. А. Алданову; см. о ней также: Подъем, 1979, № 1, с. 114; Русская литература, 1979, № 2, с. 142. Письма В. Н. и И. А. Буниных к М. С. Цетлин, а также письмо Б. К. Зайцева к ней приводятся по фотокопиям с автографов, полученным мною от художницы Александры Николаевны Прегель, дочери М. С. Цетлин, за что выражаю ей сердечную благодарность; о М. С. Цетлин см. мою статью «Переписка Бунина».— Литературная Россия, 1977, № 39, 23 сент. Письма Бунина Б. К. Зайцеву привожу по публикации проф. А. Звеерса (Ватерлооский университет, Канада); см. о нем также: Подъем, 1978, № 3, с. 128. Письмо Бунина Б. К. Зайцеву 22 сентября 1938 года о Л. Н. Андрееве цитирую по публикации Ник. Андреева (Кембриджский университет, Великобритания). Письма Бунина Б. К. Зайцеву см. также в журн.: Даугава, Рига, 1980, № 10, с. 119—122. Письмо Бунина М. Е. Вейнбауму опубликовано А. Раннитом (Иельский университет, Нью-Йорк).

[1] Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк, 1968, т. 2, с. 102—103.

[2] Там же, с. 103.

[3] Письмо Бунина от 15 декабря 1943 г. В. В. Шмидт цитирую по моей книге: Бунин. Материалы для биографии. М., 1967, с. 235.

[4] Писатель Л. Ф. Зуров, живший у Буниных с 1929 г., писал мне об А. В. Бахрахе 29 июля 1965 г.: «В самые опасные времена Вера Николаевна его крестила (в маленькой церкви, находившейся в Канн ла Бокка), а я для Александра Васильевича достал необходимые документы у священника каннской церкви Соболева».

[5] Подробнее об этом см. в названной в примечании 3-м моей книге, с. 239—240.

[6] Бунин И. А. Собр. соч. М., 1967, т. 9, с. 117.

[7] Цитирую адресованное мне письмо Т. Д. Муравьевой-Логиновой от 15 января 1967 года.

[8] Статья Э. Гарнета «A Russian Genius» напечатана в газ. «The Manchester Guardian». Цитирую по изданию: Annali. Sezione slava, XI, Napoli, 1968, p. 20.

[9] Русская литература, 1961, № 4, с. 154.

[10] Галина Кузнецова. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, с. 118.

[11] Об этом эпизоде из биографии Бунина см. воспоминания В. М. Зернова, опубликованные в «Литературном наследстве» (М., 1973, т. 84, кн. 2, с. 359—360). К сожалению, нечто подобное фельетону С. Яблоновского по пошлости и бесстыдству появилось и сейчас. В одном зарубежном издании («Время и мы») в 1979 году напечатана в переводе с французского мемуарная повесть под интригующим заглавием «Последний поединок Ивана Бунина» Ум-эль-Банин Ассадулаевой, эмигрантки, родившейся в семье азербайджан в 1905 году в Баку. «Творчество Бунина никогда меня не трогало,— говорит она,— меня же куда больше интересовало предназначение человека, нежели любовные переживания какого-нибудь Мити». Банин, вспоминая свой неудачный роман с Буниным, пишет о нем в бульварном стиле, заслужив для себя уничтожающее прозвище в прессе «литературной людоедки». Публикацией писем Бунина она хочет создать впечатление, будто он был в нее влюблен.

Тут следует сказать об отношении Бунина к женщинам.

«У него были романы,— читаем в одной газетной заметке,— хотя свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью... Ни на кого Веру Николаевну он не променял бы. И при всем этом он любил видеть около себя молодых, талантливых женщин, ухаживал за ними, флиртовал, и эта потребность с годами только усиливалась. Автор „Темных аллей“ хотел доказать самому себе, что он еще может нравиться и завоевывать женские сердца. По-настоящему был у Ивана Алексеевича на склоне лет только один серьезный и мучительный роман с ныне покойной талантливой писательницей Галиной Николаевной Кузнецовой» (1900—1976). Для близких людей об этом романе известно было «от Ивана Алексеевича, от самой Гали... Значительно меньше говорила об этом Вера Николаевна... Казалось, что она в конце концов примирилась,— считала, что писатель Бунин — человек особенный, что его эмоциональные потребности выходят за пределы нормальной семейной жизни, и в своей бесконечной любви и преданности к „Яну“ она пошла и на эту, самую большую свою жертву. В конце концов Вера Николаевна и Галя даже подружились... Но роман этот закончился грустно: Галина Николаевна уехала из Грасса (1 апреля 1942 г.— *А. Б.*),— связь с Буниным ее тяготила, он подавлял ее своей властной и требовательной натурой». (Цитирую по вырезке из газеты, любезно присланной А. Н. Прегель.)

[12] Письмо Б. К. Зайцева от 20 января 1948 г. к М. С. Цетлин.

[13] Цитирую по вырезке из газеты, присланной мне Б. К. Зайцевым.

Юрий Юшкин

ЭТЮДЫ К ЕСЕНИНИАНЕ

ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ

Тому, кто раскрыл в начале 1914 года только что вышедшую из печати январскую книжку журнала «Мирок», несомненно, запомнилось стихотворение за подписью «Аристон»*. Называлось оно «Береза», и с него начались выступления в печати Сергея Есенина.

Шло время, креп голос поэта. И вот уже в мартовском номере «Известий книжных магазинов т-ва М. О. Вольф» за 1916 год сообщалось, что в продажу поступила книжка стихов Сергея Есенина «Радуница».

Первый вариант рукописи этого сборника Есенин послал Л. М. Клейнборту в Петербург еще в 1912 году. Для выпуска книги нужны были деньги, и они нашлись. Директор бывшей Елисеевской больницы А. П. Еремич имел свободные средства и предложил приятелю своей юности Льву Клейнборту издать на них книгу стихов какого-нибудь поэта из народа. У Льва Максимовича в это время на столе лежали есенинская «Радуница» и рукопись сборника Янки Купалы «Шляхам жыцця». Белорус Еремич предпочел издать книгу Купалы, которая вышла из печати в апреле 1913 года.

Стихи Есенина печатались в московских журналах «Мирок», «Доброе утро», «Проталинка», «Друг народа», «Млечный путь» и других. «Московские редакции,— писал он 21 января 1915 года А. Ширяевцу,— обойдены мной успешно». Посылал Есенин стихи и в столичные журналы, но там их не печатали. И уже в начале 1915 года он принял решение ехать в Петроград, попытать счастья в столице. Позже поэт в автобиографии писал об этих мартовских днях: «В это время у меня была написана книга стихов „Радуница“. Я послал из них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам».

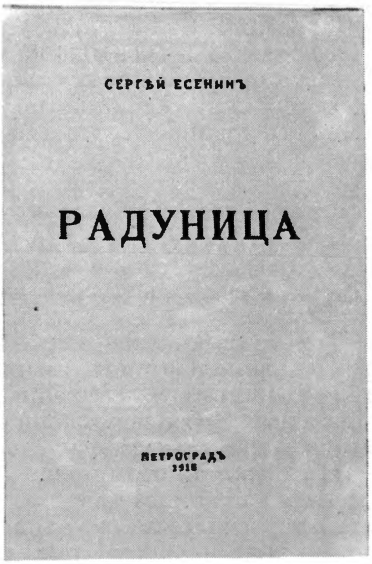
---

* Аристон — музыкальный ящик (*греч.*).

Приехал он в Петроград 9 марта и сразу отправился к Александру Блоку.

Блок отобрал шесть лучших есенинских стихотворений для печати и дал ему рекомендательные письма к поэту Сергею Городецкому и прозаику Михаилу Мурашову, которые сердечно встретили молодого поэта и оказали дружескую поддержку в первые дни пребывания в столице.

Городецкий, в свою очередь, написал рекомендательное письмо к издателю «Ежемесячного журнала» Виктору Сергеевичу Миролюбову, который благосклонно отнесся к молодому поэту. И в его журнале есенинские стихи стали печататься из номера в номер в течение 1915—1917 годов.



Обложка первого сборника С. А. Есенина

В Петрограде Есенин пользовался большим успехом. В столичных литературных салонах и в редакциях журналов, которые теперь с большой охотой его печатали, он читает стихотворения из своей, еще не изданной, «Радуницы». «Всеобщее признание Есенина,— вспоминает о тех днях Рюрик Ивнев,— совершилось буквально в какие-нибудь несколько недель... Я уже не говорю о литературной молодежи, сердца которой покорить было куда легче. Но такие мэтры, как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой — простой, как воздух, пахучей, как свежескошенная трава, и нежной, как молодой месяц. Его признал весь литературный Петербург».

Сам же поэт о своем успехе в столице писал Николаю Клюеву: «Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли „Северные записки“, „Русская мысль“, „Ежемесячный журнал“ и др. А в „Голосе жизни“ есть обо мне статья... Осенью Городецкий выпускает мою книжку „Радуница“ ».

Сергей Митрофанович предлагал напечатать «Радуницу» в издательстве общества крестьянских поэтов и прозаиков «Краса», вокруг которого объединились вместе с ним Н. Клю-

ев, С. Есенин, С. Клычков, А. Ширяевец и другие литераторы. У издательства были далеко идущие планы. В его рекламном объявлении среди прочих книг значилась и «Радуница». Но и здесь сборнику Есенина не суждено было выйти в свет — распалась группа «Краса», перестало существовать и издательство.

В конце апреля Сергей Александрович покидает радушно встретивший его Петроград и едет сначала в Москву, а затем в Константиново, где его призывали в армию. Но... «От военной службы,— пишет он в Петроград В. С. Чернявскому,— меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли».

До осени остается поэт в родной деревне, где ему было все любо и дорого. Он пишет Михаилу Мурашову: «У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше». Есенин косит сено, ловит рыбу, бродит по окрестным лугам, а по вечерам он — частый гость деревенской «улицы», которая не обходится без его любимой тальянки.

Перед отъездом поэта из Петрограда издатели журналов и литераторы просили его записывать в деревне сказки и песни. Напоминали ему об этом и в письмах: «Софья Исааковна (С. И. Чацкина, издательница „Северных записок“.— *Ю. Ю.*) сказки просит записывать „сырьем“, как они говорятся». А в другом письме ему передали от В. С. Миролюбова: «Вашим сообщением о сказках и песнях старинных Виктор Сергеевич заинтересовался и просит прислать их ему».

Есенин уделяет много времени записям сказок, песен, «страданий» и частушек своей деревни. «Позовет стариков, старух,— вспоминала много лет спустя мать поэта Татьяна Федоровна,— начнет с ними разговаривать. Винцом их угостит. Ему было интересно их послушать».

Предполагалось даже издание книги Есенина «Рязанские побаски, канавушки и страдания» в издательстве «Краса», но она не вышла по той же причине, что и «Радуница».

В деревне Есенин писал много и легко. За 18 константиновских ночей, как вспоминала его сестра Е. А. Есенина, им была создана повесть «Яр». «Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы. Два уже готовы»,— писал он В. Чернявскому.

Вплоть до возвращения в Петроград Есенин посылал свои стихи в редакции столичных журналов и газет, которые печатали их. Вот что писала ему 3 сентября 1915 года С. И. Чацкина: «Дорогой Сергей Александрович! Я уезжала, купалась в море, только что вернулась. Застала Ваше письмо и спешу поблагодарить Вас за присланное стихотворение,

которое охотно напечатаю. Гонорар непременно на днях вышлю».

Возвратился же он с надеждой увидеть свою первую книгу стихов изданной. Начинался октябрь 1915 года, Есенину только что исполнилось 20 лет.

Сергея Городецкого не покидала мысль выпустить первую книгу поэта, найти ему издателя. С этой целью он обращается к А. В. Руманову, работавшему редактором в сытинском «Русском слове». 23 октября Городецкий писал ему: «Дорогой Аркадий. Юнец златокудрый, который принес тебе это письмо,— поэт Есенин (я тебе говорил — рязанский крестьянин). Не издашь ли его первую книгу „Радуница“ у Сытина? Если поможешь делу, я напишу предисловие. Стихи медовые, книга чудесная. Приласкай!»

Не помог делу и А. В. Руманов. Газеты и журналы продолжали публиковать есенинские стихи, а книги все не было.

Встретившись в Петрограде с Николаем Клюевым, Есенин сближается с ним и отходит от Городецкого. Клюев в это время договорился с издателем М. В. Аверьяновым о выпуске своей книги стихов «Мирские думы» и предложил у него же напечатать «Радуницу». После переговоров Сергея Есенина с издателем заключается соглашение: «1915 года ноября 16 дня продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов „Радуница“ за сумму сто двадцать пять рублей и деньги сполна получил. Означенные три тысячи экземпляров М. В. Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях. Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости Сергей Александрович Есенин. Петроград. Фонтанка, 149, кв. 9».

Так был сделан решительный шаг — книга пошла в печать. Во второй половине января 1916 года Есенин и Клюев, выступавшие вместе с чтением своих стихов на различных вечерах, уезжают в Москву. Здесь они с успехом выступают в Обществе свободной эстетики и в лазарете имени Елизаветы Федоровны Марфо-Марьинской обители. К возвращению их в Петроград и были отпечатаны тиражи книг «Мирские думы» и «Радуница».

1 февраля сборник стихов «Радуница» был получен из цензурного комитета и после этого поступил в продажу, о чем и сообщалось в «Известиях книжных магазинов т-ва М. О. Вольф». Но, видимо, еще до возвращения книги из цензурного комитета, Есенин получил авторские экземпляры и

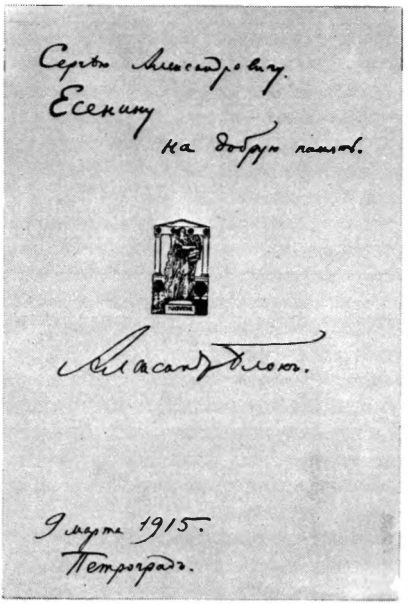
С. А. Есенин и Н. А. Клюев

один из них послал своему школьному учителю, сделав на книжке дарственную надпись: «Доброму старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову от благодарного ученика, автора этой книги. 1916. 29 января. Петроград».

Долгожданная книжка поэта увидела свет, и это было большой радостью для него. «Получив авторские экземпляры,— писал Михаил Мурашов.— Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище».

Своей весенней свежестью и запахами родной земли «Радуница» никого не оставила равнодушным, и сразу же в столичных журналах и газетах появились рецензии на эту книжку. В одной из них, опубликованной в февральском номере журнала «Современный мир», Н. Венгров писал: «Несомненно, что Есенин знает то, что пишет,— сам оттуда, от земли. И поэтому большой любовью к земле и к травам, и к „посвисту ветреному“, и к „ухлюпам трясин“ пропитаны его строки». И сам поэт отмечал: «...появилась моя первая книга „Радуница“. О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант».

В первой книжке поэта среди 33 стихотворений, разбитых на два цикла — «Русь» и «Маковые побаски», впервые были опубликованы: «Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Поминки», «Шел господь пытать людей...», «Я странник убогий...» («Улогий»), «Дед», «Топи да болота...», «Белая свитка и алый кушак...», «Матушка в Купальницу по лесу ходила...», «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...», «Подражание песне» («Ты поила коня из горстей в поводу...»), «Туча кружево в роще связала...», «Дымом половодье...», «Край ты мой заброшенный...», «На плетнях висят баранки...» («Базар»), «Чую радуницу божью...».

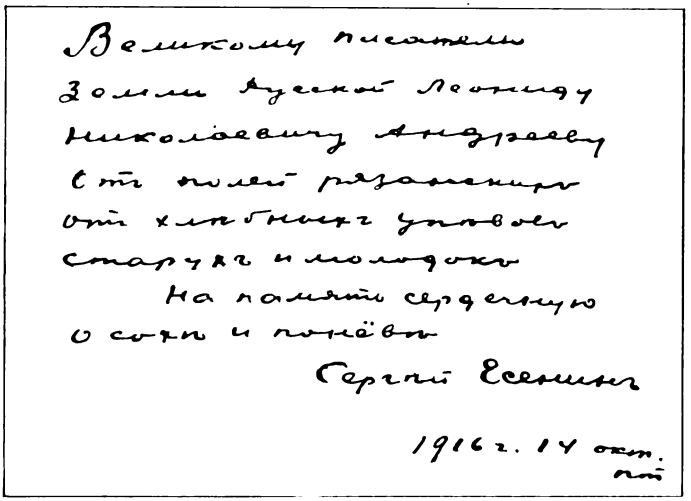

Сергѣю Александровичу
Есенину
на добрую память.
Александр Блокъ.
9 марта 1915.
Петроградъ.

Дарственная надпись А. А. Блока

Продавалась «Радуница» по цене 70 копеек за экземпляр, и от продажи всего тиража было получено 2100 рублей, из которых Есенину, как мы знаем, было заплачено всего 125. Получил он еще от издателя и 50 авторских экземпляров, о чем свидетельствует сохранившаяся расписка: «„ “февраля 1916 г. пятьдесят экз[емпляров] книги „Мирские думы“ и пятьдесят экз[емпляров] книги „Радуница“ на сумму, за вычетом издательской скидки, шестьдесят рублей получил. Сергей Есенин».

Щедро дарил поэт свою «Радуницу» друзьям, и в настоящее время нам известно 16 экземпляров этой книжки с его дарственными надписями. Существуют, видимо, и другие инскрипты поэта на ней. С большой уверенностью можно сказать, что она была подарена и Александру Блоку. В день своего знакомства с Александром Блоком Есенин получил от него томик стихов с дарственной надписью: «Сергею Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок. 9 марта 1915, Петроград».

В есенинском фонде Рукописного отдела Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится книга стихов И. Морозова «Красный звон», которую автор подарил в Москве Сергею Есенину с надписью: «Симпатичному поэту нашему


Великому писателю
Земли Русской Леониду
Николаевичу Андрееву
От полей рязанских
от хлебных духовых
старых и молодых
На память сердечную
о сном и поэтах
Сергей Есенин
1916 г. 14 окт.
пт

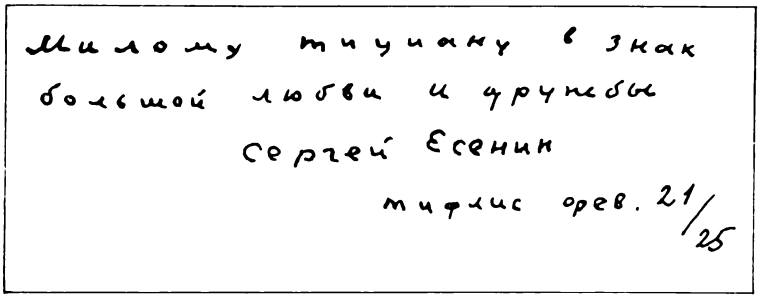
Дарственная надпись на книге «Радуница»

рязанцу Сергею Александровичу Есенину на память о первой встрече. Иван Морозов. 17.VI.916».

На задней стороне обложки имеется пометка: «Ивану Игнатьевичу Морозову, Москва, Николаевский вокзал, 9-й участок пути — послать ему „Радуницу“». В «Литературной хронике. Сергей Есенин» В. Белоусов утверждает, что эта пометка сделана рукой Есенина. Но видно, что почерк — не есенинский. Есенин ее не делал, но вполне возможно, что по этой пометке им была послана «Радуница» и И. И. Морозову, уроженцу села Луховицы Зарайского уезда Рязанской губернии.

У кишиневского собирателя М. М. Фельда хранится «Радуница» с дарственной надписью редактору «Северных записок» Якову Львовичу Сакеру. По всей вероятности, в этот же день поэт подарил книжку и его жене — Софье Исааковне Чацкиной, в журнале которой была напечатана повесть Есенина «Яр» и в течение двух лет печатались его стихи.

Может быть, уже в ближайшее время будут опубликованы эти есенинские автографы, а вместе с ними станут известны и другие дарственные надписи на «Радунице». (В большинстве своем инскрипты впервые были опубликованы в работе А. П. Ломана и В. Ф. Земскова «Дарственные надписи С. А. Есенина».— Русская литература, 1970, № 3.)


Милому Тициану в знак
большой любви и дружбы
Сергей Есенин
Тифлис фев. 21/25

Дарственная надпись Тициану Табидзе

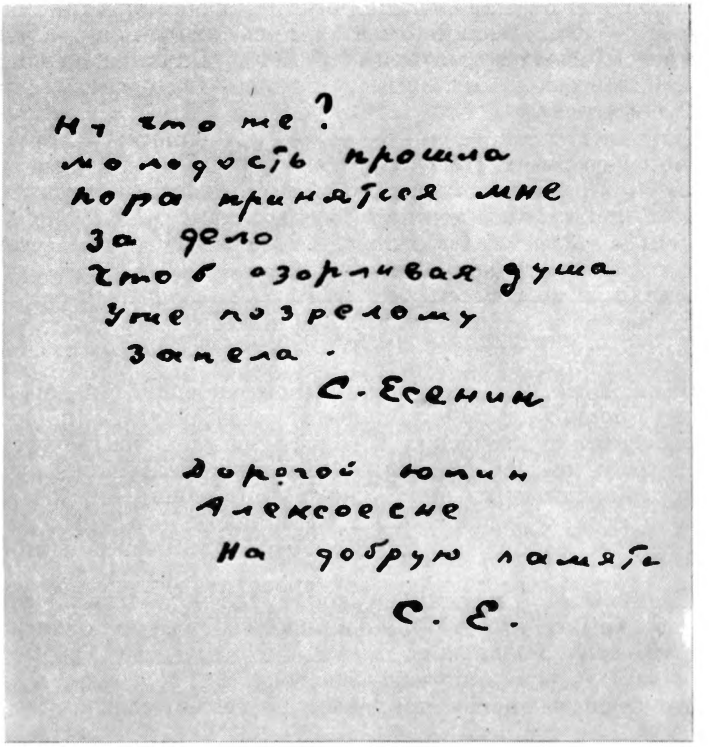
Язык известных нам надписей характерен для дореволюционного периода творчества поэта, когда он часто прибегал к употреблению архаических и областных словечек. Это свидетельствует о том, что он был хорошо знаком с древней русской речью, с народным языком. Умело использовал их Есенин не только в стихах, воспевающих патриархальную Русь, но и в дарственных надписях — своеобразных лирических миниатюрах.

Надписи на «Радунице» говорят еще и о большой душевной доброте поэта, о его благодарности адресатам автографов за дружескую поддержку в начале нелегкого творческого пути — «за доброе напутное слово», «за подсовки в бока, которые дороже многих приятных, но только слов».

«В ЗНАК ПРИЯТНОЙ ВСТРЕЧИ...»

«Еду с радостью в надеждах хорошо отдохнуть», — так Сергей Александрович Есенин писал 3 сентября 1924 года в записке, адресованной сотруднику Госиздата РСФСР Виктору Петровичу Яблонскому. Заключив накануне договор с Госиздатом на издание книги «Песнь о великом походе», поэт покидал Москву — он уезжал вместе с литературным критиком Илларионом Вардиным в Тифлис. Есенин думал уехать на Кавказ на два года, но его раньше потянуло выпить «накопившийся» для него «воздух в Москве и Питере»...

1 марта 1925 года Сергей Есенин возвратился в Москву после шестимесячного пребывания на Кавказе, а уже 5 марта в 3—4-м номерах журнала «Город и деревня» были напечатаны первые 123 строки его поэмы «Мой путь». Окончание ее — строки 124—180 появились в следующем номере, вышедшем в свет 20 марта.


Ну что же?
Молодость прошла
Пора принятся мне
За дело
Чтоб озорливая душа
Уже позрелому
Запела.
С. Есенин

Дорогой Юшин
Алексее
На добрую память
С. Е.

Автограф на книге «Пугачев»

Поэма писалась в один из самых плодотворных периодов творчества — тогда были созданы многие шедевры есенинской лирики.

Пребывание на Кавказе заставило Есенина глубже взглянуть на прожитое, и в 180 строках поэмы перед нами проходит жизнь поэта, неразрывно связанного со своей страной, с событиями, происходившими в ней.

9 сентября 1924 года Сергей Александрович прибыл в Тифлис, где встретился с грузинскими поэтами Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Георгием Леонидзе — искренними, радушными людьми. Участники литературной группы «Голубые роги», они были близки Сергею Есенину духовно и полюбились ему. Очаровала поэта и Грузия. Здесь ему не

только хорошо отдыхалось, но легко и хорошо работалось: «На Кавказе», «Русь бесприютная», «Русь уходящая», «Поэтам Грузии», «Письмо от матери», «Ответ», «Баллада о двадцати шести», «Письмо к женщине», «Стансы», «Персидские мотивы» были созданы в это время.

Особенно плодотворным было пребывание Есенина в Батуме, в гостях у его старинного друга Льва Повицкого. В письме к Галине Бениславской от 17 декабря он писал из Батума: «Работается и пишется мне дьявольски хорошо». И в следующем письме: «На днях пришлю „Цветы“ и „Письмо к деду“... Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко».

В Батуме Есенин написал «Капитана земли», «Цветы», «Письмо к деду», некоторые стихотворения «Персидских мотивов» и, наконец, «Анну Снегину». Здесь он понял: «Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия». И дальше в этом же письме к «дальней северянке»: «Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв. Вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей. Как Вам нравится „Письмо к женщине“?»

«Письмо к женщине» — это исповедь поэта, переосмысление жизни — «большое видится на расстоянье».

Теперь года прошли,
Я в возрасте ином.
И чувствую, и мыслю по-иному.

Стихотворения Сергея Есенина являются продолжением писем, а письма продолжают и дополняют стихотворения. 20 декабря 1924 года он пишет: «Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощанье с молодостью. Теперь будет не так».

Я стал не тем,
Как был тогда.

Письмо перекликается со строками стихотворения «Письмо к женщине». Та же мысль получает воплощение в поэме «Мой путь».

Ну что же?
Молодость прошла!

Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

Эти строки, завершающие поэму, были написаны Сергеем Есениным на книге «Пугачев», вышедшей в издательстве «Имажинисты», которую он подарил Юлии Алексеевне Тетруевой.

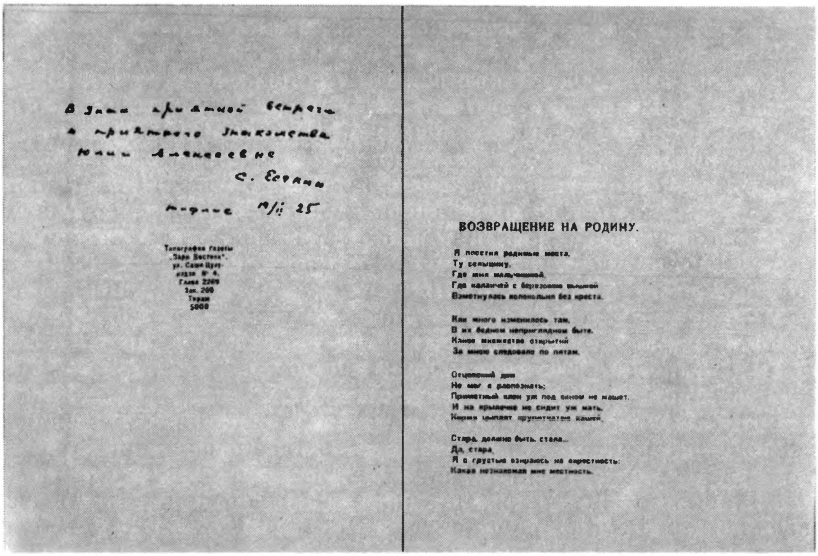
В своем очерке «Дальняя северянка» в книге «Отражения» Г. Бебутов предполагает, что эта дарственная надпись была сделана поэтом в первый период его пребывания в Тифлисе и не позднее 7 декабря — дня отъезда Есенина из Тифлиса в Батум. Исходя из этого, он относит к тому же времени и написание поэмы «Мой путь».

В действительности было не так. Письмо Есенина к Галине Бениславской от 20 декабря 1924 года позволяет нам предположить, что Есенин в это время только подступал к «Моему пути». Работал он над поэмой, вероятно, с конца декабря по февраль, ибо 20 января он писал тому же адресату: «Пишу еще поэму и пьесу». Пьеса — это «Страна негодяев», отрывок из нее печатался в «Бакинском рабочем». А поэма — это, скорее всего, «Мой путь», завершенная к приезду Есенина из Батума в Тифлис. В этот приезд Есенин и познакомился с Юлией Алексеевной Тетруевой. Случилось это 19 февраля 1925 года, о чем свидетельствует не известная ранее дарственная надпись Есенина на книге стихов «Страна Советская», вышедшей в январе 1925 года в издательстве «Советский Кавказ». На оборотной стороне титульного листа этой книги рукой поэта написано: «В знак приятной встречи и приятного знакомства Юлии Алексеевне. С. Есенин. Тифлис. 19/II.25».

До сих пор считалось, что Есенин приехал в Тифлис 21 февраля, и основанием для этого утверждения служил автограф Есенина на книге «Страна Советская», подаренной Тициану Табидзе: «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы Сергей Есенин. Тифлис, фев. 21/25».

Н. Вержбицкий в своих воспоминаниях сводил пребывание Есенина в Тифлисе в это время до одних суток. Он писал: «В самом конце февраля 1925 года он уезжал из Тифлиса, побыв здесь около суток».

Теперь выяснилось, что Есенин пробыл в Тифлисе, проездом из Батума в Москву, не около суток и прибыл туда не 21 февраля. 19 февраля он был уже в Тифлисе и 21 февраля дал оттуда телеграмму Бениславской с просьбой прислать ему к среде денег на дорогу. Ближайшая среда — 25 февраля. 26 февраля он телеграфировал ей уже из Баку. Следовательно,



В знак приятной беседы
и приятного знакомства
Юлии Алексеевне
С. Есенин
Тифлис 19/II 25

Типография газеты
„Заря Востока",
ул. Серго Орджоникидзе № 4.
Заказ 2209
Зак. 200
Тираж
5000

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ.

Я посетил родные места.
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где палисадник с березовою вышивкой
Заметулась молодыми без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном неприглядном быте.
Изнов множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я разгадать:
Приветный клен уж под окном не машет.
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят пшеничною кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я в грустном взгляде на старостность:
Какая незнакомая мне местность.

Дарственная надпись Ю. А. Тетруевой на книге «Страна Советская»

он уехал из Тифлиса в среду 25 февраля скорым поездом № 1, который в зиму 1924—1925 годов отправлялся из Тифлиса по средам и субботам в 22 часа 40 минут и прибывал в Баку на другой день в 16 часов 15 минут.

Таким образом, можно утверждать, что проездом из Батума в Москву Есенин пробыл в Тифлисе не менее недели. 19 февраля он подарил Ю. А. Тетруевой «Страну Советскую», а в один из последующих дней ей была подарена другая книга — «Пугачев», на первой странице которой и были написаны строки из «Моего пути» с подписью «С. Есенин», и далее следовали более дружеские слова: «Дорогой Юлии Алексеевне на добрую память. С. Е.».

Кто же такая Юлия Алексеевна Тетруева?

В публикации «О Сергее Есенине» в журнале «Литературная Грузия» № 10 за 1968 год Г. Бебутов писал: «Кто не знает, как дороги каждому автору самые первые проявления внимания к нему в редакции, слова доброжелательные или разъяснение какого-либо вопроса, а порой и первое суждение о рукописи, выраженное пусть даже одобрительной улыбкой или несколькими словами, но с пониманием дела и хорошим

вкусом. Таким первым „диспетчером“ в редакции газеты „Заря Востока“ в двадцатых — тридцатых годах была секретарь редактора Юлия Алексеевна Тетруева.

Придя в редакцию, с ней охотно делились новостями литературной жизни, впечатлениями текущего дня — Владимир Маяковский и Тициан Табидзе, Сергей Есенин и Георгий Леонидзе, Лидия Сейфуллина и Мариэтта Шагинян, Симон Чиковани и Лео Киачели и многие, многие другие».

Юлия Алексеевна была высокообразованной женщиной, в совершенстве владела французским языком, любила поэзию и хорошо разбиралась в ней. Проработала она в «Заре Востока» до начала тридцатых годов, а затем служила библиографом в республиканской библиотеке. Очень жаль, что Юлия Алексеевна не оставила после себя никаких воспоминаний, а рассказать ей, конечно, было о чем.

Писатели дарили ей свои книги, и среди них была книга стихов Владимира Маяковского с дарственной надписью: «Дорогой Юлии Алексеевне. Маяковский».

Мариэтта Шагинян на книге «Приключение дамы из высшего общества» написала: «Дорогой Ю. А. Тетруевой в память о наших встречах в редакции».

Есенинские дарственные надписи несут в себе ценные сведения. Они позволяют уточнить некоторые подробности пребывания поэта в Грузии, позволяют сказать, что поэма Сергея Есенина «Мой путь» была завершена к концу февраля 1925 года. Все написанное поэтом на Кавказе сразу публиковалось в местных периодических изданиях. Если бы поэма была создана осенью 1924 года, то она бы тогда и увидела свет и, без сомнения, поэт включил бы ее в книгу стихов «Страна Советская», которая была составлена почти целиком из произведений, написанных Есениным на Кавказе.

НЕИЗДАННЫЙ СБОРНИК

Летом 1921 года в Москве проходила промышленная выставка, экспонаты ее размещались в здании, где в настоящее время находится Театр имени М. Н. Ермоловой. А еще раньше в этом здании были... Впрочем, обратимся к свидетельству В. А. Мануйлова — современника Сергея Есенина, который в своих воспоминаниях о нем пишет: «Кстати, любопытная деталь: устроиться в Москве с жильем было, конечно, очень трудно, и я ночевал тогда в помещении промышленной выставки, которая находилась в Пассаже, на Тверской, там, где потом был театр В. Э. Мейерхольда. Ночевать приходилось в кабине небольшого самолета — экспоната выставки».

Пассаж на Тверской... С ним связано одно неосуществленное издание стихов Сергея Есенина.

Весной 1918 года Есенин переехал из Петрограда в Москву и сразу окунулся в бурную жизнь столицы. Вспоминая эти дни, поэт Петр Орешин писал: «Весной восемнадцатого года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есенина эта весна и этот год были исключительно счастливым временем. О нем говорили на всех перекрестках литературы того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцветал своим великолепным талантом с необыкновенной силой».

В то же время, как отмечал в своих воспоминаниях один из друзей Есенина Л. О. Повицкий, «в Москве Есенин очутился в затруднительном положении... Толстые журналы закрылись, и печататься стало негде. Надо было что-то предпринимать».

Есенин часто выступает вместе с другими поэтами с чтением своих стихов в различных московских кафе, где им за выступления платили. Тогда же, видимо, и решил он издать первую московскую книжку своих стихов. Выпустить ее в свет он собрался под маркой издательства «Пассаж на Тверской».

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится макет второго сборника стихов Сергея Есенина «Голубень», который вышел в свет в петроградском издательстве «Революционный социализм» («Скифы»). Макет составлен из автографов поэта, журнальных и газетных вырезок, в нем 48 листов тетради, принадлежавшей в свое время З. Н. Райх.

А начиная с 49-го листа следует макет еще одного небольшого сборника стихов поэта. В нем рукой Есенина заполнено шесть листов, включая и титульный лист, оформленный простым карандашом. Стихотворения же написаны зелеными чернилами в старой орфографии, ровным и мелким почерком. Буквы в словах, в отличие от поздних автографов поэта, связаны между собой. Им же тщательно пронумерованы все листы.

На листе, следующем за титульным, написано стихотворение «За темной прядью перелесиц...». На третьем — автограф стихотворения «Я снова здесь, в семье родной...». Следующее стихотворение сборника — «В том краю, где желтая крапива...», как и в сборнике «Голубень», расположено на двух листах — четвертом и пятом. На последнем листе макета помещено стихотворение «Запели тесаные дроги...», и в самом конце — подпись: «Сергей Есенин», что означало конец сборника.

В то трудное для России время Есенин думал издать книжку со стихотворениями, которые говорили о большой любви поэта к своей Родине. И, пожалуй, эпиграфом к этой небольшой книжке можно было бы поставить строки из последнего стихотворения:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить.
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

К сожалению, этому маленькому сборнику стихов Сергея Есенина по каким-то причинам не суждено было увидеть свет. Гражданская война, голод, разруха — все это сказывалось и на культурной жизни страны. Многие типографии были закрыты. Печататься было трудно.

Тем не менее Есенин продолжает искать возможности печатать свои стихи. В результате этих поисков группой писателей во главе с Сергеем Есениным во второй половине 1918 года было создано кооперативное издательство «Московская трудовая артель художников слова», где вышли московское издание «Радуницы» и еще пять других есенинских книг, а также коллективный сборник «Конница бурь».

Это был интересный период в жизни и творчестве Сергея Есенина. Он работал и жил для новой России, и позже в своей автобиографии он с полным правом скажет: «В годы революции был всецело на стороне Октября...»

О. Сайкин

ЯЛТИНСКИЙ СМИРДИН

И. А. Синани был ялтинским книгопродавцем. Его магазин, называвшийся «Русской избушкой», пользовался в начале нынешнего века неизменным вниманием приезжавших в Ялту писателей, художников, артистов. Многие из них хорошо знали И. А. Синани. Немало свидетельств этому есть в литературе.

Так, один из старейших русских писателей Н. Д. Телешов в своих «Записках писателя» сообщает:

«В Ялте, на морской набережной, был небольшой книжный магазин старика Синани, любителя литературы и особенно — самих литераторов. Знакомство у него в сфере артистической и писательской очень большое. Приезжие известности и знаменитости нередко заходили к нему в магазин, где, кроме книг, продавались еще и папиросы; приходили за табаком, а то и так просто, ради встречи с другими. Иногда можно было видеть и Чехова сидящим на скамье на улице, у входа в магазин.

У Синани была большая, толстая тетрадь в хорошем переплете — альбом, где за многие годы расписывались его знакомые из литературного мира и оставляли на память о Ялте свои краткие впечатления. Книга эта очень интересна по множеству автографов известных людей того времени, и было бы жаль, если б она затерялась в частных руках».

К счастью, этого не произошло. Судьба пощадила альбом. И он сохранился великолепно: нет ни малейших повреждений обложки, листов. Хотя время и его не обошло. Так, плотные листы некогда белоснежной бумаги приобрели некоторый оттенок желтизны. Сколько может рассказать этот старинный альбом, обнаруженный мною в ЦГАЛИ, о хозяине, о его друзьях и знакомых, об их встречах, свидетелем которых он был!..

«Синани,— писала в своих воспоминаниях Е. П. Пешкова, жена А. М. Горького,— был поклонником людей искусства и

литературы и оказывал им всевозможные услуги. Особенной его любовью пользовался Антон Павлович Чехов».

В Ялте, как известно, Чехов построил дом: ухудшение состояния здоровья требовало длительного пребывания его на крымской земле. Ялтинский книготорговец, имевший большой опыт ведения коммерческих дел, оказал тогда немалую помощь А. П. Чехову в решении различных хозяйственных проблем. Целый ряд важных услуг сделал он знаменитому писателю: при постройке дома в Ялте, при переезде туда семьи Антона Павловича. Об этом — многочисленные свидетельства в письмах А. П. Чехова. Так, 2 июня 1899 года Антон Павлович писал брату: «Повидайся с И. А. Синани и поблагодари его за письмо и за хлопоты. Я ему очень обязан».

Кстати, Чехов в течение нескольких лет переписывался со своим ялтинским другом. Так, известно, что только в 1899 году он послал Синани 13 писем.

А вот еще один любопытный отрывок — из письма Чехова к А. М. Горькому от 29 августа 1899 года: «Драгоценный Алексей Максимович, я уже в Ялте... Синани просит Вас убедительно, пожалуйста, привезите ему Ваших книг; на них в Ялте большой спрос — этому я сам свидетель».

Синани отличало глубокое знание запросов современной ему читательской публики. Он отдавал много сил пропаганде и распространению лучших произведений реалистической литературы, книг таких выдающихся писателей, как А. М. Горький, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн. Все то лучшее и новое, что появлялось в конце 90-х годов прошлого века и начале нынешнего столетия в русской художественной литературе и литературоведении, по истории и социологии, философии, было широко представлено на книжных полках магазина Синани.

Можно было увидеть классические труды выдающихся художников слова, крупнейших ученых и мыслителей, отмеченные не только талантом их создателей, но и прогрессивными идеями, демократизмом, резкой критикой существующего порядка.

Его книжный магазин был в то время единственным не только в Ялте, а фактически на всем южном побережье Крыма.

И деятельность И. А. Синани, ставшая, бесспорно, крупным явлением в культурной жизни Ялты в конце XIX — начале XX века, нашла отражение в альбоме книгопродавца. Здесь имеются многочисленные записи писателей и артистов.

Обратимся сначала к стихотворным экспромтам. Вот наиболее интересные и характерные из них.

Александр Куприн:

И. А. Синани

Хвала тебе, о, Ялтинский Смирдин,
Наш общий друг, пособник, укрыватель!
Тебя благодарит писатель

А. Куприн.
1906 г. Апр. Ялта.

Ив. Бунин:

В Ялте зимнею порой
Только море и Синани,
Бродят тучки над горой,
Остальное все в тумане.

10 февр., 1911 г.

Вл. Гиляровский:

.....Черное
Море грозное ревет,
Скрипнет мачта, треснет рея.
Легкий парус буря рвет...
Мы скользим, бортом накренясь,
Режем грозную волну—
Объявило море, пенясь,
Дерзким путникам войну.
Что ж! Смелее в бой опасный,
Победим волну... Вперед!
Ночь проходит, зорькой ясной
Розовеется восход.

1911 г. Апр. 8.

Василий Каменский:

Славной Анастасии Борисовне Синани

С чаркой хрустальной
В руке неустальной
Горноуральским орлом,
Душой солнцевстальной
Чеканно кристальной
Я лечу на Великий Пролом.

Ялта.

Писатель Н. Д. Телешов, посвятивший в своих мемуарах несколько теплых, проникновенных строк И. А. Синани, также оставил шутливый стихотворный автограф в этом альбоме.

Коль по набережной Ялты
Хотя в жизни раз гулял ты,
Так уж видел ты Синани,
Всем известного заране:
Он брюнет—не без седин,
Он же—Ялтинский Смирдин.

1902 Апреля 7.

Многие писатели и артисты оставляли в альбоме записи, сообщающие о приезде в Ялту или отъезде из нее — шутливые, дружеские...

Альбом И. А. Синани открывается автографом К. М. Станюковича, есть здесь инскрипты Л. Н. Андреева, С. Гусева-Оренбургского...

«10 апреля 1899 г. выехал из Ялты»,— записал в альбом А. П. Чехов.

«А я выехал 13-го»,— отмечает А. М. Горький.

А. Куприн: «Вчера приехал в Ялту, а сегодня ездил верхом на Уч-Кош. Великолепно! 1901. 11 апреля».

А вот запись В. М. Дорошевича — известного русского дореволюционного писателя, очеркиста, признанного «короля фельетона»: «Смейтесь, чтоб не плакать! 26 августа 1901 года».

Вл. Немирович-Данченко: «Другу писателей и артистов, приютившемуся в чудном Крымском уголке — милому Синани. 7 мая 1901 г.»

Об истории одного курьезного автографа в альбоме Синани рассказывает Н. Д. Телешов: «На Мамина, как человека северного,— писал он,— Крым не произвел чарующего впечатления, и он в этой книге автографов написал: „Ехал в Ялту с радостью, уезжаю с удовольствием“. Помню, как Синани был изумлен такой оценкой Ялты и всем знакомым показывал эту страницу и говорил:

— Вот Мамин-Сибиряк — большой писатель, а про нашу Ялту такое написал, что даже верить не хочется.

Конечно, заметку Мамина можно понимать двояко: ехал с радостью и получил от Ялты большое удовольствие, которое и увозит с собой в Петербург. Но крымский патриот Синани почувствовал здесь иной смысл — и, кажется, более верный.

Мамин не сделался приверженцем юга: „Слишком много было в нем Урала и слишком глубоко сидел в нем Урал“,— говорил Елпатьевский; ему недоставало уральской елочки, белой березки, того, что ему милее было и пальм, и каштанов, и великолепных магнолий».

Записи в этом альбоме позволяют полнее представить, изучить ту или другую страницу биографии литератора или артиста, бывавшего на ялтинском берегу. К примеру, автограф А. П. Чехова подтверждает факт встречи писателя с И. А. Синани. В «Летописи жизни и творчества А. П. Чехова», написанной Н. И. Гитовичем (М., 1955, с. 561), не сообщается об этой встрече. Отметим также, что биографам Горького до сих пор не известна дата отъезда писателя из Ялты, указанная между тем в его автографе (см.: Летопись жизни и творчества А. М. Горького. М., 1958, вып. 1, с. 269, 270).

Безусловно, интересно было бы знать, где находился магазин И. А. Синани, в котором бывали видные деятели русской культуры. К сожалению, в мемуарной литературе об этом нет сведений. Но обратимся к книге «Ялта и ближайшие окрестности» — путеводителю-справочнику под редакцией Ю. В. Васильчикова (Ялта, 1911). Там сказано: «Книжный магазин Синани. Набережная ул., д[ом] гост[иницы] „Франция“» (с. 12). Гостиница была рядом с городским садом (с. 46).

В книге Г. Москвича «Ялта в 1904 году», изданной в Одессе, приведен перечень улиц и домохозяев Ялты. В нем среди домохозяев Набережной улицы мы находим: «[дом] Рыбицкой (гост[иница] „Франция“), 16» (с. 87).

Итак, магазин И. А. Синани помещался на Набережной, 16. На фотографии «Набережная» в книге А. Безчинского «Ялта и ближайшие окрестности» (Ялта, 1902, с. 19) хорошо виден дом № 16 — гостиница «Франция», где и находился магазин Синани.

А. Р. Палей

* * *

Поэт не просто сочетает строки.
В годину бурь, в годину гроз высоких,
Когда над миром молнии горят,
Он ловит сердцем страшный их разряд.
Он им дает иное выраженье,
Чтоб не смертельным было напряженье.
Мильярды ватт включает в звучный стих,
Передает их в сеть сердец людских,
Чтоб ровный ток струился без конца,
Высоким чувством двигая сердца.

Не пестрых строк веселый чародей —
Он трансформатор молний для людей.

Дела минувшие

А. Блюм

ПИСАТЕЛЬ И КНИГА

(По материалам анкеты Н. С. Ашукина)

Книга в жизни и творчестве писателя... Тема эта — необычайно сложная и многогранная — представляет и научный, и чисто познавательный интерес. Любопытные сведения по сему предмету можно найти в произведениях самих писателей, особенно в дневниках, очерках, эссе; не меньший интерес представляют и чисто документальные свидетельства, до сих пор еще не обнародованные и хранящиеся в архивах. К источникам этого рода и относится особая коллекция анкет, заполненных советскими писателями в 1926 году по просьбе Николая Сергеевича Ашукина (1890—1972). Имя этого крупного ученого-литературоведа хорошо известно и специалистам, и всем любителям книги. Свой творческий путь Николай Сергеевич начал еще в предреволюционные годы, выпустив ряд поэтических сборников, а затем полностью переключился на литературоведение. Его перу принадлежит первая серьезная библиографическая и биографическая работа, посвященная А. А. Блоку[1], ряд крупных работ об А. С. Пушкине (в том числе «Путеводитель по Пушкину»), Н. А. Некрасове и других классиках русской литературы. Известен Н. С. Ашукин и как великолепный текстолог и комментатор, подготовивший к изданию собрания сочинений Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, М. Л. Михайлова.

Николая Сергеевича хорошо знали и высоко почитали московские библиофилы как тонкого ценителя и знатока старой редкой книги. В. Г. Лидин писал о нем: «Не один я сохраняю в памяти согбенного над рабочим столом Н. С. Ашукина... Человек большой культуры и неутомимого трудолюбия, Ашукин был знатоком русской литературы XIX в., знатоком Пушкина, составителем вышедшей несколькими изданиями книги „Крылатые слова“, столь неоценимой по своему значению». Он активно участвовал в работе московской «Книжной лавки писателей», написал для юбилейного издания даже

особую работу «Редкие книги и рукописи», в которой дан квалифицированный обзор приобретенных Книжной лавкой за 25 лет коллекций Н. П. Бирукова, П. Е. Щеголева и других собирателей. Еще в 20-е годы им был написан очерк «Книжный торг», посвященный своеобразному и пестрому миру московских букинистов[2]. Однако в наибольшей степени книга занимала исследователя не сама по себе, а в особом контексте — именно в контексте отношения к ней русских писателей. Его кровно интересовали вопросы: какое значение имеет в их творчестве книга, какой круг чтения питал их мысли, оказал влияние на их стиль и язык[3]. Он положил начало изучению темы «Горький и книга», составил каталог личной библиотеки Некрасова (Литературное наследство, 1949, т. 53, 54).

В середине 20-х годов ученый начал собирать материалы для задуманной им большой работы «Писатель и книга». К великому сожалению, она так и не была написана. Как отметил он сам, «вскоре, отвлекаемый другими срочными работами, я оставил мысль о задуманной книге». Тем не менее материалы, собранные им в 1926 году, дают представление и об этом несвершившемся замысле, и о взглядах многих крупнейших советских писателей на книгу как источник творчества. В то время Ашукин был ответственным секретарем популярного массового иллюстрированного журнала «Красная нива». В его рабочую комнатку любили заглядывать писатели, даже те из них, кто никогда не печатался в журнале. Воспользовавшись такой благоприятной ситуацией, Николай Сергеевич составил небольшую анкету, которую и просил заполнить. Вот те семь вопросов, которые задавал писателям Ашукин:

1. Имеется ли у Вас личная библиотека? Если да, то сообщите количество томов.

2. Каков состав Вашей библиотеки? В чем особенность личной Вашей библиотеки? Что в ней преобладает (беллетристика, история, социология и т. д.)?

3. Давно ли Вы собираете свою библиотеку?

4. Если у Вас нет библиотеки, то есть ли вообще книги, которыми Вы пользуетесь для своих работ (справочники, словари)?

5. Пользуетесь ли Вы библиотеками общественными?

6. Ваше отношение к собирательству книг?

7. Книги и Ваша литературная работа.

Писатели охотно откликнулись на эту просьбу. Одним из первых, как вспоминал впоследствии Н. С. Ашукин, «тут же, в редакции», заполнил анкету В. В. Маяковский. Текст ее был напечатан в «Известиях» в 1934 году. Только на склоне лет,

вспомнив о лежащем в личном архиве ценнейшем материале, 77-летний литературовед решил хотя бы частично опубликовать анкеты писателей в «Неделе» (1967, № 24). Из 28 анкет, имевшихся в его распоряжении, он опубликовал половину.

В связи с этим обстоятельством особый интерес представляет коллекция анкет, в *полном* виде хранящаяся в личном фонде Н. С. Ашукина в Центральном государственном архиве литературы и искусства[4]. Эти 28 тоненьких папок — в каждую из них вложено лишь по одному листку — доносят до нас живое дыхание эпохи 20-х годов, времени, когда происходило становление советской литературы. Здесь хранятся автографы А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, А. С. Грина, В. Я. Шишкова, К. С. Тренева, М. М. Пришвина, А. П. Чапыгина, К. А. Федина, В. В. Иванова и многих других крупнейших прозаиков и поэтов.

Н. С. Ашукина прежде всего интересовал количественный состав писательских библиотек. Судя по ответам, этот состав имел огромный диапазон: от трех-четырех десятков книг (И. С. Соколов-Микитов, И. П. Уткин, Мих. Голодный) до четырех (А. С. Яковлев) и даже пяти (И. В. Евдокимов) тысяч. «Средняя» писательская библиотека состояла из 1000—1500 томов (А. Н. Толстой, В. В. Маяковский совместно с О. М. Бриком, Н. Н. Никитин, Ф. В. Гладков, К. А. Федин и некоторые другие). Шутливо ответил на первый вопрос анкеты Всеволод Иванов: «Думаю — сотни две, не больше... А может и четыре». Примерно столько же книг было тогда у А. С. Грина, К. С. Тренева, П. С. Сухотина. Говоря о крайне небольших библиотечках, которыми владел ряд писателей в 1926 году (собственно, это были две-три полки), нужно учесть следующие немаловажные обстоятельства.

Во-первых — возраст писателей. В большинстве своем анкету заполнили тридцатилетние прозаики и поэты (по нынешним меркам — «молодые» или даже «начинающие»). Правда, за плечами каждого из них была, как правило, бурная биография — юность, пришедшаяся на годы революции и гражданской войны. Некоторые из них, несмотря на молодость, уже стали к тому времени прославленными писателями, зачинателями новой литературы (В. В. Иванов, Б. А. Лавренев, К. А. Федин, Н. Н. Никитин и другие). Среди заполнивших анкету, по-видимому, «патриархами» считались писатели, которым к 1926 году едва перевалило за пятьдесят (М. М. Пришвин, С. Т. Григорьев). В то же время Иосифу Уткину и Мих. Голодному было лишь слегка за двадцать.

Во-вторых — крайне неблагоприятные жилищные условия многих литераторов, ютившихся в то время в крошечных

комнатках «коммуналок», что, конечно, мало способствовало собиранию и хранению сколько-нибудь значительной библиотеки. Сетуя на это, М. М. Пришвин связывает создание личной библиотеки «с уютом, с хорошей квартирой, очень люблю таких людей, но сам как бы вечно путешествую и все не могу прочно устроиться». И. С. Соколов-Микитов жалуется на то, что живет в 60 верстах от уездного города и почти не имеет возможности «достать книг со стороны», а Мих. Голодный — что его «любовь к книгам ограничена временем и деньгами».

Различно и отношение писателей к своим библиотекам. Некоторые — дорожат ими, жалеют, что обстоятельства не позволяют расширить их, другие считают, что у писателя и не должно быть большого книжного собрания, что оно только «мешает работе». Впрочем, в таких заявлениях заметна известная доля лукавства. Когда позднее дела пошли на лад и удалось улучшить жилищные условия, многие писатели, имевшие в 1926 году «сотню-другую» книг, стали обладателями больших и хорошо подобранных библиотек. Такой библиотекой обзавелся, например, М. М. Пришвин, который после многолетней страннической жизни впервые приобрел небольшой домик вблизи Загорска. Первоклассной стала позднее библиотека Всеволода Иванова, собравшего множество редчайших изданий (особенно XVIII века).

В разное время начали собирать писатели свои библиотеки: одни — еще в начале века, другие — за два-три года до момента заполнения анкеты Ашукина. Взрывная, тревожная эпоха, в которую довелось им жить, мало благоприятствовала сохранению книжных собраний. Многое пропало в годы гражданской войны. А. Н. Толстой, начавший собирать книги с 1906 года, отмечает, что «основная библиотека, полученная от деда, погибла в 1918 году». К. А. Федин, библиотека которого к 1926 году состояла из 1200 томов, пишет, что начал собирать ее «в эпоху бесплатности, с конца 1919 г.», но до этого четырежды в жизни принимался создавать ее: «около 600 томов рассеяны по лицу Европы — в Германии[5], в Поволжье, соединить эти книги едва ли удастся».

«Библиотека в тысячи полторы томов» была к тому времени у В. Г. Лидина, писателя, который последние 25—30 лет своей жизни отдал прославлению Книги и воспитанию подлинно нравственного отношения к ней. Собирать свою библиотеку он начал «лет с 15, причем состав и содержание ее менялись коренным образом раз пять-шесть». С 1902 года приобретал книги С. М. Городецкий (около 2000 названий), но часть их вместе с архивом «пропала на складах Тучкова буяна (в Петрограде.— *А. Б.*) во время революции».

Многие писатели обошли молчанием вопрос Ашукина об использовании ими общественных библиотек, судя по всему, обращались они туда не часто. В основном, положительно ответили лишь те писатели, в творчестве которых видное место занимала историческая романистика. Так, накапливая материалы для романа «Разин Степан», А. П. Чапыгин постоянно пользовался бесценными фондами Государственной публичной библиотеки и Библиотеки Академии наук. Охотно прибегал к помощи крупнейших библиотек и С. Т. Григорьев, автор широко известных исторических произведений для детей.

Крайне интересны и содержательны ответы писателей на вопрос Ашукина о качественном составе их библиотек. Главное место в них занимали, естественно, художественная литература и книги по общественным наукам (история, философия, социология и т. д.). Многие писатели собирали литературу по теории искусства и его истории. Велик и постоянен интерес к русской классике, к трудам по истории революционного движения, к работам великих мыслителей. Библиофильских собраний, исключая, пожалуй, редкости И. В. Евдокимова, не было ни у одного из писателей, заполнивших анкету. Интересен в этом смысле ответ поэта И. И. Садофьева: «Состав — смешанный. Особенность для меня в том, что каждая книга является для меня как бы неотъемлемой главой одной всеобъемлющей Книги, одной поэмой Земной Человеческой Жизни».

Вот ответы других писателей:

В. Г. Лидин: «Одно время собирал первые издания русских авторов (20—40-х годов), остальное — книги, нужные для работы, самые разнообразные, начиная от астрономии и кончая торговой экспедицией в Монголию; есть по истории литературы, мемуары и проч. Почти нет публицистики. Беллетристика современная есть — главным образом в виде авторских даров».

С. М. Городецкий: «I. Стихи. II. Театр. III. История философии. IV. Социология и история революции. V. Естествознание. VI. Беллетристика. VII. История и теория искусства. Примечание: много книг автографированных».

В. В. Иванов: «Беллетристики совсем не держу, кроме Стивенсона, Бальзака и Тургенева. Остальное — этнография, история, книги по технике и словари».

В. В. Маяковский: «Теория литературы и социология».

М. М. Пришвин: «Мало-помалу собираются книги по охоте и естествознанию, потому что много занимаюсь охотой и наблюдениями в природе».

К. А. Федин: «Преимущественно беллетристика; есть книги по истории литературы и истории вообще; есть книги случайные, т. е. такие, которые следовало бы изъять из библиотеки, если бы она составлялась пристально; есть книги по искусству, немцы-классики; история революции».

Парадоксально звучит ответ популярного в 20—30-х годах поэта и драматурга П. С. Сухотина: «Системы — нет. Не люблю полных собраний сочинений. Иногда их приобретал, но по миновению нужды оставлял из них только то, что всегда может понадобиться для прочтения (в сотый и тысячный раз!) себе или собеседнику. Особенно не люблю энциклопедического словаря, ибо стыдно быть всезнающим невеждой. Преобладают Пушкин и Ап. Григорьев».

Иногда писатели указывают даже конкретные издания, которыми они владеют, обстоятельства, сопутствовавшие их приобретению, и другие колоритные детали. Так, А. П. Чапыгин сообщает, что у него есть «пять томов „Исторических актов“[6], купленных на толкучке, „Записки Петра I“[7] — подарок, одна книга Забелина „Старая Москва“, два тома исторических песен», что он «собирал книги давно, когда еще был ребенком — покупал на толкучке, но из тех книг остался лишь Помяловский, Толстой Л. Н.». Сопоставление книг, имевшихся в библиотеках писателей, с предшествующим и, особенно, с последующим их творчеством, ясно указывает на то, что они не лежали мертвым грузом в библиотеках, а часто являлись важным подспорьем, а иногда — и стимулом писательской работы. Очень точно выразил в анкете эту мысль поэт Н. Н. Асеев, владевший в то время всего сотней книг: «Писателю нужна своя рабочая библиотека как орудие производства».

В большинстве случаев интерес писателей к «небеллетристическим» книгам вполне понятен и объясним: А. Н. Толстого, А. П. Чапыгина, С. Т. Григорьева и других — к историческим трудам и документам, М. М. Пришвина — к природоведческой и охотоведческой литературе, В. В. Иванова — к книгам по этнографии, буддизму, «черной магии» и т. д. Иногда же состав библиотек выглядит несколько неожиданным и странным. Например, видное место в библиотеке К. А. Тренева занимали книги по агрономии. Впрочем, все станет понятным, если вспомнить, что драматург, получивший прекрасное специальное образование в Петербургском археологическом институте (закончил его в 1903 году), заинтересовавшись сельским хозяйством, в возрасте сорока трех лет закончил также агрономический факультет Таврического университета.

* * *

Анкеты затрагивают и другую, чрезвычайно актуальную проблему: личное отношение к владению книгами, отношение к библиофильству и коллекционированию книг. Крайние позиции в этом смысле принадлежат С. М. Городецкому и И. В. Евдокимову. Первый из них так ответил на вопрос об отношении к собирательству книг: «Собственность на книги — худшая из собственностей. Допускаю как временный (пожизненный) компромисс и как помощь общественным библиотекам, которых должно быть гораздо больше, чем есть. Но выработать этот взгляд мне было очень трудно, вследствие наследственной привычки к собирательству. Сейчас собирательство — дело почти недоступное литератору, а дороговизна переплетов является общественным бедствием». Замечу, что этот «компромисс» Городецкий для себя все-таки считает «пожизненным»: тут есть некоторое противоречие. Совершенно иной точки зрения придерживается И. В. Евдокимов, даровитый прозаик, автор некогда очень популярного романа-хроники «Колокола». Он с гордостью сообщает, что в его 5-тысячной библиотеке имеются «роскошные издания», что он никогда не пользуется общественными библиотеками («ненавижу грязные книги»). Без большой личной библиотеки Евдокимов «не представил бы своей жизни». «Книгу обожаю,— писал он.— Получив или купив ее, глажу, разрезаю, вытираю резинкой каждое пятнышко. Никогда никому не даю. Даже дочь и жена мои вымуштрованы в бережливости. Все книги, пролежавшие у меня 20 лет, свежи, как девственницы. Разрезание книг дает наслаждение. Многие мои работы я обдумываю во время этого действия». Перед нами — тип истого библиофила, даже с некоторым оттенком библиомании. Под таким «кредо» охотно и с чистой совестью мог бы подписаться и Д. В. Ульянинский, с одной, правда, оговоркой: в «идеале», в подлинно библиофильской коллекции книги не должны быть разрезаны (как известно, крупнейший московский библиофил конца XIX — начала XX века «для работы» приобретал второй экземпляр книги, первый же должен был оставаться «в первозданной чистоте»).

Такие библиофильские крайности, так же как и проявления псевдобиблиофильства, собирания книг по моде при отсутствии подлинной любви и интереса к ним, вызвали осуждение ряда писателей. В. В. Маяковский ответил на вопрос «Ваше отношение к собирательству книг?» так: «Хорошо — если нужны для работы. Коллекция неразрезанных книг отвратительна».

К Маяковскому присоединились и другие писатели. А. Н. Толстой написал: «Не понимаю только одного, когда книги коллекционируют, как марки». К. А. Федин уважает только «чистосердечное, бессребреное собирательство», любит людей, «живущих книгою». П. С. Сухотин осудил библиофилов: «Очень сочувственно и благожелательно до тех пор, пока оно (собирательство.— *А. Б.*) не становится чудачеством, при котором существо книги тонет в „годах изданий", в каких-то примечательных типографских ошибках и прочей суете».

Отношение к собирательству книг разных писателей крайне неоднозначно и неодинаково. Полным, законченным альтруистом выступает в этом смысле С. Т. Григорьев: «Я покупаю книги,— написал он в анкете,— которые мне нужны для очередной работы, если их не достать в библиотеке, а затем их (по окончании работы) дарю или жертвую в общественную библиотеку». Другие, хотя и без «библиофильских крайностей», охотно приобретают редкие издания, очень ценят их — но, в первую очередь, все-таки как материал для работы, воплощения своих замыслов. Так, В. В. Иванов сообщил, что его отношение к собирательству — «самое хорошее, особенно теперь — когда книга исчезает с рынка (я говорю о книге дореволюционной)». «Самое восторженное» отношение к собирательству у А. С. Яковлева: «Люблю и сам собирать книги и люблю собирателей,— продолжает он.— Собирательство книг для меня большое утешение.

Книги украшают мою жизнь».

Об интересе к антикварным, редким книгам сообщают Н. Н. Никитин и В. Г. Лидин. Последний, впрочем, к этому времени несколько охладел, судя по ответу, к своему прежнему увлечению: «Собирательство, как собирательство только, меня не увлекает. Когда-то отдал дань и этому. Сейчас собираю только те книги, которые меня интересуют или могут быть нужны для работы». Однако позднее, как хорошо известно, писатель вернулся к увлечению юности, собрал прекрасную библиотеку и написал целый ряд интереснейших очерков о редких книгах, библиофилах и букинистах. Ничто, как принято говорить, не проходит бесследно, «все возвращается на круги своя»...

«Книги страсть люблю, но только фундаментальные» (В. В. Казин), «Книги драгоценность, но при необеспеченности хранить их тяжело» (А. П. Чапыгин) — ответы писателей в этом духе можно было бы продолжить. Афористически, но в ином ключе, звучат слова А. С. Грина: «Хорошо начать собирать книги в пожилом возрасте, когда прочитана книга жизни».

В скупых анкетных строчках слышится и другая важная тема. Писателей интересуют не только сами книги, но и люди, связанные с книжным миром. Причудливый, порою странный и полный загадок мир библиофилов и букинистов издавна привлекал внимание русских прозаиков и поэтов, посвятивших им немало произведений. Интересно, что последний вопрос анкеты: «Книга и Ваша литературная работа» М. М. Пришвиным был прочитан, по-видимому, именно в таком ключе — собирается ли писатель в своем творчестве уделить внимание книжникам. Эту тему Пришвин считает «очень интересной работой... И сам это когда-то хотел сделать: изобразить жизнь московского простого русского человека, собирателя книг (вроде Синебрюхова в издательстве „Колос"). Они интересуют меня их религиозным отношением к книге, их добросовестным отношением к книге, имеющим в основе, вероятно, верование простого человека, что книга (настоящая книга) не человеком написана».

Очень интересовала эта тема и К. А. Федина. «Люблю книгочиев и всяких чудных людей, живущих книгою,— писал он.— В задуманном мною романе будет выведен один книжный человек весьма трогательно. Я с нежностью думаю об одном московском книжнике-антикваре, который *всю жизнь,* по утрам, вставая от сна, читал такую молитву: „Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Николая" — это о Николае Ивановиче Новикове». Здесь нужны некоторые пояснения. Упомянутый Пришвиным «Синебрюхов в издательстве „Колос"» — реальное лицо; в начале 20-х годов небольшим магазином этого издательства заведовал Степан Ильич Синебрюхов (не он ли дал отчество и фамилию главному герою книги М. М. Зощенко «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова»?). Магазинчик, находившийся на Большой Никитской (ныне ул. Герцена), часто посещали московские писатели. «Человек скромности необычайной,— писал о нем Н. С. Ашукин,— он был истинным книголюбом». (Достойно сожаления, что Пришвину не удалось воплотить свой замысел.) Что же касается «книжного», «трогательного» человека, образ которого собирался тогда вывести К. А. Федин в задуманном им романе, то, как можно предполагать, замысел этот осуществился полностью спустя два десятилетия, когда он работал над романом «Необыкновенное лето». Мы постоянно встречаем на его страницах имя Арсения Романовича Дорогомилова, человека трогательного и беззащитного, в глазах обывателей — городского чудака. У Дорогомилова — великолепная библиотека, состоящая из редчайших книг (кстати, именно в ней библиофил укрывал большевика Рагозина, прятавшегося от

жандармов), которую после революции он совершенно безвозмездно передает в общественное пользование. Библиофильская тема затронута и в других произведениях К. А. Федина (в романе «Братья», например).

Последний вопрос, который задал в своей анкете Н. С. Ашукин,— «Книги и Ваша литературная работа» — вызвал, судя по текстам анкет, большое оживление и самый неподдельный интерес среди писателей. И не случайно. Ашукин затронул вопрос, который волновал и волнует каждого литератора. Насколько книги помогают в творчестве? Не заслоняют ли эти «мертвые друзья», как называл книги еще А. Д. Кантемир («Сатира 1 к уму»), действительность, живых людей? Ответы на эти вопросы весьма разноречивы, что вполне понятно, уж очень непохожи были друг на друга люди, отвечающие на анкету. Остается сожалеть, что ее заполнили лишь немногие ленинградские писатели (вероятно, Н. С. Ашукин не рассылал ее в другие города), в частности, интересны были бы ответы писателей, принадлежавших в начале 20-х годов к «Серапионовым братьям». «Серапионов» часто тогдашняя критика упрекала в излишней «книжности», «литературности», и ответы их были бы, очевидно, весьма показательны. Впрочем, спустя несколько десятилетий, за них ответил бывший «серапионовец» В. А. Каверин, демонстративно озаглавивший один из разделов своей книги «Вечерний день» — «О пользе книжности». Отвечая на многочисленные нападки на него и его товарищей за «ограниченный мир книжного сознания», за то, что он «окружил себя бесчисленным количеством книг и почти не выглядывает из этого искусственного, замкнутого мира», Каверин писал: «...прошло немало лет, прежде чем я понял, что эта так называемая „книжная жизнь“ не прошла для меня даром... Выработалось постепенно и то, что можно назвать искусством чтения. Нечего и говорить о том, как важно для писателя это искусство. Чтение — неотъемлемая часть любой литературной работы. Это не только мир литературного сознания, не менее важный, чем опыт реальной жизни, Это сопутствующее всей жизни писателя явление резонанса, без которого работать почти невозможно. Писатель имеет в виду подлинно творческое чтение, а не слепое подражание, которым грешили и грешат иные литераторы».

Подобную позицию заняли многие писатели, ответившие на анкету:

Н. Н. Никитин: «Хорошая книга для меня — литературный возбудитель и воспитательница вкуса. По тому, как писатели пишут, я непрестанно проверяю себя и других».

Ф. В. Гладков: «Считаю, что иметь свою библиотеку писателю необходимо: надо постоянно иметь под рукою книги, чтобы ощущать их дыхание. Перечитывать и перелистывать книги приходится постоянно».

В. В. Казин: «Книги считаю необходимыми: даже страницы социологии иногда бывают импульсом для лирического „тонкого" стихотворения, не говоря уже об общем расширении книгами культурного кругозора, столь важного для значительности, глубины художественных созданий».

В. Г. Лидин: «Истина, что без книги у писателя-художника не может быть достаточного кругозора,— должна, по-моему, стать истиной общедоступной. Пора!»

И. И. Садофьев: «В работе книги предостерегают от открытия уже открытых Америк. И проясняют горизонт, дабы видеть свой неповторимый путь».

А. П. Чапыгин: «Я приехал в город, называвшийся тогда Петербург, в 1883 г., 13 лет, и почти не умел держать перо — только книги выучили меня грамоте и я стал писателем».

Эта группа литераторов, как можно убедиться, безоговорочно признает «пользу книжности», считая книгу источником расширения общекультурного кругозора, формирования личности писателя и даже импульсом творчества.

Другие считают, что вопрос, поставленный Ашукиным, не может быть решен столь однозначно, ибо рассматривать его нужно в двух плоскостях: книга как источник непосредственного, оригинального творчества писателя и книга (или, вернее, все богатство книг) как материал для изучения и накопления фактов, особенно научных и исторических. В последней своей роли книга, по мнению многих писателей, совершенно незаменима — именно в ней они черпают свои знания. Вполне естественно, огромное значение придавали печатным источникам писатели, разрабатывающие историческую тематику. Наиболее обстоятельно ответил на этот вопрос С. Т. Григорьев: «Даже маленькая вещь требует много книг. В книгах ищу разрешения всех сомнений и вопросов при работе. При большой работе приходится читать не томами, а пудами (или тоннами). Так, например, при работе над романом о Пугачеве я перевернул целый книжный пласт. Труд этот скорее физический, чем умственный, так как некоторые книги приходится брать в руки из-за одной странички, а то из-за одного предложения, абзаца. А хотелось знать все, написанное о Пугачеве... Я видел, что и другие писатели работают так же, привозя книги на колясках в пятипудовых мешках. Так мы этими „пятериками" и ворочаем. Книги — тяжелая вещь!» «Пользуюсь историческими трудами»,— кратко ответил

А. Н. Толстой, как раз в это время писавший роман «Петр I», а И. С. Соколов-Микитов отметил ценность фольклорных сборников, к которым он часто обращается в своей работе. «Вообще говоря,— продолжает он,— то обстоятельство, что живу далеко от города и, следовательно, далеко от книг,— иногда мешает работе».

Справочную и познавательную ценность научной и популярной литературы отмечают и многие другие писатели. Так, Н. Н. Асееву «книги дают возможность быстрой ориентации, экономят время, пропадающее на справки, иногда в значительной степени помогают оформлению темы, поднимают квалификацию, расширяют словарь». Ф. В. Гладков, который мало пользуется книгами в собственно «литературной работе», чаще всего обращается к «книгам по экономике, по теории искусства, по философии». Такова же методика работы С. М. Городецкого. Отвечая на последний вопрос, он отметил: «Это совершенно отдельные вещи. Книги мне нужны для научного и политического образования. В части моей научно-литературной работы я пользуюсь книгами для предварительных изысканий. Но во время работы не терплю „источников". Что же касается художественного творчества, то здесь в работе мне не были и не бывают нужны книги. Даже свои книги люблю только те, которые сейчас делаю». Такую же позицию занимает Н. Н. Ляшко: «В своей работе книгами не пользуюсь, кроме научных, т. е. углубляющих не жизненный опыт, а детальное ознакомление с предметами и явлениями, меня интересующими». М. М. Пришвин же считает, что чтение такого рода литературы полезно лишь после того, как завершена работа над созданием собственного произведения: «После того, как своя работа сделана,— отвечает он,— и ничто со стороны не может изменить ее, часто читаю научные книги для проверки и для осознания своей догадки. Книги из родственной области (художественная литература) иногда побуждают взяться за свою работу, а научные книги приносят огромную пользу тем, что после их чтения делаешь опыты в своей области, вот, например, сейчас я читаю астрономические книги, поражаясь бездушием движения чужих миров, с особой родственной остротой наблюдаю смену явлений в родной природе, вследствие движения планеты». Впрочем, Пришвин находит, что писателю иногда бывает полезно как бы «отойти» от книги, отдалиться от нее, остаться наедине с природой, людьми, жизнью... Не навязывая другим литераторам своей точки зрения, он пишет: «Эпоха войн и революции, разделившая меня от постоянного общения с книгой, потом невозможность жить и в центре, и в природе, как было раньше,

заставившая меня предпочесть отшельнический образ жизни беготне в нищенских условиях,— в общем благотворно подействовала на мою литературную деятельность, и я понял, что книг для писателя надо немного, что мы читаем вообще много лишнего и этим приносим себе большой вред. Из этого личного удовлетворения простотой жизни я, однако, не делаю какого-нибудь правила для других, говоря только, что иногда можно обходиться и без книг, и некоторым писателям это даже очень полезно».

Такой подход был поддержан (не сговариваясь, конечно), многими писателями, заполнившими анкету Ашукина. Опасение, что книга, литература может заслонить от них жизнь, навяжет чуждый им язык, стиль, приведет к потере самобытности и оригинальности их творчества, заставляло многих писателей постоянно как бы «отталкиваться» от книги, а иногда даже «отрекаться» от нее. Крайнюю позицию занял здесь А. С. Грин, кратко и гордо заявивший: «Я не пользуюсь книгами». Иные, не подвергая сомнению значение книги как источника знания и пополнения своего литературного багажа, находят все же, что излишнее чтение, особенно во время интенсивной собственной работы, вредит им. «Когда пишу, боюсь всякой книги. Ничего не читаю. Часто чтение книги толкает в сердце — и что-то там от нее зарождается новое»,— написал И. В. Евдокимов. Его поддержал К. А. Тренев: «Не знаю, что тут отвечать. Беллетристу в процессе работы книга вредна». «Главное в моей работе все же не книги, а живые люди, с которыми сжился здесь тесно, да и всегда умел людей находить и любить. Книги, которые мне близки, как люди,— у меня есть»,— ответил И. С. Соколов-Микитов. «Из книг в моей голове — остаются слова и слова, они вытесняют многие мои мысли, затрудняют мою речь — и когда я долго не читаю книг, мне легче писать и язык мой становится яснее. Особенно тяжело мне читать беллетристику — голова забивается дешевкой, и мне трудно бывает писать. Легче всего я читаю путешествия» (Всеволод Иванов).

К. А. Федин считает (видимо, совершенно справедливо!), что однозначного ответа быть не может: все зависит от конкретностей творческой ситуации, от личности, индивидуальности каждого писателя, жанровых и иных особенностей произведения, над которым он работает. «Книги, конечно, помогают в работе, но и вредят ей,— отвечал он.— Установить, где они помогли и где повредили, трудно. Между писателем и книгой должно сохраняться состояние „вооруженного мира“». Афористически выразил эту мысль В. В. Маяковский: «Иногда книги помогают мне, иногда я книге».

В каждом человеке (художнике особенно) должно гореть «духовное беспокойство», «такой человек не замурован в четырех стенах, он близок к природе и жизни,— писал А. А. Блок в одной из последних своих статей.— Не в этом порок таких писателей, что они — книжные люди: книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Но ядом станет для него книга, когда он видит в ней только книгу, когда она прихлопнет его своей ученостью. Порок таких писателей в том, что они — только книжники, только насквозь проученые, мертвые люди». Под этими прекрасными словами великого поэта могли бы подписаться многие крупнейшие советские писатели, ответившие на последний вопрос анкеты 1926 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Александр Блок. Синхронистические таблицы жизни и творчества. 1880—1921. Библиография. 1903—1923. М.: Новая мысль, 1923.

[2] Красная нива, 1925, № 42.

[3] Ашукин Н. Писатель и книга.— Неделя, 1967, № 24, с. 10.

[4] ЦГАЛИ, ф. 1890 (Н. С. Ашукин), оп. 1, д. 15—42. В дальнейшем ссылки на архивные дела опускаются.

[5] К. А. Федина первая мировая война застала в Германии; там он находился до 1918 г. в качестве «гражданского пленного».

[6] Точнее — «Акты исторические, собранные и изданные Археографической Комиссией. Спб., 1841—1843, т. 1—5».

[7] Очевидно, имеются в виду «Письма и бумаги Петра Великого», начавшие выходить в 1887 г. и законченные в 1964-м. 11 томов.

Владислав Матусевич

МУЗА ЧТЕНИЯ

(А. С. Пушкин — читатель, библиофил)

После капитального описания пушкинской библиотеки Б. Модзалевским и позднейших дополнений к нему исследователи почти не обращались к разработке проблем «Пушкин — читатель», «Пушкин и его библиотека». Одним из показателей того, насколько еще не исчерпана эта книжная сокровищница, являются неожиданные открытия, сделанные В. Сайтановым, М. Гиллельсоном и другими учеными в фондах пушкинской библиотеки.

В. Матусевич предлагает популярную разработку темы, при отсутствии еще в нашей Пушкиниане необходимого научного фона к ней. Нам представляется полезным такое обращение к книжному миру поэта. Ведь интерес к его наследию огромен — интерес прежде всего читателей. И как не взволноваться нашему современнику при знакомстве хотя бы с отдельными чертами великого читателя — Пушкина!

Н. Эйдельман

Страсть к чтению посетила Пушкина после возникновения страсти к поэзии. Он еще не прочитал ни одной книги, но уже сочинял небольшие комедии во французском стиле, по всей вероятности, в подражание Мольеру, которого еще ребенком узнал, воспринял на слух от отца, любившего декламировать стихи из мольеровских пьес наизусть. Так что еще в раннем возрасте Пушкин был близок к пониманию поэзии в духе древних греков, у которых она была естественной формой их художественного самовыражения. Но если древнегреческие певцы черпали вдохновение из окружающей действительности и у них не было классических образцов для подражания (они сами создавали эти образцы), то Пушкин с первых же дней осознанного восприятия мира попал в уникальную высокохудожественную среду самых образованных людей своего времени. Это были участники кружка Сергея Львовича — литераторы, собиравшиеся у него в доме. Поэтому Пушкин стал читателем, пожалуй, раньше, чем прочел первую книгу, раньше, чем вообще научился читать. Были особые, живые «книги»: пленительный и велеречивый Василий Андреевич Жуковский, любезный дядюшка — остроумный спорщик Василий Львович Пушкин, по-европейски разносторонне образован-

А. С. Пушкин. Рис. Н. П. Ульянова

ный Николай Михайлович Карамзин... Это был первый культурный пласт, не исчезнувший с годами, не засыпанный другими пластами. Это был и первый толчок к самостоятельным вылазкам в ту необъятную книжную страну, островок которой находился совсем рядом, за дверью отцовского кабинета. И Пушкин явился туда далеко не новичком. Отец уже давал девятилетнему сыну читать сочинения Плутарха и Гомера. Но недовольный «тем, что ему давали,— вспоминает сестра поэта Ольга Сергеевна,— он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги».

Воображение рисует нам романтическую картину: маленький кучерявый мальчик в длинной ночной рубашке со свечкой в руке на пороге отцовского кабинета с жадностью вглядывается в мерцающие в полутьме ряды книг на многочисленных полках. А затем — та же кучерявая голова, склоненная над книгой, и незаметно бегущие ночные часы.

Пушкин читал все подряд, в основном по-французски. У Сергея Львовича была обширная французская библиотека. Не будем очень обольщаться художественными достоинствами этих книг. Они соответствовали вкусу хозяина. Но в них было много поэзии. Они дразнили воображение, знакомили со многими прелестями земного бытия, о которых девятилетний мальчик мог только подозревать. Он проглатывал эти книги с той же легкостью и быстротой, с какой герои любовных романов покоряли сердца неприступных красавиц и расправлялись со своими соперниками. И вот два полнокровных живительных потока слились в один: французы породнились с древними греками и дали свое жизнелюбивое потомство, тем более, что серьезно и вдумчиво относящиеся к жизни древние греки были также во французских переводах. Поэмы Гомера — в прозаическом переводе Битобе (издание 1780—1785 годов, в 6-ти томах), а Плутарх в переводах Жака Амио («Сравнительные жизнеописания», издание 1783—1787 годов). И, вероятно, в какой-то день, а может быть, в какую-то ночь его жадная до книг рука дотянулась и до Вольтера, а может быть, он познакомился с ним раньше. Но все это удивительным образом переплелось в душе Пушкина, переплавилось и... осталось с помощью феноменальной памяти в его постоянно пополнявшейся внутренней кладовой, откуда он в течение всей жизни неустанно черпал, изумляя окружающих своей начитанностью, своим кругозором.

«Прежде всего оказалось,— пишет П. В. Анненков в своей работе „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху“,— что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленное годами. Затем, параллельно с неустанным чтением, развился настоящий отроческий его нрав, тот самый, который несколько позднее видели лицейские товарищи и учителя молодого человека, оставившие и свои заметки о нем. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за границы возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал, и наконец,— что всего важнее,— мало-помалу воспитывала великое самоуважение, не допускающее власти над собой и не признающее ее законности ни в каком виде, ни под каким предлогом».

К книжным сокровищам у него было особое отношение. Он добывал их где только возможно и навсегда оставлял в своей памяти; и мы вправе сказать, что главную часть своей

библиотеки Пушкин постоянно носил с собой, она всегда была у него под рукой, где бы он ни находился. Причем это была многоязычная библиотека. Полиглотом Пушкин никогда не был, но кроме русского и французского, которые знал в совершенстве, переводил с латинского, английского, немецкого с пониманием особенностей этих языков. В зрелом возрасте Пушкин выучился и по-испански, писал в своих воспоминаниях его отец. И как иллюстрацию к этим словам мы находим в библиотеке Пушкина словари и самоучители испанского языка, а также «Дон Кихота» Сервантеса и «Романсы о Сиде» Кальдерона на испанском языке. А в одной из его записных книжек исследователи нашли запись древнееврейского алфавита, который, вероятно, понадобился ему для сравнения древнееврейского текста Библии с ее французским переводом. В его библиотеке был обнаружен этот французский перевод Библии с параллельным древнееврейским текстом, изданный в Париже в 1831—1836 годах, а также и грамматика древнееврейского языка Г. Гурвица 1829 года издания.

Следует отметить, что Пушкин вообще очень ценил различные словари и энциклопедии. В каталоге пушкинской библиотеки, опубликованном в 1910 году Б. Модзалевским, мы находим и один из первых русских энциклопедических словарей — «Церковный словарь» Петра Алексеева, и 12-томную «Всеобщую немецкую реальную энциклопедию» Брокгауза, изданную в 1830 году, и ее продолжение, вышедшее в свет в 1832—1834 годах. А также — шеститомный «Словарь Академии Российской», выходивший с 1789 по 1794 год. Об этом словаре поэт упоминает в романе «Евгений Онегин»: «Хоть и заглядывал я встарь в Академический Словарь». Стоит упомянуть еще и «Общий церковно-славено-российский словарь» под редакцией П. И. Соколова, изданный в 1834 году, и, конечно, знаменитую Французскую энциклопедию XVIII века.

К каждому из языков у поэта было свое отношение. Французский он, как говорится, всосал с молоком матери (в Лицее даже получил кличку «француз»). Но это был скорее язык галантных разговоров с дамами и писем к ним, на нем Пушкин изъяснялся в светском обществе, на балах и за карточным столом, а также при составлении официальных бумаг и различных прошений, обращений к высокопоставленным лицам, включая царя и Бенкендорфа. Можно сказать, что французскому языку Пушкин отводил определенную роль, и с годами эта роль становилась все более и более эпизодической. Со своими друзьями-мужчинами он говорил и переписывался большей частью по-русски, как думал, как сочинял свои произведения.

Ксенофонт Полевой, брат Николая Полевого, издателя «Московского телеграфа», или, как шутливо называет его Пушкин, «брат телеграфа», в своих воспоминаниях о поэте замечает, что Пушкин только в Михайловском, во время ссылки стал изучать по-настоящему латынь, которую почти не знал, вышедши из Лицея. А в Петербурге брал уроки английского языка. Шекспира Пушкин сначала прочитал по-французски в переводах Гизо, но впоследствии, овладев самоучкой английским языком, стал читать великого драматурга в подлиннике. Это чтение потрясло его. Он ощущал беспокойство, читая Шекспира. Как будто заглядывал в мрачную пропасть, рассказывал он своим друзьям. Первое знакомство с Шекспиром состоялось у Пушкина, по всей вероятности, еще на юге, в период первой ссылки. Но интенсивное увлечение им началось в Михайловском. «...До чего изумителен Шекспир! — восклицает поэт в письме к Н. Н. Раевскому,— не могу прийти в себя». Пушкин пережил большое увлечение Шекспиром, которое отразилось и в его взглядах на драматическое искусство, и на создание «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий». Впоследствии, сравнивая своего первого любимца Мольера с гением Шекспира, он писал о непреходящей абсолютной художественной ценности великого английского драматурга. «Лица, созданные Шекспиром, не суть как у Мольера типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков... У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». О том, как читал Пушкин по-английски Шекспира, оставил интересные воспоминания штабс-ротмистр Чугуевского уланского полка, известный нам также и как археолог, Михаил Владимирович Юзефович. «Пушкин,— пишет он,— читал английскую грамматику как латинскую». В 1829 году, когда Пушкин был на Кавказе, Юзефович усомнился в знании им английского языка и решил устроить проверку, пригласив как арбитра известного знатока этого языка Захара Чернышева. Они попросили Пушкина прочитать им по-английски главы из Шекспира. При первых же словах, произнесенных Пушкиным по-английски, Чернышев расхохотался.

— Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?

Расхохотался в свою очередь и Пушкин. Но каково же было изумление экзаменаторов, когда, наконец, дошла очередь до перевода. Он был совершенно правильным и в отношении языка безукоризненным.

Многие западные писатели не случайно называли Пушкина русским Шекспиром. Помимо художественных высот и

глубины постижения человеческого сердца, Пушкина роднит с Шекспиром и отношение к творчеству — ремеслу, средству существования. Как и Шекспир, Пушкин в течение жизни никуда из родной страны не выезжал и, тем не менее, дал непревзойденные образцы понимания национального духа других народов и поднялся до высот всечеловеческих. В своей юбилейной речи в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве Федор Михайлович Достоевский первый отметил способность всемирной отзывчивости Пушкина и полнейшее его перевоплощение в гений чужих наций, перевоплощение почти совершенное. Достоевский рассматривал эту способность как вообще черту русской нации, а Пушкина — как ее наиболее яркого представителя. Но немалую роль в этом, помимо гения Пушкина и способности к перевоплощению, сыграла и его феноменальная начитанность, абсолютное знание французского языка, умение постичь величайших литературных гениев мира — Шекспира, Данте, Гете, Шиллера, а также незаурядные знания из истории зарубежных стран. В библиотеке у Пушкина были книги по истории, географии, экономике; статистические данные об Англии, Франции, Америке, Германии, Италии, Испании, Турции, Польше, Финляндии... Он имел в своей библиотеке 50 книг о Великой французской революции: воспоминания Ролана, герцога Шуазель, члена конвента Барбару, генерала Дюмурье, мемуары разных лиц о сентябрьских днях, о тюрьмах революции, о восстании в Вандее. Он читал историю Тьера, Минье, Гизо, книги Мирабо. Один раз, обыграв Великопольского в карты, он взял долг не деньгами, а книгами. Это были все 35 томов Французской энциклопедии Дидро и д'Аламбера.

«Только с немецким языком не могу сладить,— жаловался он иногда друзьям.— Выучусь ему и опять все забуду: это случалось уже не раз». Поэтому часто первые знания о той или иной стране он получал из французских источников. И «Фауста» Гете он впервые прочитал во французском переводе, а о жизни самого Гете узнал из книги Ж. де Сталь «О Германии». Об этой книге Пушкин вспоминает в «Евгении Онегине»: «Он знал немецкую словесность по книге госпожи де Сталь». Противница бонапартизма, Жермена де Сталь эмигрировала из Франции и жила долгий период в России. Впоследствии, когда вышли ее мемуары «Десятилетнее изгнание», в которых было немало строк и о России, Пушкин выступил в защиту этой «необыкновенной женщины», которую Наполеон «удостоил гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения». «Де Сталь наша — не тронь ее»,— пишет он в письме к Вяземскому.

Но тем не менее Пушкин чувствовал неудовлетворенность, знакомясь с Гете по французскому переводу. И, видимо, велико было желание Пушкина прочитать Гете в подлиннике, потому что в 1831 году он, по свидетельству П. И. Миллера, взял у профессора Оливье «Фауста» в оригинале. «Фауст,— писал Пушкин, сравнивая Гете с Байроном,— есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности».

Но поклонником великого немецкого писателя Пушкин так и не стал. «Его отзывы о Гете,— пишет академик В. Жирмунский,— свидетельствуют скорее о холодном уважении, чем о глубоком знакомстве и творческой близости с великим немецким поэтом».

В своих литературных вкусах и увлечениях Пушкин испытал влияние многих выдающихся западных писателей: французов XVIII века, и в первую очередь Вольтера, затем Байрона, Шекспира, Вальтера Скотта. Это были его учителя и наставники. Русская литература в XVIII веке уступала западной, поэтому великие писатели Франции, Англии, Германии, Италии и Испании были для любого русского основной литературной и культурной традицией. А художественное многообразие мировой литературы, от писателей античности до фольклора различных народов, служило богатейшим духовным материалом для его собственного творчества.

«Отсюда,— как писал В. Жирмунский,— универсализм поэзии Пушкина, его художническая многосторонность». Как известно, Пушкин шутя называл себя «министром иностранных дел» на Парнасе русской литературы.

У Мольера он больше всего ценил «Тартюфа», у Вольтера — «Орлеанскую девственницу», которую называл «катехизисом остроумия», «святой библией харит». Увлекался он фривольными сказками Лафонтена, поэмами Парни, пародирующими библейские сюжеты. Все эти французские увлечения оказали влияние на его раннее творчество и на создание поэмы «Гавриилиада». Впоследствии Пушкин преодолел абсолютное влияние французской литературы. «Французская словесность родилась в передней,— писал он в 1827 году из Михайловского,— и далее гостиной не доходила». По мнению Пушкина, французская литература XVII—XVIII веков была литературой придворных, ожидающих от Людовика XIV вознаграждений за свои литературные труды. «Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля?» — спрашивал он. И сам же отвечал: «Придворные Людовика XIV».

Но чем меньше увлекался Пушкин французской литературой XVII—XVIII веков, тем больше интересовали его современные французские писатели, и в первую очередь — Мериме, Стендаль, Бальзак, Констан... Правда, он отрицательно относился к творчеству меланхолика Ламартина и к произведениям чопорного графа Альфреда де Виньи, но восторженно отзывался о новеллах Мериме, о романе Стендаля «Красное и черное». А Бенжамен Констан был близок Пушкину как автор психологического романа «Адольф». Перевод этого популярного в те времена произведения был сделан Вяземским, который, кстати сказать, посвятил его Пушкину. А в последние годы жизни Пушкин увлекся французским писателем XVI века Монтенем. Среди уцелевших книг поэта мы находим и аккуратные, в ярко-синих бумажных переплетах четыре томика «Опытов» Монтеня, или Монтаня, как произносили это имя в пушкинские времена, изданных в 1828 году. Вероятно, тогда же Пушкин и приобрел их, но увлечение Монтенем началось позднее, с 1835 года, когда поэт, находясь в Михайловском, просил жену прислать томики Монтеня, находящиеся на его «длинных полках». Все четыре тома разрезаны до последней страницы, но никаких заметок не содержат. Первый том несколько потрепан, и в главе под названием «Философствовать значит учиться умирать» вложена закладка. Скептик Монтень был одним из литературных друзей Пушкина в его последние годы.

Можно немало сказать и об увлечении произведениями Байрона, и о влиянии английского поэта на «южные» поэмы Пушкина, на «Евгения Онегина», на «Цыган». Можно проследить влияние литературных традиций Вальтера Скотта на пушкинские исторические произведения и в первую очередь на «Дубровского» и «Капитанскую дочку». Это составляет предмет особых литературоведческих изысканий. Но ясно одно: широта его кругозора включала все значительные литературные явления мировой культуры.

Не зная греческого языка, Пушкин, читая древнегреческих аторов во французских прозаических, далеко не совершенных переводах, смог так глубоко и проникновенно понять, прочувствовать дух и формы поэзии древних, как будто он всю жизнь занимался исследованием древней литературы и в совершенстве владел древнегреческим языком. А его стихи в подражание Библии и Корану говорят о таком же проникновении в древнееврейскую и арабскую поэзию.

Не имея порой возможности по тем или иным причинам достать нужную книгу, Пушкин брал ее у своих друзей и знакомых, среди которых было немало библиофилов: Соболев-

ский, Полторацкий... Известно, что, живя в Кишиневе и Одессе, он пользовался литературой из прекрасной библиотеки Ивана Петровича Липранди, брал книги у «доброго и почтенного старика», наместника Бессарабии генерала Ивана Никитича Инзова, читал редкие рукописные мемуары в библиотеке графа Воронцова. Пользовался он и книжными собраниями декабриста Владимира Федосеевича Раевского, генерала Сабанеева, писателя А. С. Стурдзы...

В Петербурге его охотно снабжали книгами литератор и историк Абрам Сергеевич Норов, поэт Иван Петрович Мятлев. А одна из его приятельниц, дочь М. И. Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово добывала ему через своего зятя — австрийского посланника Фикельмона — из-за границы редкие и запрещенные к ввозу в Россию издания. Произведения В. Гюго, Сент-Бёва, Эжена Сю, А. Дюма, Бальзака, Стендаля — все это доходит до Пушкина через руки Е. М. Хитрово. Из запрещенных книг он получал труды Тьера и Минье о Французской революции. Фикельмон пользовался как дипломатический представитель определенными льготами в перевозке книг из-за границы. Он относился к Пушкину с большим уважением и порой сам предлагал ему новинки западной литературы. Так, например, в 1835 году граф Фикельмон подарил Пушкину два томика сочинений Генриха Гейне, запрещенных в тот период к ввозу в Россию.

Много книг из-за границы Пушкин получал от своего друга Александра Тургенева. В 1832 году из немецкого города Любека А. Тургенев пересылает Пушкину «Альбом литератора» с шутливой собственноручной надписью: «Журналисту Пушкину от Гремушки-Пилигрима».

И конечно же, неиссякаемый книжный поток направлялся к Пушкину от Сергея Соболевского. Некоторые из книг сопровождались интересными надписями и посвящениями. Порой в них можно было заметить тот шутливо-иронический тон, который вообще свойствен письмам Пушкина и Соболевского друг к другу. Так, например, четыре тома сочинений Адама Мицкевича, изданные в 1828—1832 годах, Соболевский украсил своим характерным автографом на первом томе: «Александру Сергеевичу Пушкину за прилежание, успехи и благонравие».

Изучая библиофильские интересы Пушкина, круг его чтения, нельзя также забывать и об обширной библиотеке в Тригорском, описание которой сделал неутомимый Б. Модзалевский. В письме к жене 29 сентября 1835 года Пушкин пишет, что вечером ездит в Тригорское, роется в старых книгах да грызет орехи...

Немало книг прочитал он и в старинной библиотеке Гончаровых на Полотняном заводе. Первый раз — в 1830 году, когда поэт приехал в имение Гончаровых в качестве жениха и представлялся дедушке своей будущей жены Афанасию Николаевичу Гончарову. Второй раз он провел на Полотняном заводе две недели — с 25 августа по 9 сентября 1834 года. Сохранились воспоминания старых дворовых имения Гончаровых, из которых мы узнаем, что старинная библиотека находилась в «красном доме» и что дворовые не раз видели Пушкина «несущим целый ворох книг из красного дома: он, вероятно, тогда много читал».

Пользовался поэт и фондами Публичной библиотеки в Петербурге и Государственного архива. Изучал он и библиотеку Вольтера, хранившуюся, а точнее, запертую в здании Эрмитажа.

Как известно, отношение Пушкина к великому французскому пистелю не было однозначным. Оно порой колебалось от восторженного преклонения перед авторитетом фернейского мудреца до резкого осуждения деятельности Вольтера. Неизменным оставался лишь самый интерес Пушкина к этому «великому старцу», возникший еще в «ребячестве» и не покидавший его ни в лицейские годы, ни в зрелый период, ни в последние дни жизни.

Особое место в творчестве Вольтера занимают произведения, посвященные России: «История России в царствование Петра I», «История Карла XII», где было немало страниц о Русском государстве эпохи Петра I. В начале 30-х годов XIX века, когда у Пушкина проявился довольно стойкий интерес к русской истории и когда им был задуман ряд исторических работ, эти произведения Вольтера, естественно, вновь привлекли его внимание. Б. Модзалевский, описывая библиотеку Пушкина, указывает на то, что многие страницы этих книг из собрания Вольтера разрезаны Пушкиным, а в ряде мест им положены закладки. Одной из таких закладок послужил обрывок письма отца Пушкина Сергея Львовича, написание которого Модзалевский относит к 1834—1836 годам. Это лишний раз доказывает, что поэт перечитывал исторические труды Вольтера, посвященные России, во время своей работы над «Историей Петра».

Известно, что Вольтер, составляя свою «Историю России...», пользовался многочисленными историческими рукописными материалами, присылаемыми ему из Петербурга через графа Шувалова. В числе этих материалов находилась и рукопись М. В. Ломоносова «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи».

Исторические факты, собранные Ломоносовым, были настолько интересны и значительны, что Вольтер почти без изменений помещает их в свою «Историю». Кроме этой работы он использует многие другие рукописные произведения, присланные ему Шуваловым, а также собранные самостоятельно.

В большинстве своем эти рукописи в России не были известны. Пушкин узнает о них из переписки Вольтера с Шуваловым, помещенной в 33-м и 34-м томах Собрания сочинений французского мыслителя. Он знает также и о том, что все рукописи вместе с библиотекой Вольтера находятся в Петербурге, в здании Эрмитажа. История приобретения уникальной коллекции была подробно изложена в двух томах «Воспоминаний о Вольтере...», написанных бывшими секретарями французского писателя Лонгшаном и Ваньером. Из этих воспоминаний Пушкин узнает о том, что Екатерина II купила библиотеку после смерти Вольтера у его племянницы госпожи Дени. Тогда еще верная своим философским увлечениям, русская императрица отводит для библиотеки почетное место в Эрмитаже под Лоджиями Рафаэля. Она мечтает превратить это место в своего рода академическое ристалище для философских споров и диспутов, для углубленных занятий философией и историей. С этими целями из Парижа вызывается один из секретарей покойного писателя — Ваньер, который и приводит в порядок библиотеку. А позднее, когда все семь тысяч томов библиотеки Вольтера расположились на отведенном им месте, императрица отдает приказ поставить рядом с книгами статую великого мыслителя, созданную скульптором Гудоном.

Но с 1789 года, после победы Великой французской революции, Екатерина II начинает относиться к французским философам с недоверием, считая их главными виновниками происшедших во Франции «беспорядков». Поэтому о библиотеке Вольтера постарались забыть. А с приходом к власти Николая I она вообще получает статус секретной и ни одному человеку в тот период не удается проникнуть туда.

Когда у Пушкина в 1831 году стал созревать план написания «Истории Петра», он, естественно, возгорелся желанием посмотреть эту библиотеку и те редкие рукописные материалы, которые были там. Но для того, чтобы работать в государственных хранилищах, архивах, необходимо было снова поступить на службу, и Пушкин обращается к Николаю I с просьбой: «Осмеливаюсь также,— пишет он,— просить дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не хочу взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина,

но могу со временем исполнить мое давнишнее желание написать историю Петра Первого». Николай I очень быстро отреагировал на эту просьбу, ибо возникшее у бывшего опального стихотворца желание вновь служить, он, вероятно, расценил как еще одно доказательство его покорности. И поэтому велел незамедлительно принять Пушкина в Иностранную коллегию «с позволением рыться в старых архивах».

24 февраля 1832 года Пушкин, уже будучи сотрудником министерства, обращается с просьбой к шефу жандармов Бенкендорфу с просьбой: «...осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбой: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его „Истории Петра Великого“». Через пять дней от шефа жандармов пришел ответ: «По Вашему письму от 24 февраля докладывал я государю императору и его величество всемилостивейше дозволил Вам рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, о чем сообщено мною господину министру императорского двора».

* * *

И вот наступил день 10 марта 1832 года, когда Пушкин подошел к массивным дверям, ведущим в вестибюль Эрмитажа. Там его ожидал управляющий придворной конторой, действительный статский советник Келер.

Визит известного сочинителя не был для чиновника неожиданностью. Министр императорского двора князь Петр Волконский сообщил ему о всемилостивейшем разрешении государя, дозволившего Пушкину не только «рыться» в вольтеровских книгах, но и рассмотреть рукописные фолианты, принадлежащие французскому мыслителю. Поэтому Келер, увидев Пушкина, поспешил изобразить на своем аристократическом лице любезную улыбку радушного хозяина. Он стремился показать свое усердие, а также воспользоваться представившимся случаем и поговорить с известным поэтом, о котором в Петербурге ходило столько различных слухов.

Но Пушкин был в этот день настолько взволнован предстоящей встречей с библиотекой Вольтера, что на все любезные слова Келера отвечал односложно, рассеянно поглядывал по сторонам и только тогда широко улыбнулся и с благодарностью посмотрел на Келера, когда тот пригласил его следовать за ним.

Наконец-то свершилось то, о чем Пушкин так долго мечтал. Библиотека Вольтера через несколько минут откроет ему свои сокровища.

В письме Бенкендорфу Пушкин немного лукавил, утверждая, что в этой библиотеке его интересуют только материалы, касающиеся Петра I. Он рассчитывал также найти в ней и другие редкие рукописи. И в первую очередь — поэму «Полониада», присланную Вольтеру прусским королем Фридрихом II. Также интересовали его и письма самого Вольтера, не попавшие в собрание сочинений, и надписи фернейского мудреца на отдельных книгах...

Автограф А. С. Пушкина

И вот теперь Пушкин стоял с Келером около старинных высоких шкафов и жадным взглядом, в котором чувствовалась страсть исследователя, попавшего в собрание неизвестных ему исторических раритетов, молча всматривался в многочисленные ряды фолиантов. Келер распорядился, чтобы господину сочинителю принесли рукописи Вольтера, потом он вежливо откланялся и, пожелав Пушкину успешных изысканий, торжественно удалился.

Оставшись один, Пушкин сделал несколько шагов вперед и вздрогнул от неожиданности. На него смотрел и саркастически улыбался сам Вольтер, сидящий в глубоком кресле.

— Дьявол, истинно дьявол! — восхищенно воскликнул Пушкин, присев от восторга. Многократное эхо несколько раз прокатилось под сводами галереи и угасло в ее глубине.

Скульптуру Гудона он знал и раньше по многочисленным гравюрам и рисункам, но воочию видел впервые.

— Нет, какой взгляд, какой взгляд,— повторял он уже шепотом, всматриваясь в статую.— Теперь он, поди, не даст мне работать, этот старикашка. Вот ведь какой дьявол...

Пушкин отошел к окну, вынул свою записную книжку и, облокотившись на подоконник, быстрыми уверенными штрихами стал заносить туда очертания скульптуры Вольтера. Но

отобразить на бумаге так поразившее его выражение вольтеровского лица ему не удалось. Он досадливо закусил нижнюю губу и провел рукой по вспотевшему лбу...

Внешний облик французского вольнодумца давно привлекал Пушкина. Его изображение частенько появлялось в пушкинских рукописях — то в домашнем виде с традиционным ночным колпаком (прототипом явилась хорошо известная в те времена серия «интимных зарисовок» Гюбера), то в профиль с найденной линией лба и носа, и отвисшей нижней губой, то с обнаженным черепом. Порой Пушкин, как актер, примеривал на себя облик Вольтера, и мы видим пушкинский автопортрет с вольтеровской лысой головой. Прототипами этих пушкинских Вольтеров служили также известные портреты Келюса, которые, как и рисунки Гюбера и гравюры со скульптуры Гудона, были хорошо известны Пушкину.

Вошел служитель Эрмитажа и, поклонившись поэту, молча положил на стол несколько объемных томов в сафьяновых переплетах. Пушкин, не отрываясь от записной книжки, чуть-чуть скосил глаза в его сторону, затем размашистым почерком поставил дату под рисунком и подошел к столу.

* * *

Мы можем только догадываться о том, с какими материалами познакомился он в библиотеке Вольтера. Единственным свидетелем его изысканий является записная книжка поэта, где сразу же за рисунком статуи Гудона идут записи на французском языке. И на первом месте — упоминание о поэме «Полониада», опусе прусского короля Фридриха II.

В записной книжке Пушкина отмечен еще один манускрипт, о котором он знал и раньше из воспоминаний Лонгшана. Эта рукопись принадлежала брату Вольтера, который занимался историей различных религиозных сект. В ней описана одна из самых изуверских форм религиозного фанатизма — секта конвульсионеров, о которой Вольтер не раз упоминает в своих сочинениях.

Многие записи, сделанные Пушкиным на французском языке, рассказывают нам также и о том, что поэт интересовался мыслями самого Вольтера, его мнениями о прочитанных книгах. Видимо, Пушкин просмотрел немало книг французского мыслителя, изучил его надписи, пометы на Библии, а также в сочинениях Юстина, Тертуллиана, Иеронима, Евсевия...

По всей вероятности, Пушкин нашел в библиотеке Вольтера и «Анекдоты о русском дворе в царствование Петра I и его второй супруги Екатерины» Вильбуа. А среди бумаг библиотеки он обнаружил и скопировал «Хронологический перечень

главных событий царствования Петра I» и ряд других неизданных материалов о той эпохе.

Исторический труд самого Вольтера, посвященный Петру Великому, безусловно, поэт читал с огромным интересом и не один раз. Но едва ли эта книга, внешне занимательная, но неглубокая, могла удовлетворить Пушкина, да и вообще любого русского просвещенного человека, интересующегося отечественной историей. Известно, что отрицательную оценку этому труду дали Ломоносов, а впоследствии — Вяземский, Денис Давыдов.

Тем не менее Пушкин продолжал относиться к Вольтеру как к первому по значению мыслителю XVIII века и видел в нем «великана сей эпохи». Великим писателем назвал он его и в своем очерке «Вольтер», опубликованном в третьем томе журнала «Современник».

* * *

Пушкин искал книги повсюду. Так, находясь в имении своей тещи Натальи Ивановны в Яропольце всего два неполных дня — с 23 по 24 августа 1833 года,— он за общими разговорами, любезностями, а также прогулками по местным достопримечательностям не забывает и о книгах. «Я нашел в доме старую библиотеку,— пишет он жене,— и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с варением и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен». Зная о том, что Наталья Ивановна не отличалась щедростью, мы можем догадаться, какую дипломатическую атаку предпринял Пушкин... 4 ноября того же года теща сообщает ему в Петербург о том, что собирается отправить ему эти книги, «как только установится санный путь, с первой оказией». Видимо, оказия представилась, и Пушкин получил их, так как в его библиотеке находятся, в частности, «Санкт-Петербургские ведомости» за 1755, 1756, 1758, 1766 годы в трех старинных кожаных переплетах; на некоторых из номеров можно прочесть надпись: «Генералу Загряцкому» — это имя дедушки Гончаровой по матери — И. А. Загряжского.

Трудно назвать точную дату, когда у Пушкина появились первые книги. Но это знаменательное событие, бесспорно, произошло в Лицее. В своем стихотворении «Городок», в котором легко обнаруживаются автобиографические черты, поэт описывает круг своего чтения в тот период и дает меткие характеристики писателям, произведения которых были в его библиотеке или в библиотеках его лицейских друзей. Это и «фернейский крикун» Вольтер, и «наперсник милый Психеи

златокрылой» Богданович — автор популярной «Душеньки». Вспоминает он и своего дядюшку, «Буянова певца» Василия Львовича, автора не менее популярного «Опасного соседа», и Крылова, Жуковского, Вергилия.

Известно, что в этот период Пушкину-лицеисту дарят книги многие знакомые, друзья, родные... В 1815 году свои «Стихи» преподносит ему Жуковский, а в 1817-м сестра Ольга Сергеевна дарит ему томик «Басен» Лафонтена...

Много книг читает он в Лицейской библиотеке, которая помещалась в арке царскосельского дворца. А роскошный царскосельский парк с поэтическими куртинами, романтическими уголками являлся идеальным местом для чтения, размышления, вдохновения...

Но все же основа будущей библиотеки стала закладываться в период его михайловской ссылки, хотя немало книг он приобрел и в Петербурге после окончания Лицея, и на юге — в Кишиневе, Одессе... Дни в Михайловском были особенно плодотворными и удобными как для творчества, так и для чтения.

«По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского,— читаем мы в дневнике приятеля Пушкина Алексея Николаевича Вульфа от 16 сентября 1827 года.— В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Монтескье с „Сельскими чтениями“ и „Журналом Петра I“, виден был также Альфьери, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывавшиеся в полдюжине альманахов...» Вульф живописует Пушкина в его привычной рабочей обстановке, когда он сочинял стихи и читал, причем, как правило, сразу несколько различных по жанру и направлениям. Пушкин любил наезжать в Михайловское, скрываясь от рассеянной жизни обеих столиц. Здесь, в Михайловском, на свободе, в окружении чистых радостей бытия, он с наслаждением предавался творчеству и очень много читал.

Похожую картину создает перед нами и Александра Осиповна Смирнова-Россет, одна из самых замечательных и умнейших женщин своего времени, приятельница не только Пушкина, но и Жуковского, Гоголя, Лермонтова. В 1831 году она довольно часто навещала Пушкина в Царском Селе. Это были одни из самых счастливых месяцев жизни поэта, когда он с молодой женой наслаждался семейным счастьем в доме Китаева на Колпинской улице.

«Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе, перед диваном находились бумаги и тетради... простая чер-

нильница и перья... книги лежали на полу и на всех полках. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду...»

Из всех этих воспоминаний следует отметить особую черту Пушкина. Чтение для него являлось частью общего творческого процесса. Тот или иной отрывок из книги, мелькнувшая мысль рождали в нем собственные мысли, которые быстро переплавлялись в художественные образы, являлась муза, рука тянулась к перу, перо к бумаге...

Книги были частью его творческой лаборатории, наиболее яркими и быстрыми возбудителями фантазии. Вероятно, поэтому они лежали у него в самых различных, порой неожиданных местах — на столе, диване, на полу, на подоконнике — там, где его поражала вдруг молния мысли или являлся сам собой художественный образ, требующий немедленного поэтического воплощения. Поэтому мы можем говорить и о музе чтения Пушкина — родной сестре его поэтической музы. Иногда они сливались воедино, и тогда только что прочитанная страница превращалась в страницу его творчества, и на ней, на полях возникали быстрые строки, начертанные его рукой. «То кратким словом, то крючком, то вопросительным значком» обнаруживает себя пушкинская мысль в книгах его библиотеки. «Удалось и нам рассматривать эти пометки,— пишет автор статьи „Пушкин-библиофил“ Куфаев.— Некоторые места он подчеркивает в тексте, иные отчеркивает на полях, на полях же ставит разные знаки... В тех случаях, когда замечание Пушкина должно принять пространную форму, мы видим бережно обрезанные, в уровень с книгой, вкладные листки писчей или почтовой бумаги, покрытые замечаниями Пушкина».

Особенная значимость таких маргиналий заключается в том, что они были непосредственным эмоциональным откликом поэта на прочитанное. Видно движение пушкинской мысли, не сдержанное ни формой, ни светским этикетом. Ведь такого рода записи делались, как правило, для себя и не были предназначены для последующей публикации. Но есть и такие, которые специально осуществлялись по желанию автора. Пушкин охотно откликался на все просьбы своих друзей-писателей и делал порой довольно подробный разбор того или иного художественного произведения. Так, например, известен построчный разбор поэмы Рылеева «Войнаровский». Рылеев в ответном письме благодарил Пушкина за дружескую критику и, приняв к сведению все его замечания, выслал ему впоследствии в Михайловское «новый чистый экземпляр книги». Так же довольно подробно поэт разобрал драму М. Погодина «Марфа Посадница» и его статью «Об участии Годунова в

убиении царевича Димитрия». Известны также пушкинские пометы на полях статьи Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова».

Особое место среди пушкинских маргиналий занимают пометы на книге К. Батюшкова «Опыты в стихах и прозе» и на рукописи Вяземского «Биографические и литературные записки о Д. И. Фонвизине».

История заметок Пушкина на книге К. Батюшкова, изданной в 1817 году в типографии Н. Греча, имеет немало загадок. Большинство помет сделано карандашом и только некоторые — чернилами. Поэтому у исследователей утвердилось мнение, что поэт наносил свои заметки в различные периоды.

Пушкин относился к Батюшкову как к своему старшему собрату по перу. В связи с этим пометы Пушкина очень интересны не только как критические замечания поэта о поэте, но и как документальный материал, позволяющий судить о том, как Пушкин изучал поэтическое мастерство Батюшкова.

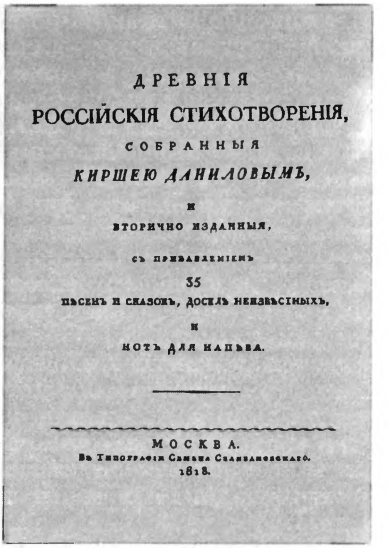
Некоторые из маргиналий хранят следы светлой пушкинской веселости. Так, например, в известной книге «Физиология вкуса» исследователями был найден небольшой листок, на котором рукой Пушкина было написано: «Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом». А под № 50 каталога Б. Модзалевского находится весьма примечательная книга, которую поэт подарил, или собирался подарить, своему брату Льву, неравнодушному к спиртным возлияниям: «О запое и о лечении оного. В наставление каждому, с прибавлением подробного изъяснения для неврачей о способе лечения сей болезни. Сочинение доктора К. Бриль-Крамера». Эта книга вышла в Москве в 1819 году, и на переплете, на внутренней стороне верхней крышки рукой Пушкина чернилами написано: «Милостивому Государю Братцу Льву Сергеевичу Пушкину».

А на странице сборника пословиц поэт записывает еще одну — из запасников своей памяти: «В кабак далеко, да ходить легко — в церковь близко, да ходить склизко».

Известно, что Пушкин был большой любитель народных песен, поговорок, пословиц. Он специально записывал их и, когда собралась довольно обширная коллекция, уступил ее П. В. Киреевскому. Пушкин настолько легко вживался в дух и стиль русского народного творчества, что поставил Киреевского в трудное положение, посоветовав ему на досуге разобраться, какие из этих песен он действительно записал, а какие сочинил сам. Эту загадку Пушкина Киреевский так и не разгадал, и над ней продолжают трудиться исследователи

ОПЫТЫ
ВЪ СТИХАХЪ И ПРОЗѢ
К. Батюшкова

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ
1817.

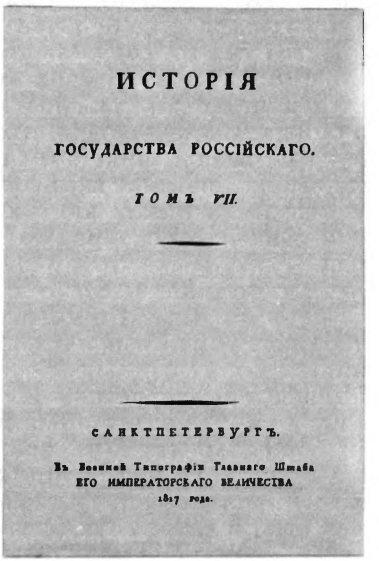


ДРЕВНІЯ
РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ,
СОБРАННЫЯ
КИРШЕЮ ДАНИЛОВЫМЪ,
И
ВТОРИЧНО ИЗДАННЫЯ,
СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ
35
ПѢСЕНЪ И СКАЗОКЪ, ДОСЕЛѢ НЕИЗВѢСТНЫХЪ,
И
НОТЪ ДЛЯ ПѢНІЯ.

МОСКВА.
Въ Типографіи Семена Селивановскаго.
1818.

ВЕЛИЗЕРЪ,
СОЧИНЕНІЯ
Господина Мармонтеля
ЧЛЕНА
ФРАНЦУЗКОЙ АКАДЕМІИ,
ПЕРЕВЕДЕНЪ
НА
ВОЛГѢ.
ВТОРЫМЪ ТИСНЕНІЕМЪ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
при Императорской Академіи Наукъ 1775 года.



ИСТОРІЯ
ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.
ТОМЪ VII.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ Военной Типографіи Главнаго Штаба
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
1817 года.

Титульные листы книг, которыми пользовался А. С. Пушкин

нашего времени. У Пушкина было много книг по фольклору. Это — «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова, знаменитые чулковский и новиковский «Песенники», лубочные сказки, сборники пословиц, многочисленные переводы и исследования «Слова о полку Игореве». Есть в его библиотеке и Несторова летопись, и переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным...

* * *

О книгах поэт всегда заботился в первую очередь, и все его близкие хорошо это знали. «...А мы, батюшка,— писала Пушкину 30 января 1827 года из Михайловского Арина Родионовна,— от вас ожидали письма, когда вы прикажете привозить книги, но не могли дождаться: то я вознамерилась по вашему старому приказу отправить... посылаю вам больших и малых книг счетом 134 книги, Архипу даю денег счетом 85 рублей». Это была только часть библиотеки Пушкина в Михайловском. Полностью он забрал ее в 1832 году. Известно сообщение почитателя поэта К. А. Тимофеева, который в 1859 году посетил Михайловское, и, узнав заранее, «есть ли в усадьбе кто-нибудь из дворовых, кто помнил Пушкина», отыскал бывшего пушкинского кучера Петра Парфенова — старика лет 60-ти, но еще бодрого, толкового, прекрасно помнящего своего хозяина. Парфенов охотно стал рассказывать о Пушкине, показывал комнату поэта, которая служила ему и кабинетом, и спальней, и столовой, и гостиной. «Тут у него столик был под окном,— рассказывал он.— Коли дома, так все он тут, бывало, книги читал, и по ночам читал...» В самом конце своих записей Тимофеев поместил рассказ Парфенова о перевозке пушкинских книг из Михайловского в Петербург:

«— Видал его еще раз потом, как мы книги к нему возили отсюда.

— Много книг было?

— Много было. Помнится, мы на двенадцати подводах везли; двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были...»

Давая характеристику П. Парфенову и его сообщениям о Пушкине, К. Тимофеев отмечает, что бывший кучер «видно, очень понимает, что за генерал был его барин». Поэтому к его словам «двадцать четыре ящика и двенадцать подвод» следует подходить критически. Видимо, Парфенову уже не раз приходилось выступать в роли экскурсовода и рассказывать приезжающим о Пушкине. Желая придать больший вес своим сообщениям, он мог и преувеличить, рассказывая о перевозке книг. Тем более, что число 24 довольно часто встречается,

когда речь заходит о перевозке пушкинских книг (в 24 ящика была также упакована вся пушкинская библиотека после его смерти).

К 1832 году значительная часть пушкинской библиотеки уже находилась в Петербурге, а из Михайловского прибыли книги, остававшиеся там. Видимо, Пушкин в тот период задумал собрать все свои книги в одном месте, чтобы они были у него всегда под рукой в период его работ над историческими сочинениями. Надо полагать, эта растущая на глазах библиотека радовала его. Ему доставляло большое удовольствие упорядочивать ее, заказывать новые книги, переплетать их. В 1834 году он пишет жене, что вместе с Соболевским приводил в порядок свою библиотеку, а в следующем письме сообщает как главную новость: «Книги из Парижа приехали, и моя библиотека растет и теснится».

Но книги, привезенные из Михайловского,— особые. Это друзья ссыльного Пушкина, отрада длинных зимних ночей, источник вдохновения. Нигде мы не найдем такого обилия пушкинских мыслей о прочитанных книгах, как в письмах времен михайловской ссылки. Сколько в них светлого ума, юмора, метких и остроумных замечаний, тончайшего критического разбора только что прочитанного и глубоких философских обобщений о назначении литературы, сравнений русской литературы с европейской. «Мы не можем подносить наших произведений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им,— писал Пушкин Рылееву.— Отселе гордость... Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав».

В эти годы Пушкин читает Библию, произведения Шекспира, Вальтера Скотта и новые петербургские журналы. Часто в своих письмах он возвращается к Байрону и сравнивает его с Шекспиром. Но даже любимого Шекспира он готов был однажды променять на мемуары начальника тайной полиции во Франции Фуше: «Отыщи, купи, выпроси, укради „Записки“ Фуше и давай мне их сюда,— как всегда в шутливой форме просит он брата Льва,— за них отдал бы я всего Шекспира... Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть в сто раз поучительнее и занимательнее, ярче записок Наполеона».

Просьбы о присылке книг мы можем найти почти во всех письмах Пушкина. «Пришли мне... „Жизнь Емельки Пугаче-

ва"... „Путешествие по Тавриде" Муравьева...» «...читаю „Клариссу", мочи нет, какая скучная дура!» «Да пришли же мне всевозможные календари, кроме Придворного и Академического...» «Душа моя, горчицу, рому, что-нибудь в уксусе — да книг: беседы Байрона, мемуары Фуше, „Талию" ...Сисмонди (литературу), да Шлегель (драматургию), если есть у Сен-Флорена», «...новое Вальтера Скотта, „Сибирский вестник" весь — и все это через Сен-Флорана, а не через Сленина». И так в каждом письме не очень торопливому на выполнение наказов опального брата, ленивому Льву Сергеевичу, любителю петербургских балов, поклоннику дружеских вечеринок. Лаской, увещеваниями, иногда угрозами Пушкин добивался от своего брата присылки необходимых ему книг и тут же «проглатывал» их, благо времени у него было много и редко кто заезжал в его михайловскую глушь. За два опальных года — всего несколько друзей: Иван Пущин и милый Дельвиг, да Языков, с которым подружился тогда же, еще однокашник по лицею Горчаков и приятель Алексей Вульф. А в остальное время — наедине с природой, книгой, стихами, воспоминаниями, да визиты в Тригорское — к Прасковье Александровне и ее милым дочерям. Его общительная и жадная до литературных разговоров натура искала выход в письмах. Он торопил друзей — Вяземского, Жуковского, Плетнева, Бестужева, Рылеева — с ответами, требовал от них присылки новых произведений, спорил с А. Бестужевым о первых главах опубликованного «Онегина», много писал о комедии Грибоедова «Горе от ума», дав уже в письмах один из самых интересных и значительных по своей глубине и проникновению в замысел комедии разборов: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны...— писал он А. Бестужеву в январе 1825 года.— В комедии „Горе от ума" кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А... Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он,— очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу?.. Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под.».

Свое первое мнение о комедии Грибоедова Пушкин так и не изменил, но в то же время, высоко ставя значение этого

произведения, считал Грибоедова «Homo unius libri», т. е. автором одной книги.

В пушкинской библиотеке, описанной Б. Модзалевским, было издание «Горе от ума» 1833 года, искаженное цензурой. Во времена Пушкина полностью комедия так и не увидела света. Несколько сцен из нее были напечатаны Фаддеем Венедиктовичем Булгариным в 1825 году в театральном альманахе «Русская Талия». И лишь в 1829 году ее разрешили ставить на сцене, и то в сокращенном виде. С этого сценического варианта по высочайшей резолюции Николая I и разрешено было издание 1833 года. «Печатать слово от слова, как играется...» — вынес русский император категорическую резолюцию. Отпечатали комедию в типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии.

В годы михайловской ссылки Пушкин усердно изучает «Историю государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Пользуется он вторым изданием этого замечательного многотомного произведения, которое вышло сразу же за первым. Интерес к «Истории...» Карамзина был настолько велик, что Пушкин впоследствии приобретал и все последующие издания.

Не меньше, правда, было и эпиграмм, написанных Пушкиным на эту «Историю...»: «В его „Истории“ изящность, простота», «Послушайте, я сказку вам начну». Но со временем поэт все больше и больше восторгался этим трудом, преклонялся перед подвигом Карамзина, который долгие годы, забыв обо всем, изучал древние русские летописи и документы.

«...Что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? — спрашивал поэт Вяземского сразу же после смерти историографа,— довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены... Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?» И далее Пушкин уговаривает Вяземского написать биографию Карамзина — «это будет 13 том „Русской истории“». А сам берется писать воспоминания о знаменитом историографе.

Под влиянием его труда поэт задумывает собственные исторические произведения, и в первую очередь «Бориса Годунова», которого он, кстати сказать, посвящает Карамзину. «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом,— пишет поэт в эти годы.— Повторяю, что

„История государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

От Карамзина Пушкин воспринял стремление к глубокому и всестороннему изучению событий прошедших веков. В русской истории Пушкина особенно привлекали три периода: смутное время, эпоха Петра I и царствование Екатерины II.

С XVIII веком у Пушкина были свои личные счеты. Порой они даже принимали оттенок семейственности, особенно когда дело касалось его предков по материнской линии, среди которых было много славных деятелей на государственном поприще, начиная с прадеда Абрама Петровича Ганнибала... По линии же отца древний род Пушкиных и в XVIII веке продолжал показывать свой строптивый характер, которым он отличался в предшествующие века, но из мятежного стал консервативным: оказывал противодействие петровским реформам, участвовал в стрелецких бунтах, а в 1762 году, когда Екатерина II низложила своего мужа Петра III, дед Пушкина Лев Александрович остался верен сумасбродному и слабоумному императору, за что был вынужден впоследствии отсидеть длительный срок в Петропавловской крепости.

Живость воображения и эмоциональность восприятия способствовали тому, что Пушкин, при изучении отдельных периодов русской истории и анализе крупнейших исторических личностей, большое значение придавал деталям быта, описанию нравов, характеров... Поэтому у него был особый интерес к различного рода мемуарам, дневникам, воспоминаниям частных лиц и государственных деятелей. Не брезговал он и полулегендарными, «апокрифическими» записками, считая их также важными и интересными документами прошедшей эпохи. В своем журнале «Современник», который Пушкин начал издавать с 1836 года, он много места отводил для публикации мемуаров «Хроника русского» А. И. Тургенева, «Записки» Н. А. Дуровой, «Занятие Дрездена» Д. Давыдова.

Интерес Пушкина к воспоминаниям был беспределен. Он находил их повсюду. Часто это были запрещенные материалы, которые переписывались под большим секретом. Как Александр I, так и Николай I тщательно оберегали тайны царствующего двора и порой сурово наказывали тех, кто распространял записки о времени Екатерины II и Павла I. Это понятно. У многих еще была на памяти загадочная кончина Петра III, Павла I, узников Петропавловской крепости...

Но, несмотря на строжайшие запреты, в аристократических кругах русского общества читались и переписывались как мемуары самой императрицы Екатерины II, так и воспоминания ее государственных деятелей, среди которых особый

интерес представляли записки Екатерины Дашковой — президента двух академий, близкого друга императрицы, попавшей впоследствии к ней в немилость, и статс-секретаря Екатерины II Александра Васильевича Храповицкого.

Можно представить, как тянулся Пушкин к подобного рода воспоминаниям. «Записки» Екатерины II Пушкин, вероятно, впервые прочитал еще в 1824 году в Одессе, когда он состоял на службе у графа Воронцова и получил возможность заниматься в его библиотеке.

Долгий период у литературоведов существовало мнение, что тогда же поэт собственноручно снял копию с этих записок и что именно эта копия находилась у него в кабинете в день его смерти и была опечатана вместе с другими рукописями. Жуковский и Дубельт в период разбора бумаг покойного Пушкина вели специальный журнал, куда тщательно заносили перечень просмотренных материалов. Этот журнал сохранился до нашего времени, и там под № 19 указано: «Секретные записки о жизни и смерти императрицы Екатерины II на французском языке в двух книгах». А когда 25 февраля императору Николаю I была представлена эта опись «всем бумагам покойного камер-юнкера», то любознательный до подобных рукописей монарх против «Записок» соизволил написать два коротеньких слова: «ко мне». Повеление государя, разумеется, было тотчас исполнено. И впоследствии, во всех предисловиях к дореволюционным изданиям «Записок» Екатерины II как в России, так и за рубежом, указывалось, что среди списков рукописи имеется и список, собственноручно снятый Пушкиным в Одессе в библиотеке графа Воронцова. Прошло много лет, и в 1949 году исследователь В. Н. Шумилов, изучая неразобранную часть рукописного собрания библиотеки Зимнего дворца, неожиданно нашел эту рукопись. Выяснилось, что она переписана не Пушкиным, а совсем другим лицом. Дальнейшие изыскания показали, что ее, по всей видимости, скопировал брат Натальи Николаевны Пушкиной Дмитрий Николаевич Гончаров в конце 1831 или в начале 1832 года, и что эта копия представляет собой уже четвертую редакцию «Записок», с множеством мелких отступлений от оригинала, который хранился под большим секретом в Государственном архиве.

«Записки» Екатерины II дали Пушкину богатый материал о жизни и деятельности многих выдающихся личностей второй половины XVIII века. Он почерпнул из них ценные сведения о секретных государственных делах. Многое дали эти мемуары и для формирования у Пушкина образа самой императрицы, портрет которой он создал в «Капитанской дочке».

Со многими мемуарами поэт познакомился при содействии князя Вяземского, у которого был особый «нюх» на подобного рода рукописи. Вяземский хранил их в Остафьеве, в своей секретной библиотеке, подальше от постороннего глаза, и позволял только самым близким друзьям пользоваться этими манускриптами.

Пушкина в истории больше всего интересовали личности, самобытные русские характеры — Петр I, Пугачев, Екатерина II, Радищев... Здесь проявилась особенная его черта — исследователя, историка, мыслителя — свежий, непредвзятый подход к событиям, вне зависимости от устоявшегося общественного мнения, официального взгляда или традиционного восприятия. Порой кажется, что Пушкин преднамеренно поднимает вопрос о том или ином человеке, роль которого в русской истории уже давно определена. Его интересуют также различного рода загадочные личности, незаслуженно забытые выдающиеся деятели, обойденные вниманием историка, исследователя... Так, например, среди героев войны 1812 года он заинтересовался скромной фигурой «зачинателя» Барклая де Толли. А интерес к заклейменному «злодею» Пугачеву вырастает у него в потребность создания беспристрастной исторической монографии о народном бунтаре. С этих же позиций он подходит и к личности В. Тредиаковского, и к судьбе Александра Николаевича Радищева, дерзостно восставшего против рабства.

Это имя официальные круги пытались предать забвению или говорили о Радищеве как о полубезумном сочинителе, одержимом странной манией. Основанием для таких рассуждений служило также и самоубийство писателя в 1802 году. Но в пушкинский период было еще немало людей, которые помнили Радищева в годы либеральных обещаний Александра I, когда опальный писатель работал в комиссии по составлению законов и подвергался новым угрозам со стороны председателя комиссии графа П. В. Завадовского.

Пушкин с жадностью слушал любые воспоминания о Радищеве, собирал материалы о нем. Интерес к этому человеку был настолько велик, что Пушкин не раздумывая покупает за 200 рублей первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву». История этой книги примечательна. Как известно, она стала библиографической редкостью сразу после выхода в свет в 1790 году, так как была запрещена, а успевшие разойтись экземпляры (всего было издано 650) конфисковывались полицией.

Пушкинский экземпляр особый. По всей вероятности, это была как раз та самая книга, на основании которой проводи-

лось судебное разбирательство дела Радищева. В пользу этого вывода говорят многочисленные пометы на книге, сделанные рукой Екатерины II, а также собственноручная надпись Пушкина: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачено 200 рублей». Мы не знаем, как удалось Пушкину раздобыть эту редкую, запрещенную книгу, да еще из недр такого грозного учреждения. Видимо, велико было желание поэта иметь собственный экземпляр «Путешествия...». После смерти Пушкина эта книга из его библиотеки исчезает. По всей вероятности, ее взял председатель опеки Г. Строганов, потому что именно Строгановы передают ее впоследствии в Петербургскую Публичную библиотеку, откуда она, уже в наше время, переходит на свое законное место — в Пушкинский Дом Академии наук, где и находится до сих пор.

Кроме этого редчайшего экземпляра «Путешествия...», у Пушкина находилась еще одна книга Радищева. В описи Б. Модзалевского она — под номером 309: «Радищев А. Н. Собрание оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева, части 1—6, выпущенные в свет иждивением издателей — П. А. и Н. А. Радищевых в Москве, в типографии Платона Бекетова, в 1807—1811 годах». Это первое посмертное и единственное легальное Собрание сочинений Радищева, напечатанное в типографии и под наблюдением одного из замечательных русских издателей начала XIX века — Платона Петровича Бекетова. Разумеется, в это издание «Путешествие из Петербурга в Москву» не вошло. Но, тем не менее, книга представляет большую редкость, так как, по свидетельству Смирнова-Сокольского, она не успела разойтись до наступления войны с французами и вместе с другими бекетовскими изданиями сгорела в Москве в 1812 году, во время знаменитых московских пожаров.

Отношение Пушкина к Радищеву до сих пор составляет предмет толкования и споров среди литературоведов и историков. Бесспорен повышенный интерес Пушкина к Радищеву. Поэт собирал все возможные сведения о Радищеве из самых разных источников. В его библиотеке под номером 282 описи Б. Модзалевского хранится том «Переписки Екатерины II с разными особами», изданный в 1807 году. Между 118—119 страницами положена бумажная закладка. В этом месте опубликовано письмо императрицы графу Брюсу о «Путешествии...» Радищева и о предании автора суду. Точнее — это два отдельных письма, соединенных вместе одной подписью от 13 июля 1790 года.

Другие сообщения о Радищеве Пушкин почерпнул из рукописи «Записок» Е. Р. Дашковой, которые ему давал чи-

тать Вяземский и на которых остались пушкинские пометы (теперь эта рукопись находится в ЦГАЛИ).

Из этих воспоминаний поэт сделал выписки о произведении Радищева «Житие Ф. В. Ушакова», написанном им в память о друге, умершем в молодости. Прочитав это сочинение, Дашкова немедленно пишет своему брату А. Р. Воронцову, под началом которого в Коммерц-коллегии с 1776 по 1780 год служил Радищев. Либеральный вельможа граф Воронцов, настроенный в те годы оппозиционно к Екатерине II, еще раньше оценил способности Радищева и приблизил его к себе. И вот Дашкова, прочитав «Житие Ф. В. Ушакова», решает предупредить брата о корыстолюбивых намерениях Радищева, которые она открыла при чтении. «Так как брат интересовался автором,— пишет она в воспоминаниях,— я сочла своим долгом предупредить его о том, что, казалось мне, я усмотрела в этой глупой маленькой брошюре: что, когда человек существовал лишь для того, чтобы спать, пить и есть, он не мог найти себе панегиристов, разве что в лице некоторых, охваченных безумием печататься при жизни, и что этот писательский зуд может привести его протеже к тому, что он напишет в будущем что-нибудь еще более предосудительное».

Скрытой полемикой с такой резкой характеристикой труда Радищева представляются нам пушкинские слова из статьи о Радищеве: «...Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21 году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений». Пушкина взволновали строки о кончине Ушакова, так как все, что касалось смерти, интересовало его. Он и сам впоследствии преподаст своим друзьям и родным урок, стоически выдержав предсмертные муки.

Дашкова нашла эту брошюру глупой, а Пушкин усмотрел в характере Ушакова много значительного, привлекательного.

Конечно, статьи Пушкина о Радищеве нельзя оценивать без учета его оглядки на цензуру. Министр народного просвещения С. С. Уваров в 1836 году запретил подготовляемую к печати в третьем номере журнала «Современник» статью Пушкина о Радищеве, хотя в ней не было ничего противоречащего основным взглядам на Радищева в царском окружении.

Пушкин старался написать вполне подцензурную статью и только позволил себе немного заступиться за Радищева, хотя и «политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестию». Но даже с такой, в общем вполне допустимой для тогдашних времен, характеристикой (ведь после выпуска «Путешествия...» прошло сорок с лишним лет) эта статья не смогла увидеть свет при жизни Пушкина.

Тем не менее нельзя всю пушкинскую характеристику Радищева сводить только к оглядкам на цензуру, только к желанию поэта во что бы то ни стало ввести в общество забытое имя Радищева. Слишком сильна аргументация Пушкина в разборе взглядов автора «Путешествия...» как в статье «Радищев», так и в полемическом очерке «Путешествие из Москвы в Петербург», слишком значительным и страстным представляется нам его критический запал. К тому же разбор произведений и личности Радищева ведется в этих статьях вполне в пушкинских публицистических традициях, в свете здравого пушкинского смысла, без лишнего пиэтета...

«Радищев... излил свои мысли безо всякой связи и порядка...» «Оно (слово о Ломоносове.— *В. М.*) писано слогом надутым и тяжелым». «В Пешках... Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофию. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным красноречием. Но замечательно описание русской избы... Очевидно, что Радищев начертал карикатуру; но он упоминает о бане, и о квасе, как о необходимостях русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: и начала сажать хлебы в печь».

Трудно согласиться, что эти и многие другие отрывки из статей Пушкина о Радищеве написаны исключительно из желания ввести в заблуждение русскую цензуру. Но нельзя не увидеть в этих работах поэта и уважения к Радищеву, неистовому врагу рабства.

Во имя исторической истины, а также в силу своего художественного темперамента, не воспринимающего односторонности и однозначности в оценке любой личности, Пушкин ищет разнообразные мотивы поведения, противоречивые черты характера даже у таких исторических деятелей, как временщик Бирон или создатель военных поселений граф Аракчеев. «Аракчеев также умер,— пишет поэт своей жене из Петербурга 22 апреля 1834 года.— Об этом во всей России

жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться».

В описи Б. Модзалевского библиотеки Пушкина под номером 240 помещена книга, написанная одним из значительных деятелей XVIII века обергофмаршалом Минихом. Это — его «Записки», изданные в 1817 году, в которых, наряду с любопытным биографическим материалом, касающимся самого Миниха и его семейства, содержатся интересные характеристики, портреты императрицы Анны Иоанновны и ее временщика Бирона.

По всей вероятности, именно эта книга способствовала пересмотру взглядов Пушкина на личность Бирона, который остался в памяти русских людей как злодей и губитель. Такой же оценки личности Бирона придерживается и создатель популярного исторического романа «Ледяной дом» Иван Иванович Лажечников, с которым Пушкин был в дружеских отношениях. 3 ноября 1835 года Пушкин пишет Лажечникову письмо, где среди многих лестных слов по поводу его романов есть и такие строки: «Может быть, в художественном отношении „Ледяной дом“ и выше „Последнего Новика“, но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно повредит вашему созданию... О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа».

Эти замечания Пушкина важны для нас тем, что показывают его взгляды на историю и историческую личность. Мы видим, как стремился поэт рассмотреть и событие и личность с различных точек зрения, основываясь в первую очередь на документах конкретной исторической эпохи.

Всякого рода подлинные документы прошедшего столетия представляли для Пушкина немалый интерес.

Небрежение автобиографическими и мемуарными записками вызывало в Пушкине горькие раздумья. Сколько неизвестных истории фактов и подробностей унесли с собой в могилу многие деятели екатерининских времен, находившиеся в гуще политических событий, игравшие значительные роли в общественной жизни России. Пушкин призывал своих друзей и знакомых браться за составление мемуаров, сам собирал и записывал исторические анекдоты, ездил по просьбе Вяземского к престарелому князю Юсупову, этому обломку екатерининских времен, и беседовал с ним о Фонвизине и графе Сен-Жермене. Сохранился рисунок Пушкина, на котором Юсупов изображен с палкой в руках, стоящим на полусогну-

тых от старости ногах. Собирая материалы о Пугачеве, Пушкин расспрашивал Ивана Андреевича Крылова, отец которого был капитаном в екатерининские времена и участвовал в обороне Яицкого городка от пугачевцев. Много интересного узнал поэт и от Ивана Ивановича Дмитриева, который в молодости был свидетелем казни Пугачева.

«Современники находили в Пушкине сокровища таланта, наблюдений, начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные»,— писал Александр Иванович Тургенев 30 января 1837 года. Пушкин знал о XVIII веке гораздо больше того, что он успел записать или рассказать.

Князь Н. Б. Юсупов.
Рис. А. С. Пушкина

Даже работая над сухим историческим документом, мемуарами, Пушкин оставался Пушкиным — с его проницательным умом, умеющим разглядеть характер мемуариста, индивидуальные, порой даже сословные черты пишущего. И тогда поля той или иной книги покрывались многочисленными заметками поэта. Пушкин вступал с автором в полемику.

Вот, например, труд сенатора Бибикова. Работая над историей Пугачева, Пушкин тщательно изучал его «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова, написанное сыном его, сенатором Бибиковым», изданные в 1817 году. А. И. Бибиков — государственный и военный деятель времен Елизаветы и Екатерины II. Во время подавления восстания Пугачева на него было возложено общее руководство екатерининскими войсками. Кстати сказать, под его началом в Казани находился и Г. Р. Державин, служивший тогда офицером. Бибиков довольно энергично взялся за дело, и вскоре войска Пугачева

были оттеснены от многих волжских городов, в том числе Симбирска и Самары. Но неожиданно в Бугульме в 1774 году Бибиков умирает, вероятно, не выдержав напряжения военных действий — переходов, боев... Вместо него был назначен граф Панин, действия которого оказались не столь блистательными, вследствие чего Пугачеву удалось поправить свои дела.

Пушкин очень внимательно прочитал эти воспоминания, и в том месте, где Бибиков сообщает, что Пугачев был якобы старшим сыном Ивана Измайлова, убитого в турецкой войне при Анне Иоанновне, пишет: «Вздор, взятый из глупого романа „Ложный Петр III“». Б. Модзалевский в своем описании библиотеки Пушкина отмечает два экземпляра этой, довольно редкой книги, напечатанной в Москве в 1809 году в вольной типографии Федора Любия. Один экземпляр — изрядно «потрепанный, в двух кожаных переплетах, другой — в кожаном переплете, совсем свежий, без заметок». Николай Павлович Смирнов-Сокольский в «Рассказах о прижизненных изданиях Пушкина» называет еще один экземпляр этой презабавной во многих отношениях книги, «который Пушкин расшил на листы», так как «некоторые официальные материалы — указы, манифесты, совпадающие по содержанию с подлинниками — поэт не переписывал, а брал из этой книги и наклеивал на страницы своей рукописи». В той же книге Смирнова-Сокольского приведен и фотоснимок с титульного листа «Ложного Петра III», а также гравированный портрет Пугачева и надпись под ним: «Я к ужасу привык. Злодейством разъярен, наполнен варварством и кровью обагрен». В соответствии с этой, вызывающей содрогание читателя надписью, сделан и портрет, не менее фантастический, чем сама книга. Но ни эта надпись, ни страшный портрет не смогли спасти книгу. Царское правительство, хотя и с несколько опозданием, но все же приказало сжечь ее, что, кстати сказать, только способствовало популярности романа.

О Пугачеве в то время было издано очень мало книг, да и те главным образом иностранные. Поэтому Пушкин, задумав свою историю Пугачева, просит друзей помочь ему в сборе материалов. Много интересных сведений он получил от историка Украины Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского, книги которого сохранились в библиотеке поэта. Мы можем точно указать, с какой целью читал Пушкин его «Историю Малой России от избрания Мазепы до уничтожения гетманства», так как в этой книге разрезаны только те страницы, где рассказывается о взаимоотношениях Мазепы и Матрены Кочубей, а также страницы примечаний, где помещены письма Мазепы к Матрене.

Личное знакомство историка Украины и Пушкина состоялось в 1834 году. Из их последующей переписки нам известно, что Бантыш-Каменский помогал Пушкину в сборе материалов о Пугачеве. «Желаю, однако ж, знать,— писал он в 1834 году,— не имеете ли Вы надобности в верном описании примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева, почерпнутых мною из писем частных особ к покойному моему родителю? — Если Вам нужна и биография, я могу выслать оную. При сем прилагаю рисунок с печати самозванца. Он представлен без бороды, вероятно, для большего убеждения легковерных в сходстве его с императором».

«Страшный» портрет Пугачева из книги «Ложный Петр III»

Из ответного письма Пушкина мы узнаем, что снимок с печати он уже отдал гравировать. А 7 мая 1834 года Бантыш-Каменский уже посылал Пушкину новые материалы о Пугачеве. «С нетерпением жажду,— заканчивает он одно из писем к Пушкину,— прочесть творение Ваше, при появлении оного в свет. Предмет весьма любопытный и наверное искусно обработанный Вами!»

Известно также, что при сборе материалов для «Истории Пугачева» Пушкин использовал и государственные архивы, доступ в которые он получил в конце 1831 года. Зная о том, что история «бунтовщика и злодея» Пугачева едва ли сможет получить одобрение царя и Бенкендорфа, Пушкин пускает слух о якобы возникшем у него намерении собирать материалы о жизни и деятельности А. В. Суворова. Так по крайней мере многие исследователи объясняют заявление Пушкина. Вероятно, личность Суворова тоже интересовала поэта, но ведь о ней в тот период было написано немало работ, а о Пугачеве почти ничего не было известно. Загадочность этой личности притягивала внимание Пушкина значительно больше, чем история жизни Суворова. Поэтому он и предпринимает дли-

тельную поездку по местам, где проходили интересующие его события.

* * *

Общее число названий книг, сохранившихся в пушкинской библиотеке и описанных Б. Модзалевским,— 1522, включая журналы и альманахи. Это приблизительно 3,5 тысячи томов на 14 языках. На художественную прозу и поэзию приходится 517 названий, народную словесность — 27, на критику и историю литературы — 86, историю — 412 (почти третья часть библиотеки!), философию и религию — 47, юриспруденцию — 20, на географию, статистику, путешествия — 125, естествознание и медицину — 16. Таким образом, книги по литературе составляют в целом от общего числа более 40 процентов, а общий объем книг, посвященных науке,— 30 процентов.

«Русских книг, как и следовало ожидать, оказывается немногим более трети — 529 названий, остальные по большей части — французские»,— пишет Н. О. Лернер, давая характеристику пушкинской библиотеке, описанной Б. Модзалевским.

Но существует еще один документ — опись 1837 года, сделанная сразу после смерти Пушкина. И мы можем судить, хотя и не в полной мере, насколько уцелела во времени его библиотека. В этой описи, например, обнаруживаются 187 книг, которыми владел Пушкин, но которые не сохранились в его библиотеке в силу разных обстоятельств. Возможно, некоторые члены опеки оставили себе часть книг, другие книги наверняка были взяты на память родными и друзьями поэта. Так, например, в библиотеке совсем не оказалось изданий самого Пушкина. По этому поводу, еще до обнаружения посмертной описи книг (она попала в коллекцию Бахрушина и была обнаружена в 1929 году), велись немалые споры. Некоторые из пушкинистов были склонны считать, что у поэта их и не было, ссылаясь на одно из его писем, где он, отвечая на просьбу Смоленской городской библиотеки прислать свои издания, пишет, что у него «не осталось ни одного экземпляра своих сочинений», а «дороговизна книг не позволяет» и думать о покупке. В описи 1837 года оказались такие книги, но, несовершенно составленная, она не дает нам возможности определить, какие именно издания своих произведений имел Пушкин у себя под руками.

Есть и такие книги в пушкинской библиотеке, которые отсутствуют в посмертной описи. Некоторые из них были привнесены в библиотеку позже составления описи теми лицами, в руках которых находилась пушкинская библиотека.

Это могли быть книги и сына Пушкина, Александра Александровича, генерала, участника освобождения славянских народов от турецкого ига, и внука поэта, тоже Александра Александровича. О других книгах, не сохранивших следов, имеются косвенные подтверждения принадлежности их Пушкину. Особую группу занимают книги, ждущие таких подтверждений. Их немало — 243 названия. Это произошло вследствие несовершенства описи, когда иная книга могла быть записана дважды, а другая вообще выпасть из поля зрения переписчиков. Загадок и проблем здесь немало, но уже то, что есть и твердо документально подтверждено, составляет значительный объем, содержит огромный драгоценный материал для исследователей.

Состав библиотеки разнообразен и богат. Преобладает, конечно, изящная словесность и история, много классики; среди писателей древности есть и второстепенные (об этом интересе Пушкина к незначительным авторам свидетельствуют его антологические стихотворения и наброски «Египетских ночей»). Хорошо представлена французская литература XVIII века.

Среди книг немало авторских подношений. Есть автографы Е. А. Баратынского, Н. И. Гнедича, А. И. Тургенева, И. И. Лажечникова, В. К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига, историка Н. Г. Устрялова, актера и драматурга В. А. Каратыгина, М. П. Погодина и многих других.

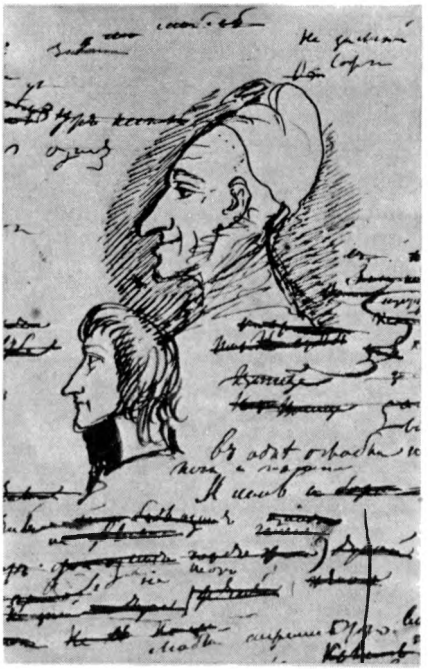
Некоторые из автографов предельно кратки: «Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения от...» или совсем просто: «А. С. Пушкину» и имя автора, переводчика или редактора. Так подписали свои книги М. П. Погодин — «Историю в лицах о Димитрии Самозванце», А. Ф. Вельтман — «Странника».

Интересен автограф-посвящение Адама Мицкевича, сделанный им на книге Байрона: «Байрона Пушкину посвящает почитатель обоих».

В пушкинской библиотеке сохранились также книги со стихотворными автографами-посвящениями. В 1828 году в Петербурге вышла в свет поэма Владимира Сергеевича Филимонова «Дурацкий колпак». На пушкинском экземпляре этой книги рукой Филимонова начертано следующее обращение:

Александру Сергеевичу Пушкину

Вы в мире славою гремите;
Поэт! В лавровом вы венке.



Рисунки А. С. Пушкина

Певцу безвестному простите:
Я к вам являюсь — в колпаке.

В. С. Филимонов не был очень искусным стихотворцем. Это был скорее любитель, чем профессиональный литератор. Не отличаются особой изысканностью и стихи его поэмы, каждая глава которой кончается характерными словами: «Дурацкий кстати мне колпак». Но тем не менее в этой, известной теперь только специалистам-литературоведам, поэме много истинного юмора, иронии, которая, как это далеко не часто бывает у литераторов, направлена на самого себя. Вероятно, эти редкие качества и привлекли к Филимонову внимание Пушкина, Жуковского, Вяземского. Получив авторское подношение в стихотворной форме, Пушкин моментально среагировал, написав свое послание В. С. Филимонову:

Вам Музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час,
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.
Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть
И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт;
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.
Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

Вероятно, эти стихи Пушкин читал 17 апреля 1828 года на вечере у Филимонова, устроенном по случаю выхода поэмы.

В те годы Пушкин еще не был женат и не имел постоянной квартиры. А свою, уже довольно обширную, библиотеку он хранил в сундуках и часто оставлял на попечение своих друзей и знакомых.

Однажды, после отъезда поэта из Москвы в Петербург, один из его знакомых, Л. Н. Обер (в доме которого Пушкин оставил сундуки, позволив в свое отсутствие рыться в них, пересматривая книги, нашел одно сочинение на французском языке с надписью, свидетельствовавшей, что книга эта была кем-то поднесена маршалу Мортье в 1812 году в Москве и осталась после бегства французов. Какими-то судьбами книга попала в руки Пушкина. Обер был очень удивлен и обрадован этим открытием, так как у него в библиотеке случайно оказался атлас к этому сочинению, тоже принадлежащий маршалу Мортье. Поэтому Обер, по возвращении Пушкина в Москву, подарил поэту недостающую в его коллекции часть издания, взяв в обмен книгу Успенского «Опыт повествования о русских древностях».

Изучая библиотеку Пушкина, поражаешься широте кругозора поэта, разнообразию его интересов. Так, например, под номером 284 в каталоге библиотеки Пушкина, составленном Б. Модзалевским, описана довольно знаменитая в то время книга А. Петрова «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игр Филидора и примечаний на оные». Этот своего рода учебник хранился у Пушкина в двух экземплярах. На одном из них имеется дарственная надпись автора: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения». Книга отпечатана в типографии Н. Греча в Санкт-Петербурге в 1824 году. В те годы шахматы стали довольно быстро распространяться среди гвардейских офицеров и литераторов. Из друзей Пушкина в шахматы любили играть Алексей Вульф и его дядя Павел Иванович Вульф, в имении которого под Торжком Пушкин прожил две недели в январе 1827 года. Воспитанница Вульфов Екатерина Евграфовна Синицына в своих воспоминаниях, записанных учителем из Твери В. Колосовым, оставила интересный рассказ о Пушкине-шахматисте. «Павла Ивановича он... выучил играть в шахматы... но только очень скоро тот стал его обыгрывать. Александр Сергеевич сильно горячился при этом, однажды он даже вскочил на стул и закричал: „Ну разве можно так — обыгрывать учителя“. А Павел Иванович начнет играть снова, да и опять с первых же ходов и обыграет его. „Никогда не буду играть с вами... Это ни на что не похоже...“ — загорячится обыкновенно при этом Пушкин». Из этого отрывка становится ясным, что сильным игроком в

шахматы Пушкин не был, но любил играть, увлекался этой игрой.

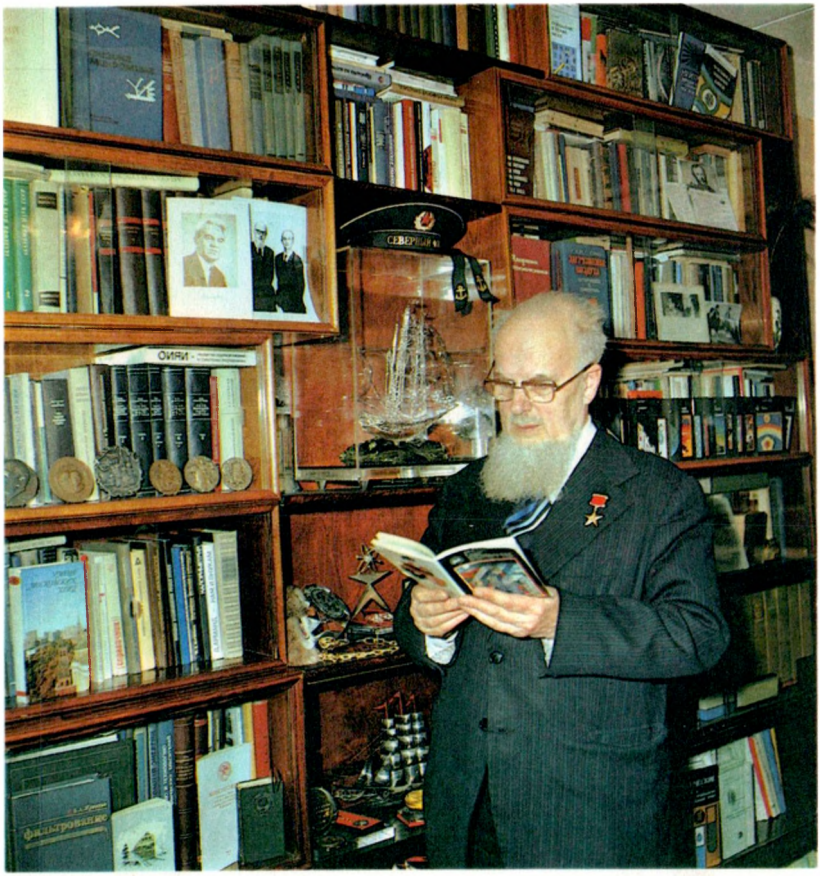
Трудно сказать, когда впервые он сел за шахматную доску. Может быть, в Лицее, или еще раньше, в доме отца, но подлинно известно, что свою последнюю в жизни партию в шахматы Пушкин сыграл накануне роковой дуэли с Дантесом. В воспоминаниях брата А. О. Смирновой-Россет, Аркадия Осиповича Россет, записанных известным пушкинистом Петром Ивановичем Бартеневым, имеются такие строки: «В воскресенье (перед поединком Пушкина) Россет пошел в гости к князю Петру Ивановичу Мещерскому (зятю Карамзиной, они жили у Вильегорских) и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином (Михаилом Вильегорским.— *В. М.*). Пушкин в этот вечер был очень весел, шутил с Россет, молодым двадцатилетним офицером. Рядом в гостиной была его жена со своей сестрой Екатериной Дантес... А позднее приехал дежуривший в этот день по полку Дантес. ,,Ну что,— обратился он (Пушкин.— *В. М.*) к Россету,— вы были в гостиной; он уже там, возле моей жены?" Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета и он отвечал, запинаясь, что Дантеса видел.

Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением двадцатилетнего офицера».

А по другим сведениям, Пушкин во время шахматной игры увидел входившего Дантеса и, только раз взглянув на него, промолвил, склонившись над шахматными фигурами: «Этот офицер сделает мне мат, я беру его» — и отнял офицера у Вильегорского, который подумал, что и вся фраза относится только к шахматной фигуре.

Многое становится ясным в жизни и творчестве великого русского поэта в процессе изучения книг его библиотеки, при анализе различных по времени кругов его чтения, при разборе его маргиналий, при определении его библиофильских вкусов и интересов. Научные открытия в этой области продолжаются. Ведь далеко еще не полностью изучена библиотека Пушкина, хранящаяся в Пушкинском Доме. До сих пор еще находят книги, которые держал в своих руках великий поэт. Некоторые из них он с щедростью истинного библиофила дарил своим друзьям и знакомым. Другие по тем или иным причинам затерялись в море житейском и только теперь, спустя много лет, вновь возвратились на свое место.

Из последних находок пушкинских автографов большой интерес представляют записи и рисунки Пушкина на русском

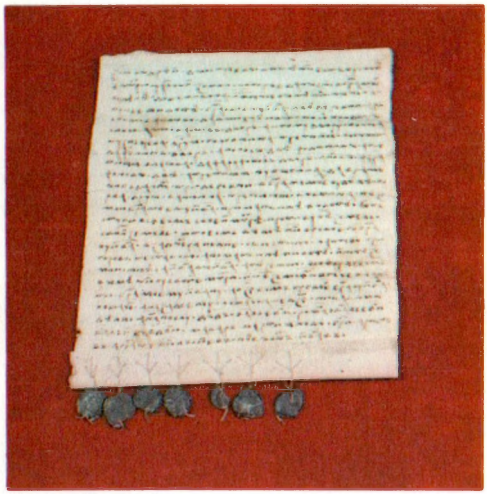


И. В. Петрянов-Соколов.

Книжные сокровища Ленинграда
(Из фондов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

Минея из библиотеки новгородского Софийского собора, 1370 г.
Житие Зосимы, Савватия и Герасима Соловецких. Список 1623 г.
Евангелие из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, XV в.

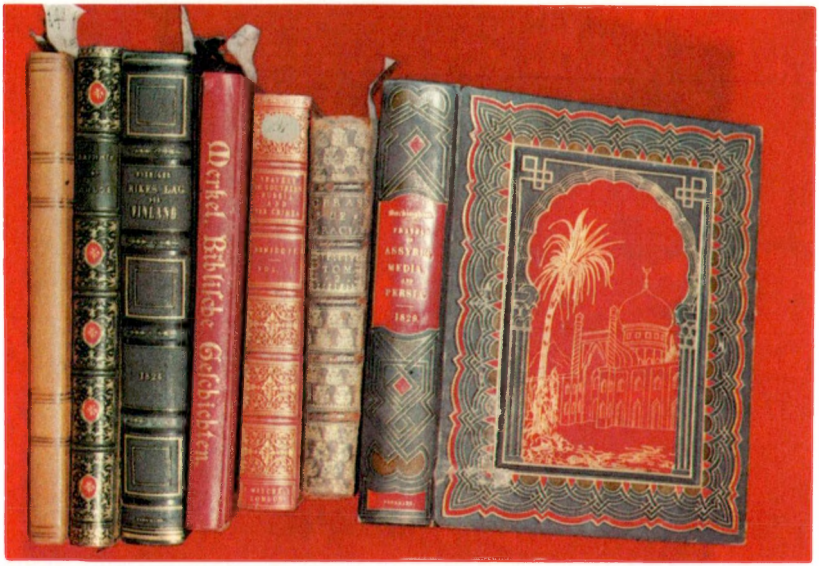
Опера Корнеля Дацетти, XVI в.
Апокалипсис.
Оттиски с деревянных досок, 1474
Календарь, или Месяцослов. Спб., 1714



Меновая грамота, XV в.

Прикованные книги

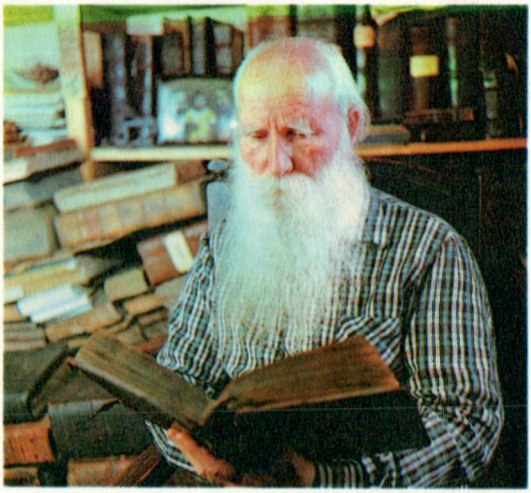
Рукописный альбом
с пятнадцатью акварельными рисунками
М. Ю. Лермонтова, 1825—1830.
Рисунок «Чета белеющих берез»



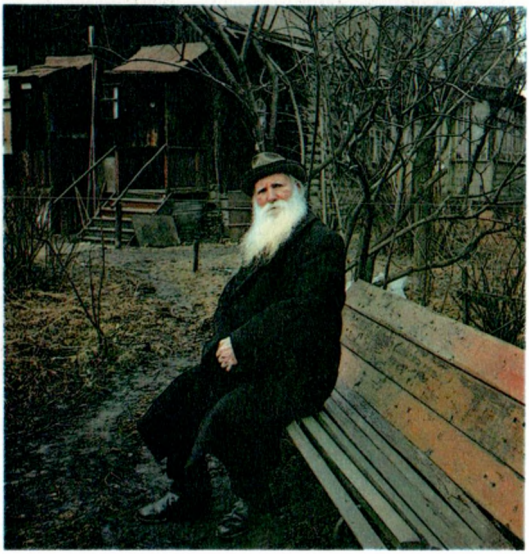
Образцы типографского и переплетного искусства XIX в.

Старопечатные и редкие издания XVII—XIX вв.
из фонда Государственной публичной исторической библиотеки

Старейший библиофил



Михаила Ивановича Чуванова называют патриархом московских библиофилов. Бывший типографский рабочий, он всю свою жизнь посвятил книге. В его домашней библиотеке насчитывается 20 тысяч томов — и каких! Редчайшими книгами и рукописями чувановского собрания могут свободно пользоваться ученые, писатели, книголюбы. В свои 92 года Михаил Иванович — активный участник и энтузиаст книжных встреч, библиофильских событий в нашей столице.

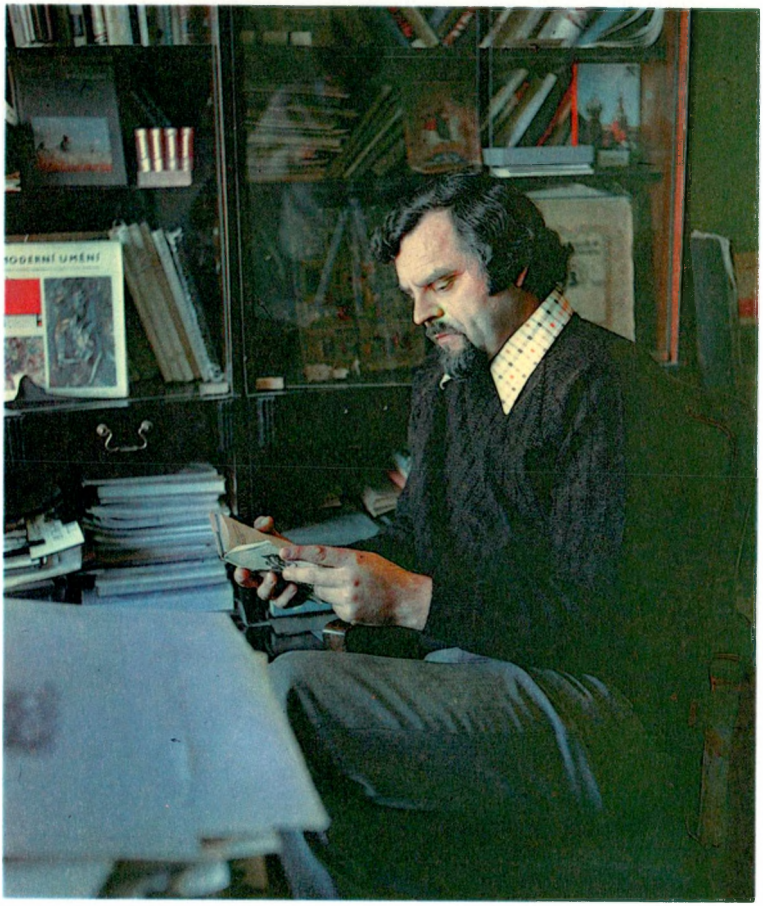


Фронтиспис книги Б. Дикса «Игрушки»

Иллюстрация к сказке «Деревянный орел».
Типографский контурный оттиск
с авторской раскраской.
Публикуется впервые

Разворот книги В. А. Жуковского «Как мыши кота хоронили»

В мастерской Владимира Вагина



Ты, играй, ты, играй,
Ты, играй, не боюсь.
Я тебя не заласкаю,
Ты не беспокойся.

Вот я, горн прокопаю,
Руто я буду вилушу.
Вот, рабно моё добро я —
Тебе, милый, несущу.

Чашки чисты, чай, душистый,
Кипяченая вода.
Кто нас с милёнком разлучит,
Тому чистая беда!

Раздайтеся,
Разойдитеся,
Кто моего милю любит —
Берегитеся!

Говорят, я шибко бойка.
Это верно — уразан.
На горячий камень встану,
Доровсего не отдуну.

«Уральские частушки»

«Скороговорки»

В мире мини-книг
(Из фондов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Спб., изд. А. Суворина, 1912
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». М., изд. С. Мамонтова, 1895

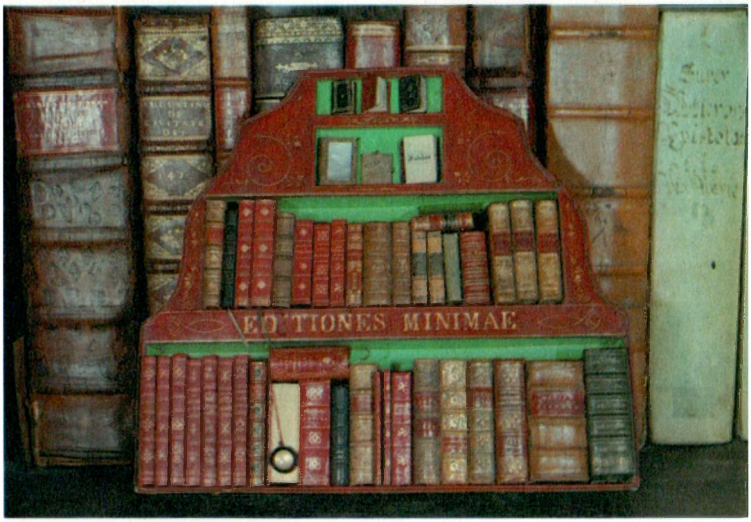
А. А. Сидоров. «Искусство книги». М., Книга, 1979

С. Есенин. «Лирика». М., Худож. лит., 1967

К. Маркс, Ф. Энгельс. «Манифест Коммунистической партии». Киев, Политиздат Украины, 1975

В. Каменский. «Стихи». Пермское книжное издательство, 1967

М. Горький. «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике». М., Худож. лит., 1957



Коллекция миниатюрных книг XVIII—XX вв.

Акварели М. А. Волошина

издании второй части романа Вальтера Скотта «Айвенго». Эта книга вышла в свет в 1826 году и называлась так: «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов». А попала она в Пушкинский Дом в 1963 году в очень плохом состоянии: титульный лист был оборван, листы хранили следы плесени, даже грязи. Видимо, книга долгое время лежала в сыром месте. На остатке титульного листа и на следующем листе видны еле заметные строки, начертанные рукой Пушкина. Такая плохая сохранность автографа объясняется тем, что поэт подписал книгу коричневыми орешковыми чернилами, которые недолговечны и быстро линяют.

«На титульном листе книги,— пишет ее исследователь Т. Цявловская,— наверху написано: „Ст. Петерсб".(слово записано сокращенно и сохранилось не полностью, бумага прорвана, и кусок ее выпал). Рядом, может быть, начало единицы (вероятно, была дата, но она не сохранилась), угол листка оборван. Следующая строка: „Александр Пушкин". Это запись поэта о принадлежности ему книги, сделанная, вероятно, при ее покупке. Ниже, справа, в край страницы написано: „Ал. Ал. Раменскому". Следуют четыре стихотворные строчки из „Русалки":

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора,
Уйти опять в пустынные дубровы
На берега сих молчаливых вод.

Под стихами дата: неотчетливо написанное число и месяц, и ясно написанный год: 1829. Ниже: „Грузины" и подпись: „Александр Пушкин".На следующем листе — зачеркнутые строки и рисунки: виселица с пятью повешенными; над ней весы; ниже — мужская голова в профиль. Характерные пушкинские рисунки».

Все эти данные удалось получить только после реставрации книги, проведенной сотрудниками фотолаборатории и лаборатории реставрации в Институте марксизма-ленинизма.

Книга была когда-то в хорошем переплете, светло-коричневой кожи, с вытесненным на нем характерным орнаментом пушкинской эпохи. От времени и от неблагоприятных условий хранения книга выбилась из переплета, да и сам он состарился и пожух.

Также было обнаружено, что когда-то в этом переплете находились обе части романа и что глава I открывает первую часть романа, а титульный лист с дарственной надписью относится ко второй части. Это открытие подтвердило догадку ученых о том, что едва ли Пушкин стал бы дарить книгу с

изображением казненных декабристов и какими-то зачеркнутыми строками. Вероятно, он подарил все четыре части романа, которые выходили отдельно в 1826 году, а надпись сделал на второй части, так как на первой была нарисована виселица.

Передал эту книгу в Пушкинской Дом Антонин Аркадьевич Раменский. Он нашел ее в подвале старой церковной сторожки села Мологино, в котором начиная с середины XVIII века из поколения в поколение учительствовали в сельской школе его предки — Раменские. «Книга была в грязи, масле, листочки склеились. В этой сторожке, по-видимому, заправляли тракторы, а может быть, и танки во время войны»,— рассказывает А. А. Раменский. У него тогда возникло желание найти остатки библиотеки своего деда. Он потратил на это много времени и нашел несколько интересных томов. Часть из них вместе с романом Вальтера Скотта он впоследствии, в 1962 году, перевез в Москву. И вот тут-то ему и удалось рассмотреть автографы на книге.

Из рассказов Антонина Аркадьевича видно, что его прапрадед Алексей Алексеевич Раменский дружил со многими русскими писателями. Он учился в Москве вместе с Радищевым и долго хранил о нем память, собирал исторические материалы для Н. М. Карамзина, когда тот работал над «Историей государства Российского». А уже Карамзин познакомил Раменского с Жуковским и Пушкиным, которые не раз бывали в Тверской губернии проездом из Петербурга в Москву. Недалеко от села Мологина находилось имение Полторацких, что под Торжком, где в тот период жил генерал-майор Константин Маркович Полторацкий. Пушкин знал многих Полторацких. Сестра Константина Марковича — Елизавета Марковна Оленина была матерью Анны Алексеевны, девушки, которой увлекался Пушкин в 1828 году и даже делал ей формальное предложение. А брат Константина Марковича — Петр Маркович был отцом Анны Петровны Керн. Весной 1829 года Пушкин заезжал в Грузины, где и встретился с гостившим там Алексеем Алексеевичем Раменским. Вероятно, тогда и был преподнесен Вальтер Скотт. Из сохранившихся записей, сделанных Антонином Аркадьевичем со слов его деда, становится ясным, что Пушкин с большой симпатией отнесся к провинциальному учителю, который рассказал ему много интересных историй из жизни своего края. В частности, история пушкинской русалки основана на рассказе Алексея Алексеевича Раменского. Сельский учитель поведал поэту реальный случай, происшедший с дочерью мельника села Бернова, и даже показал место, где стояла полуразрушенная

мельница. Теперь понятно, почему Пушкин написал на подаренной книге четыре строчки из «Русалки»...

В 1973 году Антонин Аркадьевич Раменский преподнес Музею А. С. Пушкина в Москве первый том романа «Постоялый двор» с автографами Пушкина и декабриста М. И. Муравьева-Апостола.

Роман написан бывшим губернатором А. П. Степановым, который с большим участием отнесся к ссыльным декабристам, попавшим в Енисейскую губернию, и старался по возможности облегчить их участь. Степанов не разделял взглядов декабристов, но имел доброе сердце и не мог остаться равнодушным к страданиям этих благородных людей. Покровительство декабристам было одной из причин его отставки в 1831 году. Возвратившись из Сибири, Степанов и написал свой роман «Постоялый двор», в котором использовал много личных воспоминаний.

Пушкин,без сомнения, читал эту книгу и хранил ее в своей библиотеке, иначе для чего ему было делать владельческую надпись? Он даже собирался поместить разбор этого романа в журнале «Современник». А впоследствии, зная о том, что такая книга сможет заинтересовать ссыльных Муравьевых, он передал ее Екатерине Федоровне Муравьевой — матери декабристов. В 1863 году, когда многие декабристы возвратились из ссылки, М. И. Муравьев-Апостол подарил внуку А. А. Раменского эту книгу. Дело в том, что А. А. Раменский некоторое время был учителем Никиты и Александра Муравьевых, когда они мальчиками гостили в имении Вульфов Бернове.

...Открытия новых пушкинских автографов — всегда событие огромного значения. И не обязательно оно совершается по воле случая при нахождении той или иной не известной исследователям книги. Некоторые пушкинские пометы померкли от времени, другие неожиданно раскрываются при реставрации книги, третьи — ждут своего комментатора, исследователя...

Научные работники Пушкинского Дома при содействии главного хранителя мемориальной библиотеки Риммы Ефремовны Теребениной продолжают исследование этого уникального хранилища.

Совсем недавно, в Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома за 1974 год, был опубликован отчет Р. Е. Теребениной о поступлении новых пушкинских автографов. Давая их краткое описание, Теребенина рассказывает и о находке реставратора рукописного отдела Р. П. Богатыревой, которая обнаружила в 1971 году неизвестные рисунки поэта, не

отмеченные Б. Модзалевским в библиографическом описании пушкинской библиотеки. Эти рисунки были начертаны на обложке журнала «Северный архив» — № 15 за 1824 год. На рисунках изображены две головы. Одна — мужская, несколько напоминает друга Пушкина Ивана Ивановича Пущина. Другая — женская, в профиль. Исследователи предполагают, что это портрет падчерицы Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф — Александры Ивановны Осиповой, в замужестве Беклешовой.

Новые открытия и... новые загадки.

А. Линьков

ДЕЛО ЖИЗНИ ЕГОРА ЕГОРОВА

В Москве в начале века был хорошо известен собиратель русских древностей Егор Егорович Егоров. Многим библиофилам, ценителям старины был знаком его дом в Салтыковском переулке.

Дом трехэтажный. На первом этаже что-то вроде гостиной-приемной, и здесь же библиотека книг гражданской печати, от времен Петра I до XX столетия. Книги, кажется, по всем гуманитарным областям знания, включая и русскую классику. Много периодики — для нее не хватает в шкафах места, и она лежит штабелями на полу: это материал «одноразового пользования», и собиратель, очевидно, его не ценит. Не то с книгами — он их бережет, держит за стеклом в 12 больших шкафах. Читает много, восполняя недостаток образования. Правда, самодеятельное чтение, без предварительного школьного образования — далеко не лучший способ приобретения знаний. Самоучка, по-моему, даже талантливый, отличается от рядового школьно-образованного человека — и, как правило, не в лучшую сторону. Недаром состоятельные самоучки предпочитали все-таки приглашать к себе видных ученых. Вспомним хотя бы Т. Н. Грановского, приватно читавшего лекции для двух слушателей: К. Т. Солдатенкова и И. Е. Забелина. Купеческий сын Егор Егоров, однако, не прибегал к услугам ученых и занимался своим образованием сам и, как видно, не так уж плохо, чему доказательством служит его собрание.

На втором этаже дома размещались старопечатные книги и рукописи. Там же с великой любовью хранились древние иконы — егоровское собрание считалось в 900-х годах одним из лучших, если не самым лучшим в Москве, по мнению тех немногих знатоков, которые удостаивались разрешения осмотреть его. На том же этаже хранилась церковная и бытовая старина: шитые покровы, пелены, облачения, изделия из

Е. Е. Егоров в кавказском костюме

цветных металлов и драгоценных камней.

Собирателем Егоров был самоотверженным, на средства не скупился. Так, подлинная рукопись «Поморских ответов» — памятник торжества старообрядческой полемики с государством — была куплена им за 2000 рублей. Интересно, что рукопись эта прежде находилась в библиотеке царя и какими-то неведомыми путями, через петербургского антиквара Кержакова, была продана Егорову. Псалтырь древняя (XIV века) на пергамене была приобретена у Силина за 4000 рублей. Примерно такой же древности Евангелие на пергамене куплено у Шибанова тоже за 4000. Иногда платились и более крупные суммы — за икону Владимирской богоматери (складень) XVI века, находящуюся в настоящее время в Третьяковской галерее, заплачено было однофамильцу собирателя генералу Егорову 18 000 рублей...

В воскресенье в сопровождении «молодца» Егор Егорович шел на Сухаревку, где был фигурой известной.

Многое приносилось Егорову и прямо на дом. Носили служащие крупных магазинов, по заказам. Приходили и «холодные букинисты» (звавшиеся так по некоему тождеству с «холодными сапожниками», ремонтировавшими обувь прямо на улице и всю «мастерскую» свою носившие в сумке; у этих книжников весь «магазин» тоже был под мышкой). Приезжали владельцы старинных вещей и книг со всех концов России.

Своим собирательством Егоров охватывал всю русскую древность, во всей ее многоплановости, и в этом — его заслуга перед русской культурой, перед нашим пониманием истории...

Смерть собирателя была трагической — его убили грабители. По окончании следствия все ценности из дома были вывезены — частично в Румянцевский, частично в Исторический музей. Старопечатные книги и книги XVIII столетия

попали в Московскую публичную библиотеку, не создав там особого фонда, а остальные разошлись по другим библиотекам Москвы и периферии.

Около 40 егоровских икон находятся сейчас в Третьяковской галерее, около 50, подаренных еще самим собирателем,— в Государственном Историческом музее.

Рукописное собрание Е. Е. Егорова, попавшее в Румянцевский музей, сохранилось до наших дней в неразрозненном виде как «фонд Егорова». В нем — 2076 рукописей, с XIV по XX век. Не имея возможности в короткой статье рассмотреть все сокровища фонда, попробую хотя бы перечислить его разделы в том порядке, в каком они описаны Отделом рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Первый раздел можно назвать историческим, в нем 24 «Хронографа» XVI—XVIII веков, два «Кратких летописца» XIII и XVI веков, «Русский летописец» XVII века, очень редкая «Временная летопись Георгия Мниха» XVI века, пять «Временников» Георгия Амартола XVI—XVII веков, две «Степенные книги», восемь рукописей, посвященных «Стоглаву», «Соборное уложение» 1649 года, «Родословец великих князей», «Государственный летописец польских дел», «Книга Чиновная — походы на службу вел. кн. Ивана Васильевича», «Хроника Литовская» Матфея Спушковского, «Московская история до Столбовского мира» XVIII века, «Послание патриарха Московского Иосифа к датскому королевичу Вальдемару», «Записки» И. В. Лопухина 1821 года, «История Соловецкого монастыря» (рукопись — около 1800 года). Сюда же следует отнести и «Синопсис» (сборник кратких выписок из различных летописей и хроник) Матфея Властаря — XV века. Оканчивая далеко не полностью перечисленный исторический раздел, дописываю к нему же «Хождение Даниила игумена» и «Хождение Трифона Коробейникова» — две рукописи, одна из них XVII века.

Изобильно в собрании представлены сказания и повести, такие как «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Повесть о взятии Царьграда», «История о Казанском царстве», «Сказание Авраамия Палицына», «Сказание како Кирилл составил азбуку» — рукописи XVII века. Шесть сборников разных сказаний и повестей, из которых один лицевой XVIII века. Больше 130 различных сборников поучений и нравоучительных наставлений, среди которых такие любимые нашими предками, как «Пчела», «Альфа и Омега», «Бисер многоцветный», «Зерцало», «Златая цепь», «Измарагд», «Златоструй», «Маргарит», «Цветник». К той же нравоучительно назидательной литературе можно отнести и 18 различных «Патериков».

В собрании неплохо представлены творения русских публицистов и церковных деятелей Максима Грека, митрополита Московского Даниила, Петра Могилы (его «Лифос»), Захарии Копыстенского, братьев Лихудов, Стефана Яворского и других.

Стоит упомянуть и сорок «торжественников» — сборников Слов на различные праздники. Составленные по всем правилам риторики, иногда даже в стихах, эти тексты могут быть отнесены скорее к художественной, чем к церковной литературе, тем более, что непосредственно в богослужении они не употреблялись. Особый интерес представляют торжественники, написанные поморами (например, С. Денисовым).

Много в собрании всевозможной учебной литературы и лечебников, дающих понятие о науке и учености в Древней Руси. Вот их неполный список: четыре «Лечебника» (XVII—XIX веков), «Книга Барония» (римский церковный историк XVI века, писавший о древней церкви), «Арифмалогион, сиречь численная наука», десять «Азбук», три «Сборника изречений» (алфавитных, носивших обычно название «симфоний»), «Риторика и философия учебная», «Сборник риторический Козьмы, диакона Афоноиверского», «Философия» Андрея Христофорова, «Философические, грамматические и риторические творения» Иоанна Дамаскина, «Риторика» Стефана Яворского, «Космография» — 14 рукописей, из них 5 — Козьмы Индикоплова, «История древних государств» Мельгунова, «Азбука певческая» — на крюковых нотах, «Наука каббалистическая» Раймонда Люллия...

Я не упомянул здесь громадное количество полемической рукописной литературы, входящей в фонд Егорова; но и названного достаточно, чтобы иметь представление о его размерах и значимости.

Жаль, что Егоров не оставил письменных свидетельств о себе самом, о своем деле жизни. Но остались книги, осталась память...

Юрий Мельников

САВКИНА ГОРКА

...Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.

А. С. Пушкин

1.

Над лесами, полями
В даль плывут облака,
А внизу, а под нами
Напластались века.

Археолог заглянет
В глубь седую,
и вот
То кольчугу достанет,
То браслет извлечет.

И листает, как повесть,
Век за веком рука...
В черепки раскололись
О планету века.

Где спрессовано в крохи
Время,
сжато в пласты,—
По деталям эпохи
Узнаются черты.

Возвышались, как царства,
Охраняя тылы,
У границ государства
Крепостные валы.

Взять их с ходу пытались
В трудный,
В горестный час,
Но о них разбивались
Чужеземцы не раз.

...А внизу по долине
Вьется Сороть-река,
Отстояли дружины
Русский край от врага.

У реки удержала
Крепость
русичей рать,
Но осталось немало
На холме их
лежать...

Рощи слева и справа,
Луг и поле окрест.
И поставил поп Савва
Серый каменный крест

Над глубокой могилой
В тыщедавнем году
Под развесистой ивой
На холме, на виду.

2.

Над лесами в тумане
Пробивалась заря.
И селились славяне
Здесь в ту пору
не зря.

Привлекала их взоры
Красота этих мест:
И холмы, и озера,
И долины окрест.

Облюбован недаром
Был, как будто вчера
Этот край
Ганнибалом —
Арапом Петра.

В те далекие лета
Ощущал только тут
Мудрый прадед поэта
Тишину и уют.

Пусть впервые согрела
Мать поэта не здесь,—
Родословного древа
Ветвь
над Соротью есть.

И от шума и гула
Для стихов, для труда
Не однажды тянуло
Вольнодумца
сюда,

Где у каждой деревни,
У холмистой гряды
Есть истории древней
Нашей, русской
следы,

Где у Сороти тихой
На полях между дел
Барства дикого
лихо
Он тогда разглядел.

И душе было горько,
Как в крестьянской избе...
Рядом Савкина горка
Вновь манила к себе,

Где и слева, и справа
Луг и рощи окрест...
Где поставил тот Савва
Серый каменный крест.

Крепость древняя эта,
Этот каменный вал
Поднимали поэта,
Словно
на пьедестал.

Тут он снова и снова
В даль подолгу глядел,
Может быть, Годунова
Он отсюда узрел.

Может, путь поколенья
Разглядел
среди гроз...
Сколько строк вдохновенья
Он отсюда унес?!

Чтоб читали потомки
Эти строки потом,
Чтоб в столетьи
потемки
Озарялись огнем,

Чтоб горячие строки
Зажигали сердца,
Чтобы век тот
жестокий
Заклеймить до конца.

3.

У заросших окопов
Вновь на взгорье стою.
Холм
и гибкие тропы
Рядом с ним узнаю.

И в минуту,
В мгновенье,
На вершину маня,
Этой встречи
волненье
Охватило меня.

По тропе, мимо стога,
Разомлев от жары,
Поднимаюсь высоко
На вершину горы.

Мне подъем не помеха,
Лишь открылась бы даль...

Я двадцатого века
Обнаружил деталь.

Не мастак-археолог
В глубине и во мгле,—
Бывший воин,
осколок
Я нашел на земле.

Та деталь всколыхнула
Снова память мою...

Орудийные дула
Раскалялись в бою.

Мы наставшему миру
В пору тяжкую ту
Возвратили и лиру,
И земли красоту,

Где и слева, и справа
Луг
и рощи окрест,
Где поставил
тот Савва
Серый
каменный крест.

В жарких битвах осилив
Чужеземца-врага,
Мы вернули России
И былые века.

Наступали сквозь пули,
Сквозь огонь батарей,
И с землею вернули
Мы
историю ей.

Петру Дудник

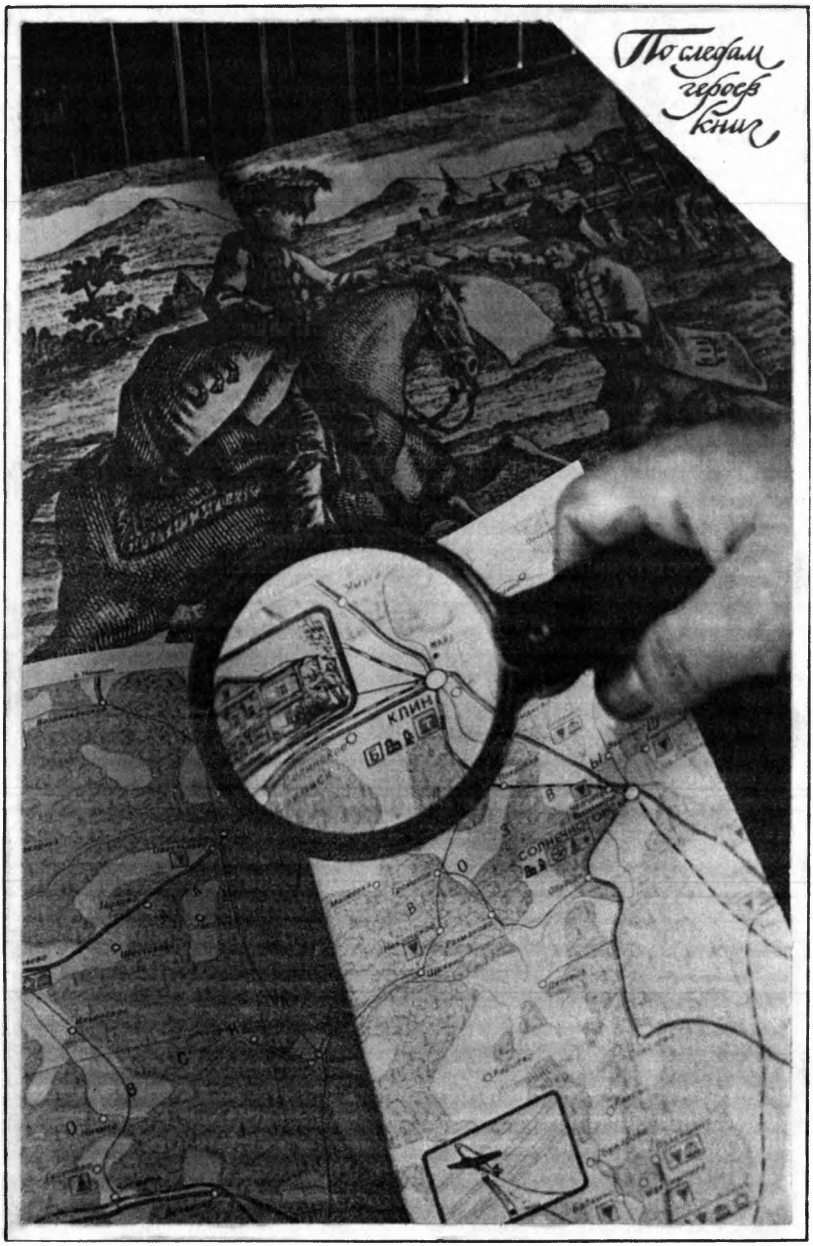
ЧИТАЯ ЕСЕНИНА

Луна посредине леса,
Вечереющего, осеннего,
Опускается в кроны, склоненные
Под тяжелой ношей заката.
И тихо поют березы,
Повторяя стихи Есенина,
Словно поют все женщины,
Что любили его когда-то.

Говорят, есть тропа Есенина
В каждой северной скромной рощице,
Где так сладко ручьи напевают,
Словно знают молдавские дойны,
Где царит красота бессмертная,
От которой и вправду хочется,
Чтоб душа все людские тяготы
Пронесла через жизнь достойно.

Шелест лунный скользит по листьям,
И сверчок напевает тоненько,
И такая ночь, от которой
Воспарить могу и пропасть я.
А душа все ширится, ширится,
Как есенинская гармоника,
И все кажется, что и вправду
Задохнусь я сейчас от счастья.

Перевод с молдавского Михаила Яснова


По следам героев книг
КЛИН
СОЛНЕЧНОГОРСК

Маргарита Ломунова

«Я ОБЯЗАН ИСКАТЬ СВОЕ...»

За Байкалом, в Бурятии, немало встретится старых русских сел. Обратят на себя внимание темные избы, перегороженные особо, по раскольничьему, семейскому обычаю на две половины. Нет-нет мелькнет на сельской улице старуха, одетая в широченный яркий сарафан, покроя непривычного для жителя срединной России...

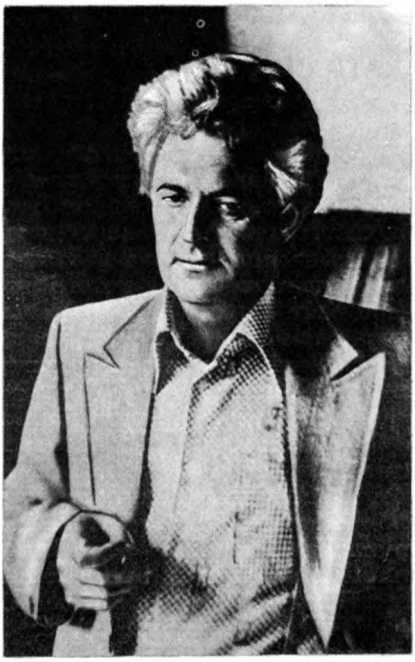
Здесь, в селе Шаралдай, в старообрядческой семье родился и вырос писатель Исай Калистратович Калашников.

Его сверстники не успели на войну, но «война все-таки опалила своим суровым дыханием. Они рано взрослели, брали на себя заботы старших, поздно, чаще всего самостоятельно, получали образование»,— писал спустя годы о своих сверстниках И. Калашников.

Вместе с другими ребятами он работал в те годы на ферме.

...Спускались на Тайшихину падь сумерки. Перед взором ребятишек проносились огневые годы революции. За старшего был у них Афанасий Филиппович Архипов. Человек замечательный, хоть и грамоте мало обучен. В красногвардейском отряде сражался под командованием Сергея Лазо. Партизаном воевал против семеновцев. Живой, настоящий герой жил среди ребят. Несомненно его влияние на будущего писателя. Архипов привил вкус к труду, научил спокойно переносить трудности. А вечерами рассказывал ребятам геройские партизанские были. Рассказы пробуждали в душе интерес к истории родного края, к необычайной судьбе своих земляков.

В 1950 году семья Калашниковых переезжает в Итанцинский леспромхоз. Здесь их встретила уже другая — лесная Бурятия. Она придет впоследствии в книги И. Калашникова «Подлесок», «Через топи», даст новые темы творчеству. Могутный лес вплотную подходил к поселковым избам, этажами громоздился на горах. Где-то там, у горного озерца, зачиналась



И. К. Калашников

речка Итанца, несла свои чистые воды к селу Кома. В этом селе и обосновались Калашниковы. Были они люди дружные, работящие. Быстро срубили избу, хозяйство наладили. Вскоре привел Исай в итанцинский дом жену, местную, сибирячку.

Вначале он работал на валке леса, погрузчиком, позже перешел в мастерские.

Лесосека находилась в 25 километрах от Комы, в Узкой пади. Место глухое. Но молодежь жила интересно. Часто после работы пешком отправлялись в сельский клуб — пели в хоре, танцевали. Исай в эти годы — секретарь комсомольской организации на участке леспромхоза. Ребята шутили над его пристрастием к книгам: на ходу читал, в столовой, в любую свободную минуту. Поистине огромная была у юноши тяга к знаниям. Всего четыре класса окончил в Шаралдае. Здесь, в Итанце, сдал экстерном за девять, поступил в вечернюю школу, в десятый класс.

Учитель итанцинской школы Е. Н. Романовский, ставший одним из прототипов известного романа И. Чернева «Семейщина», рассказывал автору этих строк о своих встречах той поры с будущим писателем. Было это в 1951 году. Как-то Евгений Назарович задержался в школе до позднего вечера. Вдруг в учительскую входит парень лет 19-ти, спрашивает, нельзя ли взять какую-нибудь книгу из школьной библиотеки. «Ключи от книжных шкафов были у меня. Открываю один, другой — все читал. Я удивился: простой рабочий парень, за плечами всего 4 класса, а успел прочитать так много. Это был Исай Калашников. Он рассказал мне о своем детстве, о Шаралдае... Я любовался, глядя на него. Одетый просто, в хлопчатобумажный пиджачок, он был красив особенной, чисто русской красотой...»

Евгению Назаровичу, принимавшему в свое время деятельное участие в преобразовании семейского села, Исай Калистратович первому принес рукопись своего романа. Это был начальный вариант «Последнего отступления». Калашников уже печатается в республиканских газетах. Его очерки рассказывают о труде леспромхозовской молодежи, о горячих днях комсомолии.

Первый рассказ — «Сашка» был опубликован в «Бурят-Монгольской правде» в 1954 году. Позднее его перепечатал журнал «Сельская молодежь», и автор получил премию журнала. В основу рассказа легли шаралдайские впечатления, один из эпизодов жизни на ферме. Пастух, парнишка еще, спасает телка, рискуя жизнью... Сюжет незамысловат, но уже в первом, еще ученическом произведении чувствуется интерес начинающего писателя к внутреннему миру человека.

Уже через пять лет журнал «Свет над Байкалом» публикует его роман «Последнее отступление». Архив И. Калашникова позволяет судить о большой подготовительной работе, которую вел начинающий литератор. Вел вдумчиво, профессионально. Тщательно изучал документы периода революции и гражданской войны в Забайкалье. В школьные тетради аккуратно внесены характеристики персонажей будущей книги, описаны их внешность, свойства натуры... Вычерчены схемы новых метрических систем, диаграммы... Здесь и выписки из протоколов крестьянских собраний, судов в Мухоршибирской волости.

Глубокое знание психологии семейского крестьянина, истории своего края позволили молодому автору создать правдивое произведение о гражданской войне в Забайкалье.

Произведение многими нитями связано с колыбельными местами писателя. Когда, спустя годы, в Шаралдае состоялась читательская конференция по «Последнему отступлению»,— земляки узнавали односельчан, ставших прототипами романа. На улице Сухарной, где жила и семья Калашниковых, стоял домик «посельги» — поселенца, ссыльного революционера, учителя. Здесь и жил с дочерью.

Для молодого автора уже в первом его большом произведении характерно внимание к сфере нравственной. И в «Последнем отступлении» и в следующем романе о семейщине — «Разрыв-траве» (этот роман был удостоен премии Бурятской АССР) писатель, отображая жизнь забайкальского крестьянства в переломные исторические моменты, прослеживает изменения в психологии его на примерах отдельных человеческих судеб. И это отличает названные произведения И. Калашникова от романа И. Чернева «Семейщина», воссоздавше-

го хронику важнейших событий в жизни семейского села примерно того же периода.

Населенные разными действующими лицами, «Последнее отступление» и «Разрыв-трава» составляют как бы дилогию, объединенную одной идеей: переход старообрядческого населения в Забайкалье на сторону Советской власти был неизбежен, подготовлен всем ходом исторического процесса.

Работая над романом «Разрыв-трава», писатель, по его признанию, все больше убеждался, что все в этом мире взаимосвязано, взаимозависимо — судьбы людей и судьбы народов, прошлое и настоящее, понимать действие механизмов этих связей, зависимостей — значит, яснее видеть суть настоящего и зачатки будущего.

И, начиная рассказ о работе И. Калашникова над главным трудом его жизни — романом «Жестокий век», нельзя вновь не подчеркнуть ту огромную роль, что сыграла в его жизни книга.

В Шаралдае мне довелось встретиться с первой учительницей Исая Калашникова. До сих пор она помнит, как во время уроков не раз отбирала у мальчугана заветный том — «Петр I» Алексея Толстого... Эта книга, а также исторические романы Чапыгина, Злобина, труд по истории русского государства Соловьева — были и до конца дней остались любимыми произведениями писателя. В этом Калашников неоднократно признавался сам...

Но почему же он обратился к той, отдаленной многими веками поре? Какие уроки хотел извлечь из прошлого?

Сам писатель так трактовал замысел романа: «Находились и находятся люди, стремящиеся доказать, что грабительские войны Чингисхана были благом для народов, что они освободили их от застоя, вывели на путь внутреннего обновления. Несущий гибель — гибнет и сам — такова одна из основных мыслей романа».

Показать историческую обреченность идей мирового господства стало задачей художника. Историческая тема обрела современное звучание.

В советской литературе эпоха захватнических войн Чингисхана ранее нашла отражение в известном романе В. Яна «Чингисхан».

Произведение увидело свет перед самой войной, в 1939 году. Целью Яна было раскрыть, что несет людям фашизм. В Европе полыхала война, зловещая фигура Чингисхана отождествлялась с фигурой Гитлера. Разоренные города, страх и смерть... Прочитав роман, мы вправе были задать себе вопрос: человек ли это? Маньяк, захвативший власть?

Отдавая должное роману Яна, его значению в осмыслении той эпохи, И. Калашников видел, что Ян не исчерпал всех возможностей темы, ибо перед читателем предстал человек зрелый, со сложившимся характером, с определившимися убеждениями. Ян взял последний период жизни Тэмуджина.

«Мне,— говорил И. Калашников,— захотелось проследить его судьбу; как, в каких обстоятельствах складывался его характер, как обстановка влияла на формирование личности».

Откуда взялся «истребитель народов»? Что породило его? Вот вопрос, который волновал писателя. Вопрос актуальнейший в наши дни, ибо человечество тревожат судьбы мира.

И. Калашников понимал ответственность стоящей перед ним задачи. В письме к писателю К. Горбунову 16 июня 1971 года он пишет:

«А пока у меня в плане поездка в Монголию... Дело в том, что я работаю сейчас над романом о Чингисхане...

Вас, возможно, удивит, что меня шарахнуло в такую глубокую историю. Мне представляется, что мы должны знать как можно лучше, глубже Восток, его прошлое и настоящее. Кроме того, сама фигура Чингисхана чрезвычайно интересная, а история его жизни поучительная...

Тема трудная, сложная, чрезвычайно обширная, у меня нет уверенности, что вещь получится. Но памятуя о том, что лучше подняться один раз на гору, чем десять раз на холмик, я выбрал гору, стою перед нею, задрав голову, от страха сосет под ложечкой, но оттого, что страшно, еще сильнее хочется взобраться на эту кручу».

Работа начата. Трудно идет. Вот он записывает в дневник 18 февраля 1971 года: «Застой. Никак не могу начать 3-ю часть... Писать возвышенное сказание я не намерен. Мне хочется сделать вещь так, чтобы казалось — события происходят сегодня. Разумеется, окраска, колорит должны быть. Это все в очень умеренных дозах. Главное — внутренняя психология и те вопросы жизни, которые важны и сейчас, спустя семь столетий».

Роман «Жестокий век» воскрешает эпоху владычества Чингисхана, сложный процесс объединения враждовавших между собой племен в империю кочевников, империю, принесшую народам муки и страдания, в борьбе с которой через столетия окрепнет историческое самосознание русского народа.

Судьбы многих племен и народов пройдут перед читателем. События обоймут огромную территорию от степных просторов Монголии до стен Киева, от предгорий Тибета до южной Сибири, воскресят мрачную эпоху завоевательских походов Чингисхана.

Роман состоит из двух книг — «Гонимые» и «Гонители». В самих названиях — процесс деградации личности Тэмуджина, суть той роли, что сыграл он в истории.

В годы кровавой племенной вражды проходят детство и юность Тэмуджина, полные невзгод и лишений.

«На данном этапе,— записывает в дневнике И. Калашников,— мне нужно вызвать сочувствие к Тэмуджину, показать, что его действия были продиктованы добрыми целями. Это первая половина его жизни».

Тэмуджин — сын прославленного багатура Есугея. С молоком матери впитал он: их род богат и знатен. Смерть отца перевернула жизнь семьи. Как последний раб, ходит Тэмуджин с деревянной колодкой на шее.

В эту полосу бедствий одно лишь желание у Тэмуджина: отомстить за боль, за обиды и — обрести покой. Покой для себя, для близких своих. Вот мечты его, гонимого, спасающегося от преследований: «Он станет жить просто, присматривая за стадом, охотясь. Много ли человеку нужно — покой и пища. Степь велика и просторна, люди могут жить, не мешая друг другу». Но сам жестокий век воспитывает Тэмуджина: «Или покоряйся другим, или покоряй сам». И Тэмуджин приходит к убеждению: он сам должен стать сильным; будь у него сила, он избавил бы людей от того, что пережил сам,— от страха, голода, унижения. В этот начальный период деятельности Тэмуджина многие люди поддерживают его, идут за ним.

Психология Тэмуджина меняется не вдруг. Еще преследуемый, гонимый, совершает он свое первое преступление против человечности. Это — убийство двух воинов Таргутай-Кирилтуха. Да, это враги, они посланы схватить Тэмуджина. Но ведь — обезоружены. Их конец без пищи, без воды в пустыне — предопределен... И все-таки Тэмуджин догоняет пеших, обессиленных, и — убивает их. Жестокость бессмысленная, не вызванная необходимостью. Скоро она станет оружием в руках Тэмуджина.

Недалекое будущее рисуется молодому Тэмуджину так: пусть равны будут нойоны, но над ними, как вечное небо над всем живущим, возвысится кто-то один — мудрый и справедливый, хранитель правды, способный уже одним тем, что он есть, гасить раздоры, осаживать заносчивых, подбадривать оробевших. Этот путь он и выбирает, и кажется он Тэмуджину иным, нежели тот, на который толкает его шаман: покорять сильных, чтобы самому стать сильнейшим. И ненависть его к шаману, сначала неосознанная — это ненависть, рожденная стремлением обрести всю полноту власти, не деля ее и со служителем неба.

«Человек, не вольный в своих поступках,— раб. А разум раба сонлив и немощен». Раз и навсегда утвердившись в этой мысли, Чингисхан отныне переступает через все и вся. Жизнь не раз будет ставить его перед необходимостью нравственного выбора. Но теперь легко оправдать любой поступок. Страшная философия «сверхчеловека», взятая на вооружение фашизмом!

Бредовая идея покорения мира овладевает им. «Не я ищу войну, она ищет меня. И так будет, пока мир не покорится одному владетелю». «Все вы рождены,— говорит он сыновьям,— чтобы править народами». «Будьте безжалостны с теми, кто считает себя хозяевами этой земли. Люди — трава. Этих побьешь, другие вырастут. Но эти другие будут знать, что властелин на земле — один».

Мановением его руки истребляются целые племена. Это уже не стихийное проявление жестокости, а целенаправленное уничтожение народов, способных к сопротивлению. Его уже обременяет строгий взор матери, которым раньше он поверял свои поступки. Он уже не верит ни в дружбу, ни в родство. Только страх, считает он, удерживает людей под одной рукой: «Всели страх в сердце человека, и он твой раб».

До наших времен дошли разоблачительные документы — послания Чингисхана даосскому философу Чан-Чуню в годы поисков эликсира бессмертия. Покоритель вселенной, залив кровью земли, перечисляет свои заслуги перед вечным небом и, как ни парадоксально, перед человечеством: «...я совершил великое дело и во всех странах света утвердил единодержавие... За непокорность владетелей я громлю их грозно... Я употреблю силу, чтобы достигнуть продолжительного покоя временными трудами, надеясь остановиться, как скоро сердца покорятся мне. С этой целью я несу и проявляю грозное величие и пребываю среди колесниц и воинов... Я смотрю на народ, как на детей... мы в начинаниях согласны, взаимная любовь у нас издавна... Прошу тебя подвигнуть святые стопы твои. Не думай о дали песчаных степей... Сообщи мне средства сохранения жизни. Я сам буду прислуживать тебе».

Здесь в письме, в документе этом, идея единовластия излагается Чингисханом как внушенная небом великая цель, осуществляемая лишь ради блага человечества. Потому-то он, Чингисхан, заслужил вечность.

Исай Калашников в своем романе обнажает подоплеку этих страстных стремлений обрести бессмертие. Нет, не ради блага людей, не ради покоя и благоденствия их печется Чингисхан о волшебном элексире. Узнав правду, чувствует себя обманутым. Как же так, он «избранный небом», состарится и умрет, как старятся и умирают обычные люди, как та

самая трава, что топчут кони его воинов. Небо несправедливо к нему, покорившему земли, поднявшемуся на такую высоту и «отмеченному небесным благоволением». Неужели и его жизнь — «пузырек на реке жизни»? Ведь он не такой как все, не хочет быть таким, как все. Душа Чингисхана восстает против этого... И снова надежда на чудо, на избранничество свое вселяется в сердце: что ж, если старец говорит, что любой человек в силах продлить жизнь — он-то добьется в тысячу раз большего. «Он раздвинет пределы власти над собственной жизнью, как раздвигал пределы своего улуса».

Ничтожен конец Чингисхана. Он, убежденный, что вознесся над всеми смертными, умирает от простой случайности, упав на охоте с лошади. Истовая, бредовая вера в небесное предначертание, в величие свое, в свою необыкновенность — и столь заурядный исход. Но такой — бесславный конец «покорителя вселенной» логичен, предопределен, он и не может быть иным.

Много бедствий принес народам жестокий век. Но «какой бы длинной зима ни была, за нею следует весна»... Роман полон жизнеутверждающего пафоса, веры в несокрушимость добра и человечности.

Работа над «Жестоким веком» заняла 10 лет. Это был огромный напряженный труд. И. Калашников изучил жизнь десятков племен, народов, их обычаи, уклад... Летописи, исследования русских и зарубежных ученых...

В его библиотеке — учебники монгольского языка, писатель изучал его; выписывал пословицы, поговорки восточных народов. Огромно число персонажей «Жестокого века». На каждого почти — тщательно выписанная «характеристика», здесь года рождения, смерти, важные события, с которыми связана жизнь того или иного героя.

Исай Калашников предчувствовал, что жизни ему отведено не столь много. Он работает порой до изнеможения. «Духовно страшно хочу жить, то есть писать...» «Хочется работать». Эти слова сами собой выливаются на бумагу...

А сколько планов осталось незавершенными. Книги, книги в его кабинете... Многое расскажут они о своем хозяине, о его пристрастиях. Вот сочинения Льва Толстого... Когда от работы немела рука и, казалось, душевные силы исчерпаны, он брал «Хаджи-Мурата» Л. Толстого. Сказать перечитывал — мало. Он упивался этим «живым куском жизни»...

Труды ученых по истории Китая, Азии... Сохраненные веками сведения о жизни протопопа Аввакума... Здесь, среди этих фолиантов как бы оживает сама история. По тщательно подобранным книгам мы можем предполагать о ближайших

замыслах. «Темы обгоняют друг друга, как велосипедисты на шоссе»,— признавался писатель.

Читаешь его дневники — и поражаешься жесткой требовательности к себе, к творчеству своему. «...Я, художник, не имею права просто-напросто копировать то, что уже было сделано до меня. Я обязан искать свое, чем самостоятельнее я буду в поиске, тем больше шансов выразить то, что еще никто не выражал. Моя беда скорей всего в том, что не всегда чувствую себя способным на безраздельную самостоятельную независимость... Я скорее всего летописец (по характеру)... меня больше тянет глядеть в прошлое, искать там то, что будет не бесполезно для настоящего, а быть может, и для будущего».

Это — высокая честность наедине с собой, которая заставляла литератора еще и еще раз переписывать листы, прежде чем отдать их людям. Размышляя, что же, кроме таланта, необходимо художнику для того, чтобы заставить человека и по прочтении книги переживать, думать, мучиться, он записывает в дневнике: «Беспощадная честность и ясность цели и сочувствие к людской боли». В этих словах — весь Исай Калашников, мир его книг, его героев.

Роман Белоусов

КТО ЖЕ ОН, ЖЮЛЬЕН СОРЕЛЬ?

> Произведения, ничем не связанные с реальной действительностью, сюжет которых полностью вымышлен, являются на свет большей частью мертворожденными: книги, которые основаны на фактах и наблюдениях, картинах, увиденных в жизни, извлеченных из нее, обретают долговечную славу.
>
> *О. Бальзак*

Выстрелы грянули подряд: два, потом еще два. Сначала показалось, что это раскаты грома, отзвуки которого ворвались, резонируя, под своды небольшой церкви. Кюре, служивший мессу, резко повернулся и, ошеломленный, застыл с недосказанным словом на устах. Видимо, он был первым, кому пришлось увидеть всю картину преступления. Перед ним на каменном полу лежала, истекая кровью, его прихожанка госпожа Мишу. Рядом, ближе к дверям, распростерся тот, кто стрелял,— молодой семинарист, хорошо известный в Бранге,— месте происшествия. Звали его Антуан Берте.

В субботу 15 декабря 1827 года перед Изерским судом присяжных предстал Антуан Берте, обвиняемый в преднамеренном убийстве. И хотя его жертва госпожа Мишу не умерла (доктору Морену — хирургу и помощнику мэра — удалось ее спасти), обвинение настаивало на убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Зал суда был переполнен, в дверях образовалась давка: желающих попасть туда оказалось слишком много. Особенно неистовствовали женщины — ведь на этом процессе речь должна была идти о любви, о ревности, о мести и о безумии — так потом напишут в газетных отчетах.

Когда ввели обвиняемого, показалось, что публика привстала со своих мест и замерла в напряженном ожидании. Взоры всех были устремлены на молодого человека с белой повязкой на лице, скрывавшей рану.

Председатель предоставил слово прокурору Гарнон-Ревилю. Тот зачитал обвинительный акт и изложил обсто-

ятельства дела, «того злодеяния, которое привело Берте в этот зал», как патетически воскликнул прокурор и, обращаясь к господам присяжным заседателям, призвал их вынести смертный приговор.

— Берте, какие мотивы толкнули вас на это преступление? — задает вопрос председатель.

— Две страсти, терзавшие меня в течение четырех лет: любовь и ревность.

Прокурор срывается со своего места:

— Госпожа Мишу, мать двоих детей, чье поведение и нравственность выше всяких подозрений, призналась мужу, что вы посмели, несмотря на ее негодование, обратиться к ней с самыми оскорбительными предложениями...

— Это неправда! — с горячностью выкрикивает подсудимый, вскакивая при этом с места.— Она поклялась мне перед распятием, что не забудет меня и никогда не полюбит другого. Она обещала принадлежать мне, и только мне, до последнего вздоха.

— После того, как вам отказали в месте у Мишу,— продолжал прокурор,— вам удалось устроиться воспитателем в благородное семейство господина де Кордона. И что же? Спустя год вас снова увольняют. На этот раз из-за интриги с мадемуазель де Кордон. Тогда вы обратились к мысли о карьере на духовном поприще и поступили в семинарию. Но уже через месяц вас сочли недостойным церковного сана, к которому вы стремились. Вас исключили и, добавлю, без всякой надежды на возвращение. Ваш отец в справедливом гневе прогнал вас из дому. Вы нашли приют у своей замужней сестры, жившей в Бранге... Отсюда вы продолжали писать супругу Мишу угрожающие письма, полные брани и упреков. Но этого вам было мало. Вы начали распространять всякие измышления, порочащие госпожу Мишу, упрекали ее в том, что она охладела к вам и отдала якобы предпочтение тому, кто заменил вас в качестве воспитателя, то есть господину Жакену. В это именно время от вас слышали зловещие слова: «Я хочу ее убить». Столь ужасные намерения казались всем, к несчастью, неправдоподобными в силу своей жестокости. А они были уже близки к осуществлению!

С напряженным вниманием зал вслушивается в монолог прокурора. Он продолжает:

— В середине июля вы пишете госпоже Мишу письмо, полное новых угроз, заявляя, что ей недолго осталось торжествовать. Затем вы едете в Лион и покупаете пару пистолетов. И начинаете упражняться в стрельбе. И вот настает роковой день. Рано утром вы заряжаете свои пистолеты двумя пулями

каждый и отправляетесь в церковь, где совершалась воскресная месса...

На стол перед судьями кладут для опознания вещественные доказательства — два пистолета. Берте показывает на один из них: из него он стрелял в госпожу Мишу. Вещественный факт убийства подсудимым признан.

После допроса свидетелей и прения сторон — обвинения и защиты, присяжные заседатели покидают зал для совещания. Когда они возвращаются с мрачными лицами, нетрудно угадать их решение.

Председатель присяжных рантье Боннар угрюмо произносит: «Положа руку на сердце, перед богом и людьми...» — в наступившей тишине слышно, как поскрипывает перо секретаря суда, ведущего протокол. Под прицелом двух сотен глаз Берте выслушивает роковые слова: «Виновен, и при наличии всех отягчающих вину обстоятельств...»

Спустя день он написал заявление, в котором признался, что в целях самозащиты и стремясь спасти честь своей семьи, возвел лживые наветы на несчастную жертву и умолял госпожу Мишу простить его. «Только искреннее мое раскаяние, мой долг и моя совесть, с которой я хочу примириться раньше, чем предстать перед богом, побуждают меня чистосердечно воздать должное добродетелям госпожи Мишу».

Через сорок дней, утром 23 февраля 1828 года, на Гренобльской площади Антуан Берте поднялся на эшафот.

Лицо его, теперь уже свободное от повязки, выглядело похудевшим и бледным. Встав рядом с палачом, он на минуту преклонил колено, после чего шагнул к гильотине...

Так закончилось дело Антуана Берте, которое вошло в историю отнюдь не криминалистики, а литературы.

* * *

За несколько дней до процесса, о котором только что шла речь, в парижском «Кафе англе» сидел тучный коренастый господин и рассеянно перелистывал старые номера «Журналь де Деба». Рядом с ним на круглом столике лежал боливар с очень широкими полями и трость с сердоликовым набалдашником.

Зовут его Анри Бейль. Впрочем, после того, как он опубликовал первые заметки о Риме, Неаполе и Флоренции, он называет себя Стендалем и выдает за кавалерийского офицера.

Господин Стендаль погружен в чтение.

На одной из страниц помещено объявление о том, что некий господин Рио прочтет курс лекций по истории. Человек

этот незнаком Стендалю. Зато Шатобриан, о котором сообщается, что он будет присутствовать на открытии этих лекций, хорошо ему известен и он терпеть не может его писанину.

Чем убивать время на его потусторонние выдумки, лучше изучать материалы судебной хроники. Вот где поистине неисчерпаемый источник вдохновения для художника, желающего проникнуть в нутро современного общества, постичь его законы и раскрыть тайны. Только судебные процессы обнажают трагические события частной жизни с такими подробностями, которые невозможно подглядеть со стороны.

Вот почему Стендаль взял за правило просматривать разделы судебной хроники в газетах. Особенно богатый материал предоставляла недавно образованная «Газетт де Трибюно» («Судебная газета»), печатавшая протоколы всех прославившихся процессов и, как считал Стендаль, дававшая «самую точную картину французского общества». Выходила газета шесть раз в неделю. О ней, однако, речь впереди. Что же касается раздела судебной хроники в «Журналь де Деба», то здесь он занимал всего лишь одну колонку.

Взгляд Стендаля задержался на заметке о некоем Годене, приговоренном к «позорному столбу и клеймению» за кражу шестнадцати франков. А вот известие в тридцать строк из родного его Гренобля. Речь идет о преступлении какого-то Антуана Берте.

Сообщение привлекло внимание Стендаля прежде всего потому, что действие разворачивалось в известных ему местах. Более того, фамилия госпожи Мишу показалась знакомой. Не из тех ли она Мишу, что жили в Бранге, а один из них по прозвищу Толстый Мишу был его однокашником по гренобльской школе? Кажется, он умер год или два назад?

Догадка Стендаля подтвердится. Жертва Берте была замужем за кузеном Толстого Мишу.

Небольшое сообщение о преступлении в Бранге запомнилось: как знать, может быть, со временем он использует его. «Когда вы изображаете мужчину, женщину, местность,— всегда думайте о ком-нибудь или о чем-нибудь реальном»,— напишет он позже, в мае 1834 года. Таков, можно сказать, творческий метод Стендаля: художественное произведение должно покоиться на «сваях» или «опорах», заимствованных из реальной жизни, для творческого воображения романиста они служат как бы точкой отсчета.

Поэтому когда некоторое время спустя в руки Стендаля попал номер «Газетт де Трибюно» с описанием части процесса Антуана Берте, писатель решил поближе познакомиться с обстоятельствами дела.

Подробный отчет о процессе был помещен в четырех последних номерах газеты за 1827 год. О казни обвиняемого Стендаль узнает позже. Та же газета сообщит об этом в феврале следующего года.

Как все происходило в тот февральский день, ему нетрудно было представить. На гренобльской площади, где совершилась казнь, находился дом его деда Анри Ганьона. Он живо вообразил толпу любопытных, балконы, заполненные дамами, и бледного юношу, всходящего на эшафот...

В родном, но ненавистном ему городе он не был со смерти отца в 1819 году.

Странно, но первый, о ком он подумает, подъезжая к дому деда на площади, будет Антуан Берте, сложивший здесь голову двадцать месяцев назад. С этого момента история недоучившегося семинариста буквально не дает ему покоя. Он интересуется подробностями драматических событий, случившихся в Бранге. Выспрашивает знакомых, которых у него здесь предостаточно. Узнает, что известный ему Габриель Дюбушаж был мэром Бранга в то время, когда совершилось преступление, и подумывает о встрече с ним. Не исключено, что многие подробности ему сообщила сестра Полина, жившая недалеко от города и наверняка слышавшая о столь громком процессе.

Стендаля интересовали детали. Он хотел знать, как все произошло тогда в церкви. Словом, увлекшись делом Берте, Стендаль собирал где только мог устные рассказы свидетелей, чтобы потом, объединив их с данными «Газетт де Трибюно», полнее представить картину преступления и осознать его мотивы.

Он уже знал, что набрел на сюжет, достойный для романа из современной жизни.

Покинув Гренобль, Стендаль держит путь в Марсель. Здесь он задержится почти на четыре недели.

Он бродит по городу, вдыхая теплые испарения марсельской осени, прогуливается по бульвару, прислушивается к шуму волн в порту.

Однако главное, чем заняты теперь его мысли,— это новый роман, о чем свидетельствует его собственная запись: «Марсель. Ночь с 25 на 26 октября. Идея „Жюльена“». Впоследствии Стендаль неоднократно отметит, что в Марселе он начал работу над романом, который позже получит название «Красное и черное». Иначе говоря, первые наброски появились уже к тому времени.

Как же в таком случае относиться к словам предисловия первого издания «Красного и черного», в котором от издателя

говорится, что «этот труд был готов к выходу в свет, когда пришли великие события июля и придали всем умам направление, мало благоприятствующее игре воображения. Мы смеем полагать, что предлагаемые страницы написаны в 1827 году». Обычно подобные предисловия «от издателя» писал сам автор. А известно, как любил Стендаль ввести в заблуждение, замести след, загадать загадку. Если внимательно прочитать «Красное и черное», то нетрудно обнаружить намеки на отдельные июльские события 1830 года, когда Париж охватило пламя восстания. Видимо, писатель хотел отвлечь читателя от мысли, что его произведение было вдохновлено жгучей актуальностью; он хотел создать дистанцию, временный зазор.

Позже подтвердит он и то, что в основу своего романа положил подлинную историю, ибо всегда ценил «преимущество работать над совсем готовым сюжетом». В письме к флорентийскому адвокату графу Сальваньоли он сделает знаменательное признание: «Этот роман вовсе не является романом. Все, о чем в нем рассказывается, произошло на самом деле...» Герой, уточняет Стендаль, погиб после того, как дважды выстрелил из пистолета в свою первую любовницу, воспитателем детей которой он был и которая своим письмом помешала ему жениться на второй любовнице, очень богатой девушке. «Господин де Стендаль ничего не выдумал»,— закончит он свое признание.

Действительно, он ничего не выдумал. Все, о чем расскажет, имеет гренобльское происхождение, что и было признано соотечественниками романиста. В год смерти Стендаля на это укажут две газеты. По поводу романа «Красное и черное» «Газетт дю Дофинэ» напишет, что это произведение «пользовалось большим успехом, как по причине его подлинных достоинств, так и потому, что это был рассказ о печальном и кровавом эпизоде, который в 1816 году произвел тягостное впечатление в Гренобле и его окрестностях». В свою очередь на страницах «Насьональ» появится материал, где будет сказано по поводу того же романа, что «сюжет его представляет собой сильно опоэтизированную историю молодого человека, казненного в Гренобле в 1818 или 1819 годах». Как впоследствии докажут, обе газеты будут правы, только ошибутся в датах. Да и не мудрено — спустя четырнадцать лет едва ли кто-либо помнил о деле Антуана Берте. Первым, кто укажет на связь романа с этим происшествием, будет Ромен Коломб — кузен, друг и душеприказчик писателя. Он упомянет об этом в заметке 1846 года, посвященной Стендалю.

С этого момента связь подлинного преступления с сюжетом романа считается неопровержимой. Но наиболее отчетли-

во скажет об этом в 1884 году на страницах журнала «Ля ревю бланш» Казимеж Стрыенский, сделавший, как известно, сенсационные открытия в гренобльском архиве Ромена Коломба, в частности им была обнаружена здесь рукопись неоконченного романа Стендаля «Ламьель». Немало страниц отведет этой проблеме в своих номерах и журнал «Стендаль-Клуб».

С тех пор многие исследователи пытались выявить соотношение между эпизодом судебной хроники и романом. Со временем стало абсолютно очевидным, что главным источником романа послужило дело Антуана Берте. Оно представило в руки автора готовый жизненный сюжет и как бы освободило его от необходимости составлять план, чего он терпеть не мог, так как при этом терял всякое вдохновение.

От готовой сюжетной канвы Стендаль не собирался отклоняться. Антуан Берте получил имя Жюльена Сореля, мадам Мишу превратилась в мадам де Реналь, мадмуазель де Кордон — в Матильду де ла Моль. Из Бранга писатель перенес действие в Верьер, маленький городок в Франшконте, на самом деле напоминающий знакомый автору Гренобль.

* * *

Перо неутомимо скользит по бумаге. Стендаль пишет быстро, размашисто; его крупный плавный почерк ложится на бумагу правильными, почти прямыми рядами. Пачка чистой бумаги слева, направо — исписанные листы. За три с небольшим недели бумажная кипа справа значительно выросла. Это первый вариант романа, начатого в Марселе.

После возвращения в первых числах декабря в Париж Стендаль продолжал лихорадочно работать над задуманным произведением. Ромен Коломб подтверждает, что он видел у него на столе в особняке Валуа, на улице Ришелье, 71, рукопись, озаглавленную «Жюльен».

Первые месяцы следующего, 1830 года, Стендаль продолжает упорно трудиться. В апреле он подписывает контракт с издателем Левавассером на издание романа «Жюльен». И уже в мае появляются его первые печатные страницы. Стендаль правит их и одновременно работает над продолжением романа. Однако во время июльских дней, когда на парижских улицах вспыхнул мятеж, печатание было приостановлено. Возобновляется оно лишь в августе и продолжается до начала ноября.

Вполне возможно, что до самого завершения печатания автор дополнял и переделывал вторую часть текста, одновременно подписывая к печати выправленные страницы первой части.

Что касается названия, то вскоре после заключения контракта с издателем в мае месяце, когда начали уже поступать первые гранки, Стендаль зачеркивает старое и пишет новое — «Красное и черное». Короткий набросок, озаглавленный «Жюльен», превращается в богатый содержанием роман, история преступления перерастает в картину эпохи.

За это время честолюбивый молодой провинциал Жюльен Сорель стал секретарем маркиза де ла Моль и любовником его дочери Матильды. Отныне успех и богатство, казалось, обеспечены ему: чем бы ни обернулся случай, поставит ли он на красное или черное, Жюльен Сорель все равно выиграет.

Стоит ли в этом смысле расшифровывать название романа — красное и черное — как цвета рулетки, игры судьбы?

Сам автор, как известно, ни разу не дал точного объяснения заглавия. Ромен Коломб, можно сказать, очевидец рождения романа уточняет: заголовок пришел к Стендалю неожиданно, в состоянии внезапного вдохновения.

Что же означают два слова названия — «Красное и черное»? Какой смысл вложил в них автор?

По этому поводу вот уже более столетия изобретательные комментаторы романа выдвигают и отстаивают различные толкования. Едва ли не первым высказался на сей счет все тот же Ромен Коломб. «Мне кажется,— писал он,— что странное название было просто уступкой тогдашней моде и придумано, чтобы обеспечить роману успех». Действительно, Стендаль одно время полагал, что «привлекательное название» является залогом коммерческого успеха книги. Но относится ли это к названию «Красное и черное»? Что в нем такого, что бы возбудило любопытство, привлекло своей загадочностью? Иное дело, когда автор в духе времени, поражая тогдашних читателей, называл, скажем, свою книгу «Мертвый осел и гильотинированная женщина».

Выбранное же Стендалем название казалось странным только по одной причине: даже прочитав роман, смысл заголовка оставался непостижимым.

«Ничто не оправдывает это название,— читаем в знаменитом словаре Лярусса,— кроме только мании оригинальности, которой Бейль отдавал дань по всякому поводу». Словом, читатели терялись в догадках. В свою очередь пытались найти ответ критики. Но и до сих пор, как пишет известный советский литературовед Б. Г. Реизов, исследователи и поклонники Стендаля «не могут прийти к единому мнению о смысле этого цветового названия».

Дискуссия по этому поводу затянулась на полтора столетия. Авторы ее отдали дань обсуждению различных гипотез.

«Двухцветность» названия пытались объяснить, как было сказано, прежде всего намеком на красное и черное поля рулетки — азартной игры, а в применение к роману — игре случая. Но в рулетке и других аналогичных играх говорят «красная» и «черная», а не «красное» и «черное». И вообще в романе нет никаких намеков на азартную игру. «Ни на какое зеленое сукно Жюльен своей судьбы не бросает,— замечает Б. Г. Реизов.— Жюльен Сорель — отнюдь не игрок; это волевой человек, сознательно идущий к намеченной цели. Он хочет довериться случаю или „вдохновению минуты", а потому составляет в письменном виде планы своего поведения. Поэтому теория азартной игры сегодня отвергнута большинством стендалеведов. Общественный смысл романа они видят в детерминированности судьбы героя и в сознательном, определенном волей и талантом, движении Жюльена от нижней ступеньки социальной лестницы к высшей».

Сложнее обстоит дело с другой расшифровкой названия: «красное» — это цвет военного мундира, а «черное» — церковной сутаны. В черную сутану, объясняли многие исследователи, должен был облачиться Жюльен, сделавшись священником, красный — цвет военного мундира революционных и наполеоновских войск, о котором мечтал Жюльен.

Первым об этом заявил друг Стендаля критик Э. Форг. По его словам, будто бы сам автор так и объяснял название своего романа: «красное» означает, что, если бы Жюльен родился раньше, он был бы солдатом, но в его время он должен был надеть на себя сутану, отсюда «черное». Однако, при ближайшем рассмотрении такое толкование вызывает недоумение.

В какой именно мундир желал облачиться герой Стендаля? При Наполеоне во французской армии лишь мундир имперской гвардии да мундир интендантов были красного цвета. Остальные части наполеоновских войск носили форму других цветов. Во время же революционных войн армия делилась вначале на белые мундиры и синие; последние вскоре вытеснили белые, и всех военных стали называть в просторечии «синими». «Красные» мундиры являлись редким исключением из общего «синего» правила.

Среди различных гипотез, выдвинутых теми, кто пытался расшифровать «символическое» название романа, существовала и такая: автор, мол, противопоставляет черному цвету Конгрегации красный цвет мантии судей, приговоривших Жюльена к смерти. По другой версии — красное якобы указывает на республиканизм Жюльена, тогда как черное означает священников. Причем утверждал это один из ведущих стендалеведов Анри Мартино. В предисловии к роману, вышедшему

в издательстве Гарнье, он безапелляционно заявил, что отныне «неясность может оставаться только для тех, кому нравится окружать классические произведения облаками, которые они сами создают ради удовольствия заниматься этим».

Несмотря на всю категоричность, утверждение это не стало последним словом и не остановило литературоведов. «Заглавие не соответствовало бы сути романа,— пишет современный ученый П.-Ж. Кастекс,— если бы его следовало понимать только в политическом смысле». Впрочем, и А. Мартино почувствовал необходимость уточнить свое утверждение и в книге «Сердце Стендаля» объясняет: «Это заглавие, которое сразу же ему понравилось, отвечало вкусам дня и вызывало в памяти читателя и мундир военного, и сутану священника, якобинство юного героя и происки церкви, а также, при последнем анализе, удачу в игре».

Какой же смысл для самого Стендаля имели эти цвета, каждый в отдельности или оба вместе? Жизнь Жюльена вырвана из колеи обыденного, она окрашена в тона крови и смерти. Это сочетание жизненных противоречий, страсти и отчаяния, любви и убийства, «величия» и «падения». Короче говоря, символическая неопределенность названия обусловила его емкость, благодаря которой она может вместить все богатство заключенных в романе противоречий.

* * *

Известно, что писательское воображение Стендаля часто питалось сведениями, почерпнутыми в уголовной хронике, в жизни преступного мира и каторжников, среди которых, как он считал, только и можно найти людей, обладающих великим качеством, так недостающим их согражданам,— силой характера. Скажу заранее, что слово воображение я употребил не случайно. Как раз в отсутствии его и обвиняли Стендаля, поскольку он использует готовые, взятые из жизни сюжеты. В связи с этим напомню еще об одном «источнике» романа «Красное и черное».

Дело Антуана Берте не должно заслонять от нас другой процесс, воспоминание о котором в творчестве Стендаля оставило заметный след. Я имею в виду процесс некоего Лафарга. Речь идет о преступлении, причины и обстоятельства которого рассматривались в марте 1829 года в городе Тарбе судом департамента Верхние Пиренеи и обстоятельно излагались в той же «Газетт де Трибюно».

Пожалуй, первым обратил внимание на этот источник известный критик прошлого столетия, член Французской академии Эмиль Фагэ.

В статье, опубликованной в 1892 году в журнале «Ревю де Дё Монд», он, в общем несправедливо, указал на то, что якобы Стендаль проявил симпатию к преступнику, чей поступок сопровождался ужасными обстоятельствами.

Два года спустя, после того как появилась работа К. Стрыенского о процессе Берте — главном источнике романа, комментаторы забыли о деле Лафарга. Лишь две фразы уделяет ему Анри Мартино в своем известном предисловии к «Красному и черному». Он пишет: «В то время, когда Стендаль завершал „Прогулки по Риму", он прочел в „Газетт де Трибюно" о процессе краснодеревщика Лафарга, который в городе Баньор убил свою любовницу и 21 марта 1829 года был приговорен к пяти годам тюрьмы. Стендаль сразу же извлек из него длинное отступление, предназначенное показать читателю, какой порыв энергии, даже под небом Франции, могут вдохнуть в сердце человека любовь и ревность».

Внимание к той роли, какую дело Лафарга сыграло в генезисе «Красного и черного», вновь привлек Клод Липранди. Этому вопросу он посвятил целый том, где изложил дело Лафарга во всех его деталях. Потребовалось изучить не только «Газетт де Трибюно» и «Курье де Трибюно», но и департаментские и муниципальные архивы, досье процесса.

Напомню суть дела, как его излагает сам Стендаль в «Прогулках по Риму».

«В конце января этого года город Баньер был взволнован ужасным происшествием. Одна молодая женщина не слишком строгого поведения была убита средь бела дня в своей комнате молодым человеком по имени Лафарг, своим любовником, пытавшимся после этого покончить с собой». Когда начался процесс в областном городе Тарбе, едва ли не все население Баньера прибыло сюда, чтобы присутствовать в зале суда. Стечение народа было столь многолюдным, что все улицы, галерея и двор, ведущие к зданию суда, оказались заполненными толпой любопытных.

С охотой Лафарг поведал суду свою историю.

Из ревности он убил молодую женщину по имени Тереза Кастаньер. Не отрицая совершенного, во всеуслышание заявил, что заслужил смерть. «День, когда я расстанусь с жизнью, будет для меня самым радостным и прекрасным днем моей жизни. Я ожидаю рокового эшафота; надеюсь, что поднимусь на него без страха и мужественно опущу голову...»

Однако он оказался более удачливым, чем Антуан Берте. Присяжные совещались недолго (всего три четверти часа), после чего председатель объявил: «Обвиняемый виновен в убийстве с заранее обдуманным намерением, но оно было

вызвано тяжкими оскорблениями». Принята была также во внимание и его попытка к самоубийству. По правде говоря, Берте тоже стрелял в себя из пистолета, но ведь он соблазнил двух женщин из аристократической среды: присяжные не простили ему этого. Отсюда и различие в приговорах: хотя госпожа Мишу выжила, Берте был приговорен к смерти; несмотря на то, что Тереза Кастаньер была убита, Лафарга приговорили к пяти годам тюрьмы (через два года он был освобожден по амнистии).

История Лафарга гораздо меньше сближается с романом, чем дело Берте. Поэтому его и считают лишь вторым источником романа. Однако К. Липранди пытается все же показать, что «личность Лафарга больше, чем личность Берте, могла способствовать созданию образа героя стендалевского романа — Сореля». С ним соглашается и П.-Ж. Кастекс.

Особенно интересно сопоставить описание того, какими средствами пользовались, готовя свое преступление, герой уголовной хроники и литературный герой в романе. «Я пошел к оружейнику,— бесстрастно повествовал Лафарг на суде.— Он дал мне напрокат пару пистолетов... Я снова вернулся к оружейнику и попросил его зарядить мои пистолеты...» И далее само преступление: «Тогда я выстрелил в нее из пистолета, но промахнулся; я схватил ее за руку и сказал ей: „Повернись ко мне!“ В то же время я выстрелил во второй раз, она упала».

В этом эпизоде сходство с текстом романа очевидно: «Жюльену стоило большого труда растолковать, что ему нужно купить пару пистолетов. По его требованию оружейник зарядил их... Он выстрелил в нее из пистолета, но дал промах; он выстрелил вторично — она упала».

Заканчивая рассказ о своем преступлении, Лафарг театрально восклицает: «Я заслужил смерть, так как сам убил».

Жюльен обращается к своим судьям в почти одинаковых с Лафаргом выражениях: «Преступление мое ужасно, и оно было совершено с заранее обдуманным намерением. Значит, я заслуживаю смерти...»

В комментариях, которыми снабжает Стендаль отрывки по делу Лафарга, предугадываются и некоторые черты характера будущего Жюльена Сореля. В частности, в Лафарге он увидел пример энергии, которая сохранялась в народе и которая могла выплеснуться во время революции. Это дало основание Б. Г. Реизову сделать вывод: «Жюльен Сорель — это будущая революция».

Возвращаясь к сказанному, приведу слова П.-Ж. Кастекса: «Хотя драматическая схема сюжета „Красного и чер-

ного“ очень близка к схеме дела Берте, герой романа, быть может, более близок к Лафаргу». Впрочем, Жюльен — это и не Лафарг, и не Берте. У этих двух реальных персонажей нетрудно обнаружить всю посредственность их характеров. Вот уж чего нельзя сказать про Жюльена Сореля. Таков главный вывод из сопоставления героя романа с его реальными прототипами.

В середине ноября 1830 года роман «Красное и черное» поступил в продажу. Издание вышло в двух томах по 15 франков каждый. Тираж составил 750 экземпляров. В это время Анри Бейль, назначенный консулом в Триест, трясся в почтовой карете по дороге в Италию...

Резцом
и
кистью

Александра Пистунова

ХАДЖИ-МУРАТ

Воспоминание мест, сражений и путешествий...

К. Батюшков

В 1875 году, когда в Павловске под Петербургом у сестры Александра Бенуа Екатерины Николаевны и ее мужа Евгения Александровича Лансере родился сын Евгений, которому суждено было создать великую графику к толстовскому «Хаджи-Мурату»,— в Ясной Поляне уже давно существовал замысел этого единственного в своем роде произведения... Романа? Повести? Исторической хроники? Мемуаров, проверенных позднейшими документами? Поэмы в прозе? Рассказа? Драмы?.. Любое жанровое определение можно с полным правом привязать к «Хаджи-Мурату» и любое — с полным правом отвергнуть. Мировая литература не знает ничего, сравнимого с этим сокровищем, не увидевшим света при жизни Толстого, оставшимся его творческим завещанием и полностью опубликованным только в 1916 году в прекрасном издании «Товарищества Голике и Вильборг» с графикой Евгения Евгеньевича Лансере...

В год рождения своего будущего иллюстратора Толстой, в котором к тому времени уже почти четверть века свершалось обдумывание «Хаджи-Мурата», послал давнишнему приятелю Фету записи песен кавказских горцев (они вошли впоследствии в текст толстовского произведения), ставшие под пером поэта прекрасными и печальными стихами. Яснополянское письмо было отправлено весной, стихи родились осенью во мценской Степановке. В Павловске, в семье архитектора и скульптора Лансере, отметили два месяца маленькому Жене.

Отправляя Льву Николаевичу свои «Песни кавказских горцев», Афанасий Фет присоединил к ним замечательное стихотворение «Графу Л. Н. Толстому»:

Как ястребу, который просидел
На жердочке суконной зиму в клетке,
Питаяся настрелянною птицею,
Весной охотник голубя несет

С надломленным крылом — и, оглядев
Живую птицу, старый ловчий щурит
Зрачок прилежный, поднимает перья
И вдруг нежданно, быстро, как стрела,
Вонзается в трепещущую жертву,
Кривым и острым клювом ей взрезает
Мгновенно грудь и, весело раскинув
На воздух перья, с алчностью забытой
Рвет и глотает трепетное мясо,—
Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией.— Спасибо,
Полакомил ты старого ловца!

Сопоставляя события и факты русского искусства, видишь в этом стихотворении их особый фокус — «ту кровь, что мы зовем поэзией». Весело раскинутым перьям, летящим в воздухе,— начало лёта рождено трагедией, но конца ему не будет — суждено веками парить, то снижаясь к столу Андрея Рублева, рисующего украшения, инициалы, строки «Евангелия Хитрово», то лаская пальцы Пушкина, чей почерк — словно бы диаграмма этого лёта. В стихотворении Фета живет орел, выбранный когда-то Рублевым в качестве символа евангелиста Марка, терзаемый и терзающий ловчий Пушкина и Толстого. Вечные пернатые русского искусства... Как поразительно, что двухмесячному мальчику будет дано, ставши взрослым, услышать их шорох, клекот и пение, и, через столетие, в 1975 году, раскрыв в Ленинской библиотеке уникальный том с «Хаджи-Муратом», иллюстрированным Лансере, я увижу на форзаце большие, маленькие, крошечные крылья, как бы вшитые в темно-лиловом поле сюзанэ и создающие объем, глубину первых страниц великой книги...

Женя Лансере рано лишился отца, и его мать, овдовев, переехала с детьми в родительский дом Николая Леонтьевича Бенуа, в тот самый, возле Никольского собора в Петербурге, где рос ее младший брат Александр.

Разница лет между дядей Шурой и племянником Женей была невелика, но в отрочестве и юности она всегда существенна. В доме архитектора деда, где все рисовали, музицировали, говорили о литературе, где бывали самые замечательные люди времени и страны, вырос этот замкнутый, мечтательный, влюбленный в поэзию и искусство мальчик. Его сестра Зика — Зинаида Евгеньевна, в замужестве Серебрякова, мастер живописи той же силы, что Лансере мастер графики,— вспоминала через много лет: гимназист Женя приготовил ко дню рождения дяди Альберта Бенуа чтение пушкинского «Кавказского пленника» и ему аплодировали Репин и Стасов:

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов,
Богиня песен и рассказа,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа...

Женя читал так вдохновенно и яростно, что Репин пророчески назвал его «богом песен и рассказа» и вспомнил это прозвище через много лет, когда появился «Хаджи-Мурат» с иллюстрациями Лансере.

«Habent sua fata libelli» — «Книги имеют свою судьбу». Так говорили древние, справедливо полагая, что произведения, рожденные человеческим талантом и трудом, живут отдельно от своих создателей, много-много дольше их, перешагивая эпохи, исчезая и вновь возникая перед поколениями, влияя на их судьбы и мечты. Творцов древние часто именуют божественными. И, как во всяком пантеоне, около «божественных» есть целая иерархия более или менее священных лиц. Одно из них — «эрудит», владелец и знаток своей библиотеки, термин позднеантичный или, точнее, ранневизантийский. «Мудрец,— говорили тогда,— ниже одного лишь Юпитера: он и богат, и волен, и в почете, и красив; в довершение всего он царь над царями, он здоров, как никто, если только не схватит насморк случайно». Вспоминая завещание «одного из семи мудрецов», Ферекида, Монтень записывает: «Я не столько открываю вещи, сколько показываю их». Эрудиты из Александрийской библиотеки, устроенной императором Константином в портике его Большого дворца, веками направляют движение культуры, находя писцов-художников и риторов — толкователей книги. В Антиохийской риторской школе эрудита Либания учился Иоанн-Златоуст, в Лаодикии в диспутах с эрудитом Климентом Фавстом появляется будущий апостол Петр, утверждающий: «Когда заложены твердые основы истины... тогда можно без опасения, чтобы все больше утверждать ее в умах,

воспользоваться знаниями и искусствами, которые составляли предмет изучения в детстве».

Предмет изучения в детстве Евгения Лансере — книга и искусство. Эрудит, в дискуссиях и уроках с которым проходят его первые сознательные годы,— Александр Бенуа. Твердые основы великих истин культуры заложены в доме возле Никольского собора на углу Екатерингофского проспекта. Там — на балконе круглой комнаты он часто рисует, пишет акварелью, копирует старинные гравюры. Даже в холодные дни, когда с ближней Фонтанки задувает, Лансере любит работать на этом балконе — высота и ветер с детства те стихии, в которых он естественно живет и меняет их еще только на одну стихию, дающую ему наслаждение,— на неподвижный, мерцающий пылинками воздух около книжных шкафов. «Библиотека, книги, картины и общество, и разговоры художников окружают меня с самого детства»,— записывает он восемнадцатилетним в своем дневнике. Однако у эрудита-наставника хватает отваги предупреждать юношу о тепличности дедовского дома, а во время одной из отлучек Евгения Александр Николаевич пишет ему: «Дорогой Женяка! Радуйся, радуйся, радуйся!.. Ты вдали от „художественной семьи Бенуа“, где все так много понимают, так глубоко чувствуют прекрасное!.. Смотри, чтобы начало нашей столь хваленой... семьи не развилось в Тебе и не поглотило Тебя! В ней много хорошего... но высокого и прекрасного в ней мало, почти вовсе нет, **и для художника она вреднее семьи какого-либо каменщика или почтальона**». Последние слова Александр Николаевич подчеркивает жирной линией, и, дойдя до них, я задумалась уже не о юноше Лансере, а о молодом Бенуа, о его увлечении улицей, балаганом, базаром, о его страсти к народным игрушкам, к ярким бумажным цветам — о широком вкусе, который этот «высокообразованный эстет», как его называли, воспитал в себе сам и старался дать его основы молодому Евгению Лансере, считавшемуся его племянником, а по сути бывшему его младшим братом. Недаром юноша Лансере пишет в заветной тетрадочке такое собственное определение искусства: «Искания истины посредством чувства и есть искусство». Дядя — старше всего на пять лет! — учит его спорить, ничего не принимая на веру. И юный Женя, фиксируя в дневнике разговоры в семье Бенуа, иной раз резюмирует: «Я не могу с этим помириться!» Или: «А я не признаю символистов». Уже в старости, анализируя, как строилась его художественная личность, Евгений Евгеньевич пишет: «Параллельно... книжному, ретроспективному... миру увлечений... друг моего покойного отца, скульптор-анималист

А. Л. Обер заложил во мне любовь к животным, к их строению, к настроениям („запахам земли") природы. Он меня учил бережно относиться к первому эскизу, к первой мысли задуманной работы».

Сохранился натюрморт, написанный шестнадцатилетним мальчиком. На ломберном столике будто бы в беспорядке, оставшемся после чтения и рисования, лежат четыре фолианта, лист ватмана, тонкий карандаш, пестрый шейный платок. На трех томах стоит старинный металлический глобус, четвертый том — раскрыт, страницы еще шевелятся от недавнего прикосновения... С какой любовью пишет акварельная кисть Лансере золоченые корешки книг, тонированные обрезы, тяжесть этого прочного вечного груза, упирающегося в хрупкую поверхность тонконогого столика. Но торжествуя над знанием книжным, вздымается чуть крутящийся и бликующий медный шар глобуса, творенье Мартина Бехайма. Так подросток определяет свои будущие задачи, устанавливает цели: книга и мир.

В шестнадцать лет Евгений Лансере уже умеет работать, как взрослый: гимназия, чтение, Школа Общества поощрения художеств, изучение музеев. В его дневнике того времени записано: «Конечно, раньше всего — быть отличным художником... все, что я теперь делаю, ведет к этой цели... Полдня я провожу вне дома, работая от пяти до восьми часов в день». Он жадно, внимательно читает, особенно Толстого и Достоевского.

Встретив в приложении к журналу «Север» иллюстрации Н. Н. Каразина к «Войне и миру», он заносит в дневник такие слова: «...а поездка Ростовых к Мелюковым, что за прелесть. Заставляет меня любить зиму... (Что Каразин! мне даже его жаль! Он дерзок, что смел подумать даже изобразить эту дивную картину. Жалкий нахал! Конфеточная обложка!)... Когда я буду большой, я нарисую картину этой ночи. Теперь я вижу ее перед собой, но не буду рисовать, чтобы не помешали бы потом мои теперешние отчаяние и бессилие».

«Вижу перед собой». Что за странное существо Художник! Все-то он изначально о себе знает. Даже способ долголетних будущих отношений с главным делом жизни внутренне известен ему чуть ли не с младенчества. Неслыханная работоспособность — требование его таланта, проявление этого таланта. Самостоятельность, смелость суждений, критичность к созданному собою и другими, восхищение подлинным художественным гением, программа труда, высокая цель. Как удивительно, что восемнадцатилетний мальчик пишет о том, что выполнит сорокалетний человек в графике к «Хаджи-Мурату»:

«Мне хотелось бы сделать картину молодости... широко, легко, чисто, сильно, бешено, весело... Каких-нибудь людей... скачущих... с широкими лицами, могучие и свежие солнце и воду». «Меня... занимает сочинить картину... свободы, свободы и силы... Счастья не нежного, а сильного, деятельного, вольного, живущего всем существом человека».

Среди многочисленных зарисовок А. Н. Бенуа часто встречается лицо его племянника, подростка-травинки, с выражением задумчивости, сосредоточенности и упорства. Лицо это выделяется в семейных группах, застывших в позах церемонных и безжизненно-благопристойных. Женя Лансере, мальчик, долго мальчик, словно бы созерцает все человеческие деяния сквозь призму сложных и бессмысленных причуд взрослых, взгляд его — часто сумрачный, глубоко и сурово пророческий, что совсем не соответствует его возрасту, истинному возрасту, хоть выглядит он еще младше. Кажется, что он во что-то вслушивается. Даже не в звук, а в то, что слышат его кожа и спутанные волосы на голове. Вслушивается и спокойно принимает необъяснимое. А кроме того, этот окруженный людьми персонаж Бенуа словно бы не замечает ничьего присутствия. Неуловимый, почти бесплотный, текучий образ мальчика-травинки в рисунках Бенуа то безмятежен, то тревожен и всегда окружен неким ореолом — даже в домашних иронических картинках. Недаром во всех письмах дядя, называя племянника на «ты», пишет это слово с прописной буквы: «Тобою», «о Тебе».

Духовное, долготерпеливое созидание себя предвосхищает работу Евгения Лансере над «Хаджи-Муратом», этой вершиной русской книжной графики к русской прозе. Можно поставить достижение Лансере только возле иллюстрационного цикла Агина к «Мертвым душам», но произведение Гоголя — по собственному определению писателя — *поэма*, и так именно прочел «Мертвые души» Агин. Лансере же увидел в «Хаджи-Мурате» (которому исследователи, а не автор, дают имя повести) *роман:* многоплановое, многовременное, многофигурное, многомерное, охватывающее и противопоставляющее столь разные и столь схожие миры произведение.

Графика Лансере запечатлевает творческий подвиг Толстого. «Я не столько открываю вещи, сколько показываю их»,— может повторить за Ферекидом и Монтенем ученик эрудита-Бенуа. И кажется, что, иллюстрируя «Хаджи-Мурата»; художник благодарит все любимые с детства книги, доставлявшие ему наслаждение и знание, возносит хвалу чтению, которое уронило в его душу животворные семена преувеличения, извлекло из повседневия неведомое и необычайное,

заставило его воображение расправить крылья над мраком здравого смысла и в каменном Петербурге услыхать серебряный щебет вольных пернатых русского искусства.

Героика, сила, молодость, одоление стихий привлекают Лансере. Недаром он пишет акварелью старинный глобус Мартина Бехайма. В нем живет мечта: «...хочу сделать „Каравеллы Колумба в океане". Хорошую можно было бы сделать картину; мысль: показать страшную пустыню, одиночество, беспомощность и нахальство человека; страшную, изменчивую, неведомую и могучую силу океана, не чувствующего даже этих жалких каравелл... Ночь или сумерки (потухающий свет дня), черная мягкая мгла, застилающая горизонт, и бесконечная вереница громадных и неудержимых плоских плавных валов, выходящих из таинственной, неведомой дали, и уходящих куда-то назад в громадное пространство, отделяющее Колумба от клочка земли...»

Е. Е. Лансере. Автопортрет

Лансере пишет в дневнике не о Колумбе — о себе самом. «Неведомую и могучую силу», которую в записи он относит к океану, в действительности считает принадлежащей лишь одной стихии — искусству.

Приближаясь к двадцатилетию, этот человек испытывает неверие в свои силы. «Рисование, живопись, скульптура очень плохи, я в отчаянии и сомневаюсь в своих способностях». Александр Николаевич Бенуа утешает его: «То, что Ты говоришь о своем творчестве, я сам испытываю на каждом шагу. Ты талантливее меня, и потому, должно быть, Тебе это еще мучительнее... Однако, мне кажется, Твоя теория быть искренним гарантирует Тебя от ошибок, старайся научиться себя слушать — это всего труднее, но зато и вернее...»

Идет весна 1895-го. В Ясной Поляне Лев Николаевич Толстой еще не начал рукопись «Хаджи-Мурата», хотя уже

сорок четыре года в нем движется этот замысел. У Лансере еще есть время приготовить себя к главному свершению своей жизни, о котором он ничего не знает, однако живет и работает так, будто ожидает отплытия своих «каравелл». В конце апреля, возвращаясь в дом Бенуа с Мойки из Школы Общества поощрения художеств по веселым, освещенным ярким солнцем улицам, он останавливается около упавшего на мостовую старого человека. Старик умирает на глазах юноши. Десять лет назад Женя Лансере уже видел смерть: прощание с любимым отцом в Павловске, панихида, похороны прошли через его детство. Однако впервые на его глазах перекинулся легкий мосток между жизнью и небытием. Уличная сцена потрясла *художника.* «Все это под замечательно ясным и прозрачным небом, в котором таяли облака волшебных форм; во время полного торжества весны с ее свежею, прозрачною зеленью... Это была такая картина, такой гимн... такая песнь жизни и смерти в одном моменте!!!» — пишет Евгений Евгеньевич в дневнике, словно предчувствуя, как прочтет на последней странице «Хаджи-Мурата»: «...милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей... и в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце».

Да, «каравеллы» Лансере почти готовы к отплытию. Теперь юноша в Париже, учится в Академии Калоросси. Но любимый сюжет о Колумбе не забыт. «Тоска и стремление вперед у Колумба и тайный страх и отчаяние матросов». «Рисовал Колумба. У меня еще масса вещей не обдумано в нем. Вот они... Вечер или день? Вечер, но в какой степени? Дует ли сильный ветер или нет? — Не сильный? Корабль неровно и медленно подвигается вперед. Но как это выразить? — вот штука!.. Боюсь непонятности, нецелости композиции». Этими же вопросами ему предстоит мучиться в будущем во время работы над «Хаджи-Муратом»: вечер, но в какой степени? дует ли сильный ветер? как это выразить? Правда, *Колумб* укажет ему все, почти все — про вечер и ветер, по крайней мере. Но в единственном, в главном, в «как это выразить» Колумб-Толстой даст ему задачу такой сложности, о которой и помыслить не могут все Калоросси планеты.

И вот начинается год 1896-й. Им датируется физическое начало «Хаджи-Мурата». 26 августа Евгению Лансере исполняется двадцать один год, 28 августа — день рождения Толстого, ему шестьдесят восемь. Как сказали бы астрологи, сопровождавшие каравеллы Колумба и Магеллана, эти люди роди-

лись под одной звездой. И в самом деле: биограф Лансере легко обнаруживает его внутреннее сходство с Толстым. Прежде всего — в программе самосовершенствования, несогласия с готовыми рецептами и определениями. «Я не могу с этим помириться!» — записал мальчик Женя. И это же девиз взрослого. «Я — живописец,— сказано в дневнике того же года.— Мое назначение выражать мысли, впечатления, чувства, направленные к удовлетворению вопросов моих собственных и окружающего общества... Чтобы моя нота звучала интересно, мне нужно, во-первых, быть очень образованным, много знать, видеть, чувствовать и все это ясно и твердо понимать и судить, то есть... понимать то, что интересует, что должно интересовать общество, знать, куда оно идет и должно идти». «Живопись — работать изо всех сил». А в одном из писем Александру Николаевичу Бенуа Лансере объясняет свою жизнь и творческую задачу так: «Я раньше всего хочу правды, какова бы она ни была».

Не оставив романтической мечты о Колумбе (в широком смысле Лансере не оставит ее никогда!), добившись свободного владения техниками искусства, умеющий работать и знающий, зачем и для кого нужно это умение художнику, Евгений Евгеньевич возвращается в Петербург. Юношеский дневник заменен «Рабочим журналом» — здесь он ежедневно фиксирует то, что намерен сделать и что действительно сделал.

В «Рабочем журнале» Лансере мы можем обнаружить его поразительные размышления о книжной графике, его теорию иллюстрации и «устройства» полиграфического издания. Он считает необходимым досконально продуманный макет книги. Не набросок ее внешнего оформления с эскизом обложки и титула, но *разнесенный постранично* (такое является в русском искусстве впервые!) подробный, словно архитекторские кальки, проект книжного здания. Стилистическое единство литературы и ей адресованной графики во всех элементах — от виньетки и колонцифры до иллюстрации — тема многих записей «Рабочего журнала». В это время Брокгауз и Ефрон издают «Библиотеку великих писателей» и Лансере получает почетный заказ: титульный лист к тому Шиллера. Но еще больше волнует его серия книжных украшений к «Дубровскому» и «Выстрелу» А. С. Пушкина для юбилейного трехтомника, готовящегося к столетию со дня рождения поэта. Лансере обязан был выполнить лишь небольшие заставки, однако они, по существу, становятся иллюстрациями малого формата. Его работой восхищаются все другие участники издания: Репин, Суриков, Серов, Врубель, Левитан, Васнецов.

Лансере, которому еще нет двадцати трех лет,— самый

Буквица работы Е. Е. Лансере

младший в этой славной когорте.

Среди первых книжнографических работ Лансере еще две кажутся мне особо примечательными, хотя они невелики и единичны. К статье о творчестве американца Уистлера в журнале «Мир искусства» Евгений Евгеньевич рисует поразительную заглавную буквицу. Это «К» (по счастливому совпадению очерк об американце начинается литерой Колумба!), вкомпанованная в морской пейзаж с покоряющей океан каравеллой. Соединение линий этой буквы образует своего рода готический свод, словно переплеты окна, через которое виден океан, корабельные снасти, грозное небо. Тонкий силуэт уходящего в прошлое парусника контрастен с плотной, как бы каменной литерой, занявшей весь строгий прямоугольник. Черное и белое. Дюрером дышит маленький лист, и невольно вспоминаешь божественные буквицы-рекламы «Корабля дураков» Себастиана Бранта.

Вторая, уточняющая облик Лансере-графика, работа тех молодых лет еще более близка величайшему графику Возрождения. Это шмуцтитул «Средневековая поэзия в миниатюрах» также для журнала «Мир искусства». Перед нами келья книжного писца-художника с шахматным полом, с рабочим столом, где на треугольном пологом ложе раскрыта книга, с табуретом, на котором сидит одетый в теплый халат и шапочку юного Дюрера миниатюрист. Как лев святого Иеронима, спит у его ног свернувшаяся в клубок большая собака, а за круглыми колоннами кельи-лоджии виден средневековый островерхий город. Лансере дает профильное изображение сцены переднего плана, которую Дюрер рисовал фронтально, а в деревянное узорочье стола художника вписывает свой инициал: «Е.Л.». Он ставит на пол амфору с каллами — в качестве дани памяти и почитания древней традиции книжно-

го искусства, а шрифт над картинкой — «Средневековая поэзия в миниатюрах» — располагает в виде обращенного назад штандарта...

Любопытно, что оба листа, о которых сказано выше, выполнены в годы, когда Евгения Евгеньевича остро волнует современность, общественные события. В «Рабочем журнале» среди размышлений о стиле искусства появляются такие записи: «Во всей нашей жизни нет никакого порядка, нет образа, нет формы, строя, устройства: наша жизнь бесформенна, беспринципна... Я как-то неожиданно для самого себя поставил ряд вопросов...» Лансере узнает о подпольной газете, «печатаемой здесь (то есть в Питере), рассылаемой и расходящейся в 20 000 экземпляров, редактируемой очень корректно: факты, цели, ясно и твердо».

Шмуцтитул для журнала «Мир искусства»

Принято, рассказывая о художнике, разделять «искусство» и «жизнь», находить в биографии творца некий день, когда они соединились, когда одна «вторглась» в другое. Нафталинная, вульгарно-социологическая схема... В конце 30-х годов старый человек и выдающийся мастер Евгений Евгеньевич Лансере просто ответил на обращенный к нему вопрос интервьюера «Как Вы изучаете жизнь?» Он сказал: «Как изучаю жизнь? *Я живу*». Замечательно.

Смешно думать, что в конце XIX — начале XX века, когда шло строительство этой художественной личности, «изучение жизни» было для Лансере чем-нибудь другим, кроме самой жизни. Его интерес к прошлому, к истории, к классическому наследию столь же социальны, как размышления о правде искусства и общественной его необходимости.

За два года до русско-японской войны Евгений Евгеньевич совершает путешествие в Сибирь и Маньчжурию, дорожные альбомы переполнены зарисовками: бесконечное разнообразие лиц, сюжетов, пейзажей, национальностей, архитектуры,

исторических достопримечательностей... Следующим летом — в 1903 году — избран другой маршрут: по срединной России, от Пскова до Курска. В Петербурге он бесконечно работает на улицах и набережных, на площадях, рынках, во дворах Васильевского острова. Он копит, собирает подробности, бесконечно тренирует в себе то, что еще мальчиком называл: «Я вижу!»

И нисколько не удивительно, что Лансере становится во время революции 1905 года участником демократических сатирических журналов «Зритель» и «Жупел», выходит к зрителю в качестве карикатуриста, отдает свое изысканное графическое мастерство оформлению свободной прессы. «Жупел» — по настоянию Лансере — набирался той же самой елизаветинской гарнитурой, которая чуть ранее появилась в журнале «Мир искусства», отысканной на складах Академии художеств, не отпиравшихся с XVIII века. В первом номере «Жупела» его участники напечатали обращение к коллегам из немецкого сатирического журнала «Симплициссимус», запрещенного царской жандармерией: «Сотрудники „Жупела“ через головы русской полиции шлют привет своим талантливым товарищам из „Симплициссимуса“, доныне не амнистированного русской цензурой».

Во второй номер «Жупела» Евгений Евгеньевич дал среднюю часть триптиха «Москва»: «Москва. II. Бой». Он писал в те дни брату Николаю Евгеньевичу: «Тот факт, что восстание могло длиться 10 дней и к тому же еще в Москве — факт грандиозный».

Цензура закрыла «Жупел», его издатель Гржебин был посажен в тюрьму «Кресты». Но участники журнала образовали новую редакцию, придумали ей новое название. Издателем «Адской почты» становится Лансере и публикует здесь целую серию сатирических листов необычайной динамической силы. «Радость на земле основных законов ради»: разгул пьяных черносотенцев, кликушествующих перед портретами «высочайших особ». Иллюстрация к «Изречениям и правилам Иегудиила Хламиды»: кляп, забитый в глотку мертвому. «Рады стараться, ваше превосходительство!» и «Тризна»: торжество офицерья и «бравых ребятушек» после жестокого баррикадного боя.

В письме эрудиту-дяде в Париж в январе 1906 года Лансере говорит: «...невозможно в настоящий момент быть посредине половины... Поэтому мне хотелось бы, чтобы все живое, все искреннее, все талантливое, все честное в искусстве... перешло бы на сторону социализма... Оно, живое, неизбежно. Потом оно несокрушимо в силу своего требования

справедливости. Уж мечту о лучшем будущем у рабочего из его души не вырвешь».

Любопытно, что в одном из писем Лансере к Бенуа содержится — словно бы перевернутый! — ответ Евгения Евгеньевича на вопрос: как Вы изучаете жизнь? «Вся молодость, вся жизнеспособность, все надежды, весь энтузиазм на стороне левых. И если социалистические книжки пишут люди, не интересующиеся искусством, то отсюда еще не следует, что и сама жизнь станет столь же теоретична и однообразна. И поэтому, т.е. для того, чтобы в будущем искусство заняло должное место, нужно теперь протянуть руку людям будущего и вместе строить».

Произведения Лансере для революционной прессы создавались alla prima — сразу набело, иначе нельзя в журналистике. Однако немного найдется в блистательной сатирической графике России листов, столь совершенных художественно.

Этот лирик, этот мечтательный романтик, оказывается, умеет презирать, сокрушать своим гневным смехом. Очень скоро — теперь уже меньше десятилетия — остается до той поры, когда и такая сторона его уникального дара будет необходима в главном труде жизни Лансере, ибо Толстой — «зеркало русской революции» — даст в «Хаджи-Мурате» не только картину чести и любви, но также подлости и бесславья власть имущих. Иллюстратор воспроизведет ее с той же монументальной и злой эпикой, едва задетой издевкой, какова она у Толстого.

Евгений Евгеньевич учится. Это значит — работает. В 1907 году издательство «Шиповник» выпускает «Календарь русской революции», впоследствии почти полностью истребленный жандармами. В издании участвуют товарищи Лансере по «Жупелу» и «Адской почте»: Чехонин, Кустодиев, Добужинский, Билибин. Фронтиспис к месяцу июню выполняет Лансере: перовой рисунок (словно бы натурный) запечатлел восстание на броненосце «Потемкин» — многофигурная динамическая сцена, матросы и офицеры. Через двадцать лет, обратившись к иконографии революционных событий, Сергей Эйзенштейн, работающий свою прославленную ленту, отыщет рисунок Лансере в одном из чудом сохранившихся экземпляров «Календаря» и возьмет его в качестве ключевой массовой сцены фильма «Броненосец „Потемкин“».

Однако тем же 1907 годом датирован и другой прекрасный лист Евгения Лансере, помещенный в журнале «Золотое руно»: «Венецианов и его ученики». Черный силуэт, где фигуры даны лаконической сплошной заливкой. Сюжет, словно увиденный из дальней дали, на контражуре, когда солнце

находится у горизонта, а зритель из глубокой тьмы созерцает мирную великую сцену начала девятнадцатого века. Перед нами тот самый срез венециановского «Гумна», о котором столько спорили современники великого русского живописца. Лансере — он незримо присутствует при происходящем — стоит где-то возле задней стены гумна вместе со зрителем, видит, как на открытом переднем плане застыла прекрасная жница с серпом, как у большого мольберта сидит на стуле Алексей Гаврилович в своих близоруких очках, длинной тонкой кистью пишет жницу. Рядом, за малым мольбертом, на табурете работает тот же сюжет парень в крестьянской поддевке, стриженный в скобку. А за спиной Венецианова следят за движениями его кисти двое — по видимости петербуржцы — один с рисовальным альбомом, другой, просто наблюдающий процесс этюда. Ворота гумна широко распахнуты, и просторный равнинный тверской пейзаж с перелесками и полевой дорогой, с шумящими на ветерке большими березами присутствует в уроке Венецианова, определяя особую его тишину, важность постигаемого учениками и самим мастером. Евгений Евгеньевич подписал этот лист не инициалами, как обычно, но поставил полный автограф, своего рода удостоверение свидетеля. Да, да, ведь я уже говорила: он присутствует в изображаемом им акте искусства, участвует в грандиозном событии, когда впервые великий художник поставил перед собой простого человека и передал с натуры его жизнь и судьбу.

Венецианов — честь открытия его непреходящих достоинств принадлежит Александру Бенуа, свершившего это на глазах у юного Лансере! — очень много значит для будущего иллюстратора Толстого. Венециановское великое творчество со всеми его высочайшими художественно-нравственными критериями — навечно эталон для Евгения Евгеньевича. С Венециановым — как с Дюрером, как с Леонардо — он ощущает кровную связь.

Повествуя о прошлом искусства, увлекаясь историей русского XVIII века, Лансере всегда, в сущности, говорит от первого лица. Мы ощущаем его свидетелем изображаемого, ибо язык его произведений обжигающе искренен, а существует ли большее чудо, чем возможность хотя бы на миг увидеть мир глазами другого? Лансере рад рассказать все, что знает об этом мире, а знает он теперь очень много. Он доверчив, на его листах легко встречаются две вечности — прошедшее и будущее, а эта встреча и есть настоящее.

Графике и живописи Лансере того времени свойствен нежный, тихий голос, его холсты и рисунки чуть печальны,

задумчивы. Евгений Евгеньевич иллюстрирует Лермонтова («Бэла», «Ашик-Кериб») и Гоголя. Постоянно рисует петербургские окрестности, сам город. Чаще всего его рисунки с натуры безлюдны. Он в кого-то всматривается в сырых сероватых далях и словно бы говорит нам: «Когда-то давно у меня пропал охотничий пес, гнедой конь и голубка, и я до сих пор их разыскиваю. Многих путников я расспрашивал о них, говорил, где они могли им встретиться и на какие клички отзывались. Мне попались один или два человека, которые слышали лай пса и топот коня и даже видели, как взлетала за облака голубка, и им так же хотелось найти их, словно они сами их потеряли... В данном случае труды сами заключали в себе награду».

Трудно сказать — именно эти или другие строки Генри Торо восхищали Евгения Евгеньевича. Или древняя мечта о Колумбе привлекла его к двум американцам, которых горячо полюбила в те годы русская интеллигенция: кроме Торо, дорогим чтением Лансере был в те годы Уолт Уитмен. «Я советую вам остерегаться всех дел, требующих нового платья... Нам не следовало бы обзаводиться новым платьем, как бы ни обтрепалось и ни загрязнилось старое, пока мы не свершим чего-нибудь такого, что почувствуем себя новыми людьми... Человеку следует быть одетым так просто, чтобы он мог найти себя в темноте; и жить так просто, чтобы быть готовым, если неприятель возьмет его город, уйти оттуда... с пустыми руками и спокойной душой».

Быть может, Уитмен и Торо были близки душе Лансере оттого, что она готовилась к «Хаджи-Мурату»? Быть может, когда в 1912 году на его рабочий стол легла рукопись Толстого, нашлись его «охотничий пес, гнедой конь и голубка»? Кажется, что нашлись они в самом деле. Недаром же еще в октябре 1897 года Лев Николаевич заносил в свой дневник: «К Хаджи-Мурату подробности: 1) Тень орла бежит по скату горы 2) У реки след по песку зверей, лошадей, людей...» Такой художник, как Евгений Евгеньевич Лансере, мог, разумеется, отыскать в подробностях «Хаджи-Мурата» тени и следы собаки, коня и голубки (верности, движения, кротости), которые так нужны, так насущно необходимы всякому часу, всякой минуте творчества.

В бесконечных альбомах натурных зарисовок Лансере, которые он вел с детских лет до самой смерти, последовавшей в 1946 году, его биограф обнаружит множество деталей «малого мира». «Ботанические рисунки», как их называют художники,— травы, неведомые лесные и полевые цветочки, листья, кроны кустов и деревьев и их разные, в зависимости от

времени года, дня и погоды состояния — собраны в этих тщательных штудиях бесконечно богато. Можно там найти и репей, или татарник. Но не тот, не такой, которым начинает «Хаджи-Мурата» Толстой; не тот и не такой, который столь долго, столь мучительно ищет Лансере для его книги.

Татарник (Лев Николаевич называет его простонародно: «татарин») — не только символ, но и портрет татарина Хаджи-Мурата. Здесь мы читаем не уподобление человека цветку, нередко встречающееся у Толстого (когда Вронский смотрит на Анну, «как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его», когда наблюдавшему за Анной Федоровной из «Двух гусаров» «приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, белорозовый пышный цветок без запаха»). Те цветы безымянны. «Татарин» же не только имеет имя, но и яснополянскую биографию у сорванного для букета предшественника: черноземное, только что вспаханное паровое поле. Между полем и дорогой стоит кустик «такого же „татарина", которого цветок я напрасно сорвал и бросил».

Тысячи раз исследователи Толстого цитировали абзац вводной главы «Хаджи-Мурата», где писатель дает подробное описание, словесный портрет знаменитого чертополоха. Не обойдемся без этого абзаца и мы, тем более, что иллюстратор с абсолютной непогрешимостью воспроизвел в своем рисовании не только содержание толстовского рассказа, скрывающийся за ним символ — «и мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история...» — но также и многовековую традицию пристального внимания, удивления этим будто бы никчемным, ненужным, однако могучим чудом природы, традицию, которая была когда-то начата Дюрером в его юношеском автопортрете.

«Куст „татарина" состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его».

Лансере трудится над «Хаджи-Муратом» почти четыре года, и его графика выполнена в самых разных техниках. Он

работает то пером, то кистью, использует тушь, акварель, гуашь, цветной карандаш, сангину, а также плотную, излюбленную древнерусскими живописцами для иконных работ краску — темперу. Иногда художник настолько нуждается в объеме изображаемого, в его материальности, что пишет не по бумаге или картону, но по доске, к тому же маслом... В его полиграфическом комплексе, сознательно не симметричном, лишенном «пропорций», когда художник вдруг дает в страничной иллюстрации громадную картину, а в развороте — всего лишь небольшой фрагмент, когда заставка (знаменитый «татарин») стóит подчас гораздо более, чем многофигурная сцена (бал у кавказского наместника), Лансере сознательно во всем следует за Толстым. Система его графики, по-видимому, лишена «системы», подобна страстной, сохраняющей шероховатость живого рассказа, речи писателя. Его иллюстрации то теснятся в книге, как горы Кавказа, то пространно и тихо движутся, повторяя медленный шаг к зимнему току старого крестьянина Авдеева. Лансере предстает лириком, эпиком, романтиком, сатириком. Он пейзажист, портретист, натюрмортист, книжный архитектор и оформитель, какого еще не встречал двадцатый век. Словом, это тот единственный и главный читатель, на которого, верно, надеялся титан русской литературы, великий старец, оставивший «Хаджи-Мурата» итогом своего колоссального творчества. Уникальный в своем роде читатель.

Но вернемся к репейнику на краю пустого, вспаханного под пар поля, к небольшой заставке, выполненной легкой и плотной гуашью. Читая и рассматривая «Хаджи-Мурата» с иллюстрациями Лансере, вы непременно заложите страницу с рисунком и будете открывать ее столько раз, сколько раз в книге вам встретится изображение главного героя. И всегда увидите в венчике «татарина» баранью шапку Хаджи-Мурата, опоясанную чалмой; в его силуэте — хромую стройную фигуру джигита, то конного, то опирающегося на саблю; а в целом образе цветка проглянет лицо, словно из глины, обожженной в лихорадочном пламени, возникнут светло-темные глаза, упирающиеся в зрителя пронзительно и недоверчиво, жестко и безмятежно. И еще долго после того, как закрыта книга, вы ощущаете настороженность, фаталистическую и изумленную решимость «татарина», несомую цветком,— так несет на себе одежду человек, долго ее не снимавший, не менявший дни и ночи, не покидавший ее в чужой стране, в ней спавший, в ней бодрствовавший. Вы задумаетесь об этом рисунке Лансере и поймете, что художник, с непреклонной «ботанической» точностью изобразив чертополох, дал ему все, присущее цветку,

кроме единственного: той безмятежной царственной праздности, с какой живет на земле любое из растений.

Ваши читательские зрительские размышления около «Хаджи-Мурата» Толстого-Лансере легко перемещаются из малого мира в большой — от цветка и птицы к горе и человеку. Из большого мира — снова в малый, собственный. От истории, литературы, искусства, великих жизней и их свершений — к своей памяти о выгоревших к осени травах на маленьком прямоугольнике могилы Толстого, и возникнет оливково-охристая тканевая шершавая обложка книги. Вы откроете форзац и сначала увидите бордово-лиловатые вышитые «огурчиком» сюзанэ, а потом вдруг пальцы ваши почувствуют, как рвется, сдвигается эта старая шелковая ткань, коричневатая, словно засохшая кровь, как с шелестом сыплется «вышивка», обернувшаяся крыльями бесчисленных пернатых. Потом — фронтиспис, исполненный матовой темперой: Хаджи-Мурат и его мюриды спускаются с гор. Картина, поражающая своей грандиозностью: горная истоптанная тропа почти вертикальна, всадники скачут плотным длинным строем и — на ваших глазах! — возглавляющий строй Хаджи-Мурат на секунду пришпорил коня, стал, и его спутники мгновенно повторили остановку, иначе все они слетели бы с кручи в глубокую, застеленную туманом пропасть. Лансере берет у Толстого даже ракурс своей композиции, запечатлевая в этом остром ракурсе чувство, с которым движется к младшему Воронцову бывший наиб Шамиля. Лист разделен на две половины по вертикали: слева — «истоптанная следами» тропа с конным строем, справа — бездонная, с курящимся туманом пропасть. Но и левая часть тоже взрезана на две части — диагональ тесной тропы отмеряет Хаджи-Мурату совсем малый краешек бытия.

Немного дальше я скажу о цвете Лансере, о непередаваемо тонкой гамме его сочетаний, никогда до него не существовавшей в книжно-графическом искусстве. Но пока снова возвращаюсь к форзацу-сюзанэ с крыльями странных пернатых, чтобы вспомнить один поражающий литературный документ. Он, как считают многие исследователи «Хаджи-Мурата», был своего рода внутренним эпиграфом Толстого в его отношениях с «давнишней кавказской историей», которую Лев Николаевич рассказывал яснополянским школьникам в молодости.

Брат Николай Николаевич, умерший в 1860 году, напечатал за три года до смерти в журнале «Современник» свою «Охоту на Кавказе», где мы можем прочитать легенду, подобную тавлинской сказке о соколе. Ее в конце XXII главы вспоминает Хаджи-Мурат.

У одного охотника улетел ястреб-гнездарь в лес, где жили его братья и отец. Вечером сел он на дерево вместе с братьями, а когда проснулся ночью, то увидел, что братья его все отлетели от него и сидели на других деревьях. Утром он рассказал об этом старому ястребу. „Верно, они боятся твоих бубенчиков". Молодой ястреб оторвал бубенчики и вечером опять сел на одно дерево с братьями; но те по-прежнему отлетели от него, и молодой ястреб опять рассказал старику. „Верно, они боятся твоих путлищ". Оторвал и путлища и опять сел с братьями на дерево, но ночью, когда молодой ястреб проснулся, братьев его не было с ним. Тогда он заплакал и полетел далеко в чужой лес.

Эта глубоко трагическая и правдивая сказка о ястребе, побывавшем на службе «у охотника» и не принятом назад в стаю его братьями, была отыскана первым комментатором «Хаджи-Мурата» Н. Лернером, написавшим к изданию с иллюстрациями Лансере предисловие. Как бы возвращая великого автора книги к годам его юности, его службы на Кавказе, его тесного общения с рано ушедшим братом, записавшим тавлинскую сказку, Евгений Евгеньевич создал *в числе прямых иллюстраций* к сюжету портрет молодого Толстого. Чем-то схожий с «татарином» и Хаджи-Муратом, перед нами — удалец-офицер и одновременно печальный, овеянный человечьим запахом ястреб. Юноша, обреченный в полном одиночестве пройти через долгое и тяжкое испытание и вынести не только муки достижения им же самим поставленной цели, но препятствия непредвиденные и непредсказуемые, пройти все и победить. Непоколебимой нравственной силой дышит некрасивое прекрасное лицо в ореоле языческого великолепия и одновременно стойкой сдержанности. Черно-белый рисунок тушью не имитирует натурное портретирование и не похож на парадные изображения авторов, помещаемые пред их сочинениями. Тема этого листа может быть, мне кажется, прочтена только так: «Толстой, которому суждено написать „Хаджи-Мурата"».

В предисловии иллюстрированного Лансере издания Толстому отнесены строки Баратынского, посвященные Гете:

Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату и в царский чертог...

Вот эту-то мечту и эту-то волю передал художник в рисунке, предваряющем книгу. В портрете Толстого, который, несомненно, может занять почетное место в галерее его великих изображений, созданных Репиным, Крамским, Ге, Паоло Трубецким.

Иллюстрация к повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат»

Графика к «Хаджи-Мурату» поставила Евгения Лансере в классический ряд отечественного искусства, не только благодаря своему художественному уровню — тончайшему проникновению иллюстратора в ткань литературы. Темы и типы «Хаджи-Мурата» связали Лансере с тем, что от века составляло «заколдованный круг» русской классики: вольнолюбивый Кавказ Пушкина и Лермонтова; русская деревня Некрасова и Толстого; ненависть к царизму и деспотизму во всех ее видах; презрение к чиновничеству и «свету»; дорога с фельдъегерской тройкой и полосатыми столбами, протянувшаяся от Гоголя до Лескова. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности»,— говорил Лев Николаевич.

А Стасов, когда-то слушавший чтение мальчика Жени Лансере из «Кавказского пленника», единомышленник и друг Льва Толстого, точно замечал: «Толстой заставляет говорить

языком поэзии факты и документы, а свой поэтический вымысел воспринимать как факт». Этими же словами мог бы он с полным правом оценить и работу Евгения Евгеньевича Лансере в «Хаджи-Мурате». Толстой вчитывался в воспоминания, документы, даже в статистику событий, о которых писал в «давнишней Кавказской истории». Во время отдыха в Гаспре ездил в Алупкинский дворец Воронцовых и подолгу глядел на семейные портреты. От истории он шел к поэзии. Путь иллюстратора был обратным. От поэзии, которой дышала рукопись Толстого на его столе, он шел к истории.

Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена кавказского наместника, и сам достопочтенный Михаил Семенович еще были живы в год появления на свет Лансере. Этих персонажей «Хаджи-Мурата» с детства считал Евгений Евгеньевич действующими лицами литературы: одну — великой лирики Пушкина, другого — его пламенной сатиры. Полторацкий, чьи имя и отчество поменял местами Толстой, ведя «давнишнюю историю», был близким родственником еще живой в 1875 году Анны Полторацкой-Керн. Песня, которую пел Ханефа в XX главе «Хаджи-Мурата», существовала к 1912 году в русской литературе те же тридцать семь лет, которые исполнились Лансере в начале его работы; стихи Фета, вспоминают мемуаристы, взрослый Евгений Евгеньевич читал столь же возвышенно, как мальчик Женя — «Кавказского пленника».

Станет насыпь могилы моей просыхать,—
И забудешь меня ты, родимая мать.
Как заглушит трава все кладбище вконец,
То заглушит и скорбь твою, старый отец.
А обсохнут глаза у сестры у моей,
Так и вылетит горе из сердца у ней.

* * *

Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой;
Но не ты ли была моей верной рабой?
Земля черная, ты ли покроешь меня?
Не тебя ли топтал я ногами коня?
Холодна ты, о смерть, даже смерть храбреца,
Но я был властелином твоим до конца;
Свое тело в добычу земле отдаю,
Но зато небеса примут душу мою.

С этими стихами Фета, с пушкинским «Талисманом» и «Чудным мгновеньем», со старинным изданием толстовских «Казаков» (их он тоже проиллюстрирует впоследствии) ехал Лансере на Кавказ — рисовать с натуры место действия «Хаджи-Мурата». В его путевых альбомах мы находим первые мысли будущих шедевров графики. Первые наброски листов: «В сакле Садо», «Бегство из аула», «Горы у аула Макхеты»,

«Шамиль среди мюридов», «Суд Шамиля», «Песня Патимат, матери Хаджи-Мурата, ласкающей маленького сына на кровле сакли».

Художника интересуют этнографические подробности (детали горского быта будут переданы в его работе с достоверностью исследователя), но более всего — пейзаж и человеческие типы. Он ищет личность, которую можно поставить перед горой. Вглядывается в лица долгожителей-стариков, отыскивая в них след вольной молодости. Пристально рисует юных, представляя их будущую зрелость. Словно с балкона детства, сверху, пишет он вид на долину с аулом Цельмес — суровое, исполненное достоинства и величавого равнодушия пространство. С любовью, равной, пожалуй, лишь чувству, которое в «Хаджи-Мурате» испытывает главный герой к своему сыну, изображает юношу — Юсуфа в момент прощания с отцом: «Лучше оставайся, ты один теперь в доме. Береги мать и бабку»,— сказал Хаджи-Мурат.

Вот так — *по-толстовски!* — дает Лансере портрет любого персонажа словно бы отраженным в сердце и глазах другого. Он подчиняет привычное видение «от первого лица» зрению «третьего лица», рисуя великую книгу.

Само собой разумеется, что Лансере исследовал и обширную иконографию времени (кавказские альбомы Г. Гагарина; батальные сцены Т. Горшельта; рисунки Коррадини; дагерротипы и фотографии, запечатлевшие Шамиля, Лорис-Меликова, Воронцова; портреты Воронцовых Винтергальтера и Генсена из галереи Алупкинского дворца), однако эта иконография почти совсем оставлена художником без внимания, какие-то моменты «сходства» учтены им не по источникам, но по Толстому.

По Толстому смотрит он и на русскую (петербуржскую, деревенскую, армейскую) часть «Хаджи-Мурата» и может повторить вслед за Львом Николаевичем: «Я в первый раз понял ту силу, которую приобретают типы от смело накладываемых теней». Вот здесь-то, наверное, и заключена особо важная сторона иллюстрационной серии Лансере: создавая свой цикл, он вводит в графику живописные приемы. Смело накладывает тени, используя богатейшую цветовую гамму, однако его живопись обладает тем же чувством меры, той же безжалостной и скупой объективностью, не отступающей перед любой правдой, как слово Толстого.

Лаконизм многоцветной передачи образом в графике к «Хаджи-Мурату», когда краска спрятана в оттенках, в полутонах, захватывает зрителя этой книги и в перовых, и в монотонно-акварельных рисунках. Картинка со среднерусской

деревенькой, где живут родители солдата Петрухи Авдеева, или нежная маленькая заставка с Зимней Канавкой (не екатерининской, как в «Пиковой даме», но остраненной и отчужденной — николаевской), разорванный разворотом пейзаж Дворцовой площади, видимый из царской приемной, куда идет докладывать о письме Воронцова Чернышев,— составляют живую ткань изобразительного повествования художника, следующего шаг в шаг за писателем и точно повторяющего не только его сюжет, но и его интонацию.

«Парадная приемная с дверью в кабинет Николая» — один из важнейших листов в иллюстрационном цикле Лансере. В нем ощутим язвительный стиль сатирика «Жупела» и «Адской почты», убравшего, однако, прямое жало и позволяющего себе высказать только презрение и скуку, соответствующие толстовской эмоциональной палитре. Помещение, где все «чуть-чуть более», чем это нужно: чуть более раболепен царский лакей (чем может быть лакей царский); чуть более, почти как лужа, сверкают лаковые полы; чуть велики шпоры у флигель-адъютанта, чуть более крепко, чем нужно, держащего царскую дверь; чуть более, чем прилично, выпячен царедворческий зад Чернышева под гибкой старой спиной. Все «чуть-чуть», почти незаметно. На первый взгляд, даже почтительно изображает Лансере эту страшную приемную. На второй — слишком, до оскомины почтительно. На третий — с отвращением, до тошноты.

Только в этой иллюстрации, писанной акварелью и принадлежащей к русской «властьимущей» части «Хаджи-Мурата», Лансере продолжает быть живописцем. Его живое письмо, его сердечность отданы в книге темам Кавказа, деревни, солдатской службы и солдатской смерти, но «свет» он изображает в сухих графических техниках (чаще всего — подцвеченный перовой рисунок) как-то мелконько, дробненько, словно бы имитируя жалкую иконографию альбомов из гостиных середины века.

Живописи «Царской приемной» им дана параллель — «Шамиль с наибами». Схожие с царедворцами Николая своим рабьим восторгом, теснятся около своего владыки остолбеневшие от крика и винтовочных выстрелов в воздух фанатика-слуги, медленно движется среди них круп белого коня со срезанной правой вертикалью головой. Упираясь взглядом в холку лошади, едет истукан в зеленой черкеске. Лансере работает темперой, и матовые плотные краски создают в этой сцене тот же эффект «чуть-чуть», который был найден акварелью для приемной Николая. Текучая бликующая акварель давала там чуть более сверкания; не имеющая отблеска

темпера дает здесь чуть более тишины, скученности, страха. Так художник-виртуоз разными средствами и разными техниками осуществляет мысль Толстого: «Меня занимает здесь... крайне любопытный параллелизм двух главных противников, Шамиля и Николая — представляющих вместе как бы два полюса абсолютизма, азиатского и европейского».

Последняя страничная иллюстрация этой книги потрясает своим трагизмом. Окровавленный Хаджи-Мурат обнимает голый ствол дерева. Пальцы держатся только из-за шероховатости коры. Обезумевшее, почти потерявшее человеческий облик лицо, закатывающиеся глаза, но по губам начинает движение его удивительная «детская улыбка», которая сохранится и на отрубленной мертвой голове. Лансере находит возможным написать кровь Хаджи-Мурата тем же сумасшедше-красным цветом, который зритель до сих пор видел только однажды: в холсте Репина, где Иван Грозный убивает сына Ивана. И несмотря на открытый красный цвет, эта картина (здесь годится только такое определение) более всего подобна маленькой черно-белой заставке начала — с «татарином», открывающим вход в книгу...

«Habent sua fata libelli» — «Свою судьбу имеют книги». Так говорилось тысячелетия назад, и эту фразу мы уже упоминали в начале очерка. Но правильней будет процитировать ее дальше, как это делает Толстой в статье «Что такое искусство», созданной в тот же период его жизни, что и «Хаджи-Мурат».

Лев Николаевич пишет: «...книги имеют свою судьбу *по разумению читателей*». И многие поколения читателей решают судьбу лучших творений литературы, но не забудем (как это предчувствовал и Толстой, всегда столь внимательный к своим иллюстраторам), что у книги есть первый и, быть может, главный читатель: ее художник.

Александр Николаевич Бенуа не по праву родства, но по праву своего высочайшего авторитета в искусстве написал о *читателе* Толстого: «Лансере — по природе иллюстратор... без всякого преувеличения... гениальный иллюстратор!.. Слишком огромно искусство Толстого, чтобы вообще допускать какие-либо сравнения. Но тем значительнее то, что рисунки Лансере сохраняют рядом с толстовской колоссальностью и свою значительность, свою прелесть, что они не только дают тонкую и точную „справку по сценарию“ и рисуют типы действующих лиц, но, кроме того, складываются в самостоятельную песнь, прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого».

После «Хаджи-Мурата» Евгений Евгеньевич Лансере прожил еще три десятилетия, много работал, занимаясь живо-

писью, графикой, плакатом, сценографией, монументалистикой, преподаванием. Он еще не раз обращался к «могучей музыке» Толстого, и второй вариант «Хаджи-Мурата» или «Казаки» ставились уже на советские книжные полки, создавая эталон классического прочтения. Он умер после Великой Отечественной войны в Москве. На Сретенском бульваре стоит многоугольный дом в тяжелых рустах, когда-то принадлежащий акционерному обществу «Россия». Там прикреплена ныне мемориальная доска Лансере, написанная шрифтом, напоминающим найденный Евгением Евгеньевичем в юности, когда он рисовал свою реплику к листам Дюрера. Любого, кто идет мимо белой плиты,— по форме такой же, как могильный камень Хаджи-Мурата на авантитуле великой книги — она заставляет вспомнить изображенные художником сине-зеленые горы Кавказа, непокоренный татарник — движения кисти и карандаша, исполненные тонкой деликатности, понимания, высокого духовного изящества. И кажется, что в ожидании этого выдающегося своего читателя, *по разумению* которого продолжает жить в нашей памяти его книга, сказал Толстой: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного есть один несомненный — заразительность искусства... Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми... Искусство не есть наслаждение, утешение или забава, искусство есть великое дело».

Л. Юниверг

КНЕБЕЛЬ И НАРБУТ

(Из истории русской детской книги начала XX века)

Солнцу, звездам и луне,
Детям всем во всей стране.

Георгий Нарбут

Эпиграфом к нашей статье взято посвящение на авантитуле одной из замечательных иллюстрированных детских книжек начала XX века — «Как мыши кота хоронили» В. А. Жуковского, с рисунками Г. И. Нарбута (1886—1920). Раскрытая на великолепно скомпанованном титульном развороте, она представлена на выставке «Книжные сокровища Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» рядом с детскими книжками И. Я. Билибина и А. Н. Бенуа. Это не случайно. Г. И. Нарбут не только освоил, но и закрепил и развил достижения старшего поколения художников «Мира искусства» в книжной графике.

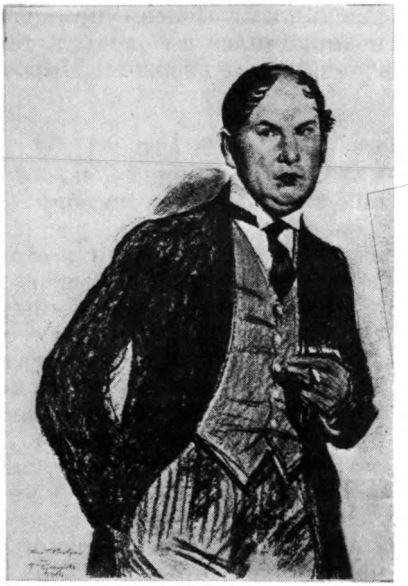
Знаменитая серия нарядных детских книжек-тетрадок, оформленная и иллюстрированная Нарбутом, была создана им по заказу известного московского издателя И. Н. Кнебеля (1854—1926) — основателя первого в России специализированного издательства по изобразительному искусству.

Как и при каких обстоятельствах родился этот плодотворный творческий союз издателя и художника? Каковы были их взаимоотношения? Наконец, как появились на свет те или иные из нарбутовских детских книжек?

На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в данной статье.

В середине 1900-х годов Иосиф Николаевич Кнебель получил широкую и заслуженную популярность в художественных кругах России. Он стал известен не только как владелец книжного магазина, библиотеки для чтения и склада наглядных пособий, но и как издатель первоклассных репродукций с картин лучших отечественных и зарубежных живописцев. К этому времени относится и качественно новое отношение Кнебеля к двум другим направлениям издательской деятельности — выпуску пособий для наглядного обучения и детских книг. Если в первом из них Кнебель поддержал лозунг

И. Н. Кнебель, 1910
Публикуется впервые



Г. И. Нарбут
Портрет работы Б. М. Кустодиева

прогрессивной педагогики: «Искусство в школу!», то во втором — стал сторонником создания подлинно художественной детской книги. В целом усилия издателя были направлены на повышение эстетической культуры детей.

До этого среди оформителей и иллюстраторов кнебелевских детских книг почти не было интересных, значительных художников. Издания Кнебеля для детей выделялись на общем фоне тогдашней детской литературы только своим высококачественным полиграфическим исполнением.

Настоящей издательской удачей Кнебеля стал выпуск трех книжек русских народных сказок и прибауток в пересказе и с иллюстрациями Е. Д. Поленовой. Их успех, а также замечательные достижения в оформлении детской книги С. В. Малютина, В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и А. Н. Бенуа помогли издателю верно предвидеть дальнейший путь развития и становления новой детской книги. С этого времени Кнебель стал энергично искать иллюстраторов, способных творчески переосмыслить достигнутое, добиваясь единого решения в оформлении художественно-иллюстрированной детс-

кой книги. Поиски привели издателя в Петербург, где он познакомился с молодым, тогда еще совершенно неизвестным художником Георгием Нарбутом.

* * *

Весной 1907 года И. Н. Кнебель навестил И. Я. Билибина. Разговор их, видимо, касался участия художника в создании нового школьного пособия «Картины по русской истории», а также обсуждался вопрос об их возможном сотрудничестве в издании детских книг[1]. Можно предположить, что в тот же день состоялось знакомство Кнебеля с Нарбутом, жившим в одной квартире с Билибиным. Зная о бедственном материальном положении своего ученика, Иван Яковлевич, вероятно, рекомендовал издателю его иллюстрации к сказкам «Журавль и Цапля» и «Медведь». Не только в манере их исполнения, но и в профессиональной проработке оригиналов ощущалось влияние учителя, что сразу привлекло внимание Кнебеля и расположило его в пользу билибинского ученика: он согласился издать предложенные рисунки. Таким образом, в конце 1907 года увидело свет их первое совместное издание, выпущенное тиражом 5000 экз. и ценой в 50 коп. (аналогичный тираж и цена сохранились и для всех последующих нарбутовских книжек в издательстве Кнебеля).

Можно представить себе радость Нарбута и его благодарность Билибину за удачное ходатайство. В самом деле, получить работу в столичных издательствах без рекомендации для безвестного художника было тогда почти неосуществимым делом. Позже Нарбут свидетельствовал: «Без протекции, без письма от известного уже мастера к издателю не суйся — почти никогда ничего не выйдет. Сколько я обил порогов у Вольфа, Маркса и других петербургских издателей! Ответ один: „Так работы были бы подходящие, если бы на нашу тему... Когда будет работа, напишем... Оставьте адрес и пр.“. Потом ждешь, ждешь и никогда никаких предложений»[2].

В поисках работы Нарбут обращался за помощью ко многим столичным деятелям, в том числе к одному из крупнейших историков искусства, художнику А. Н. Бенуа (1870—1960). Просматривая адресованные к нему письма Нарбута, невольно удивляешься неутомимой энергии и бесконечной вере в свое призвание, которые помогали начинающему художнику преодолевать все препятствия на пути к большому искусству.

«Многоуважаемый Александр Николаевич! Прежде всего приношу извинения за беспокойство,— так начал Нарбут свое первое письмо к Бенуа.— Я сын помещика Черниговской губ.

...хотя не особенно богатого, а между тем я нуждаюсь в деньгах. А это вот почему... (далее идет рассказ об отце, который живет на жалованье, а доход тратит на питомник плодовых деревьев. Он хотел, чтобы его сын, т. е. автор письма, помогал бы ему в этом деле, в то время как Нарбута «тянет рисовать» — *Л. Ю.*) На этой почве у меня с отцом вышли крупные неприятности. Я уехал в Петербург и решил прожить как-нибудь, чем слушать различные попреки отца. Теперь мои финансовые дела не из блестящих. Может быть мне можно хоть куда-нибудь пристроить некоторые свои рисунки. Вы, вероятно, знаете как это трудно неизвестному художнику без солидной рекомендации. Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой: не поможете ли Вы мне в этом деле? Может быть Вы достанете мне какую-либо работу (обложки или что-либо в этом роде). За что буду Вам очень и очень признателен. Не назначите ли Вы мне времени, когда бы я мог поговорить по этому вопросу с Вами лично?..»[3]

Бенуа сочувственно отнесся к молодому художнику и стал, по мере возможности, помогать ему. К счастью, помощь не ограничивалась лишь рекомендациями к знакомым издателям. Гораздо больше дало Нарбуту общение с этим энциклопедически образованным в области искусств человеком и его кругом: Бенуа и его друзья помогли Нарбуту успешно начать путь художественного образования. В эти годы он неустанно и целеустремленно учился не только у Билибина, но и у М. В. Добужинского и Л. С. Бакста, преподававших в школе Е. Н. Званцевой. В этой мастерской Нарбут, обычно рисовавший только по памяти, пытался овладеть навыками работы с натуры. В начале весны 1909 года молодой художник впервые участвовал в самой представительной столичной выставке того времени — VI выставке Союза русских художников.

Примерно в это же время Кнебель возобновил сотрудничество с Нарбутом. На этот раз он заказал художнику сразу несколько детских книг. Осуществиться новому издательскому предприятию, видимо, помог А. Н. Бенуа, с одной стороны, веривший в творческие возможности молодого художника, а с другой — высоко ценивший издательский талант И. Н. Кнебеля. (Позже А. Н. Бенуа писал о нем: «Во всяком большом деле — главная сила в личных человеческих качествах, сообщающих предприятию и жизненность, и яркость, и значительность; и этими личными качествами в избытке обладает Кнебель». Отзыв Бенуа хранится в Отделе рукописей Русского музея, ф. 137.)

Все лето 1909 года Нарбут работал над иллюстрациями к кнебелевским детским книжкам. В письме к Бенуа от 26 июня

1909 года, полном искренней благодарности за участие в его судьбе, он писал: «Я делаю иллюстрации к нескольким книжкам (детским) для изд. И. Кнебель в Москве. Рисунки в одной из этих книг я уже давно решил посвятить Вам и теперь прошу у Вас на это разрешение... Я вам так признателен за все то, что Вы, посторонний для меня человек, сделали мне. Я перед Вами в большом, большом долгу и не знаю, как мне Вас благодарить...» (А. Н. Бенуа не возражал против посвящения и оно появилось в 1911 году на 1-й книге «Игрушки» Б. Дикса.)

К концу 1909 года Нарбут, закончив иллюстрации к русским народным сказкам «Война грибов» и «Деревянный орел», начал работать над двумя следующими: «Теремок» и «Мизгирь». К этому же времени относится начало работы над сказкой В. А. Жуковского «Как мыши кота хоронили». Уже в этих работах Нарбута проявилась характерная и для всех последующих его кнебелевских книжек черта — максимум графики при минимуме текста. Сочная, выразительная обложка, обязательный авантитул, декоративно оформленный титульный лист, повторяющиеся орнаментальные рамки вокруг полосы набора, заставки, концовки, буквицы и, наконец, три-четыре полосных иллюстрации — таков набор рисованных графических элементов, искусно использованных художником в 12-страничной кнебелевской книжке-тетрадке. С этого времени начинался наиболее интенсивный четырехлетний период сотрудничества Кнебеля с Нарбутом.

Небольшой перерыв был сделан лишь в связи с трехмесячной поездкой Нарбута в Мюнхен в начале 1910 года для продолжения художественного образования. По словам вдовы Нарбута В. П. Линкевич, деньги на поездку дал Кнебель. Вероятно, эта сумма была авансом художнику, в талант которого поверил издатель. Из сохранившихся писем Нарбута известно, что он поступил в частную школу Ш. Холлоши. Несмотря на частые занятия в школе, посещения национального музея в Пинакотеки, Нарбут скучал по Петербургу, по друзьям-художникам. «Хотя у меня здесь есть довольно порядочно знакомых и немцев и русских,— спустя месяц с лишним писал он домой,— но все-таки скучновато...»[4] А к исходу третьего месяца, в письме к Бенуа от 27 апреля 1910 года Нарбут жаловался: «Приходится мне на Пасху сидеть одному. Тоска смертная, немцы надоели. Подумываю уже как бы отправиться куда-нибудь в другое место...» Вскоре художник покинул Мюнхен и вернулся в Петербург.

По возвращении из-за границы Нарбут с радостью продолжил работу над детскими книгами Кнебеля. Он завершил начатые в конце 1909 года иллюстрации к сказкам «Теремок»,

«Мизгирь» и «Как мыши кота хоронили» (две первые вышли под одной обложкой в 1910 году), а также иллюстрировал сборник русских народных песенок и потешек «Пляши Матвей, не жалей лаптей».

Все три книжки различны по приемам и манере исполнения. Если в первой ощутимо влияние японской графики, во второй — немецкого художника Юлиуса Дица, мастера графической переработки великих исторических стилей прошлого, то третья — «Пляши Матвей...» — вводит нас в царство игрушек. В нем уже давно господствовали петербургские художники-ретроспективисты, особенно двое из них — А. Бенуа и М. Добужинский. Надо сказать, что Нарбут целиком разделял это увлечение своих старших коллег и так же, как они, собрал неплохую коллекцию глиняных и деревянных игрушек. Он в значительной мере использовал их, когда в следующем году создал целый цикл иллюстраций, к которым позже Б. Дикс написал стихотворный текст. Так родились две книжки «Игрушек».

К сожалению, различные стилистические заимствования, проявившиеся в упомянутых работах Нарбута, не перешли в новое качество, в единую систему собственного творческого почерка, и потому прав был Бенуа, резонно заметивший: «Творчество Нарбута очень изящно, графично, но оно не лишено влияний, иногда совершенно стушевывающих личность самого художника» [5].

Тем не менее можно найти то общее, что роднит все книги Нарбута и выделяет его среди других художников,— необыкновенное техническое совершенство исполнения. Это качество целиком выявляет себя лишь при удачном воспроизведении оригинала в печати. Здесь важно подчеркнуть, что со времен ученичества Нарбут проявлял большой интерес к самому процессу печати, к труду типографских мастеров. «Нарбут сознавал себя художником, вступившим в тесный союз с печатниками,— писал Э. Ф. Голлербах в книге „Нарбут, его жизнь и искусство“ (Берлин, 1923, с. 33),— и выработал особые приемы рисунка в предвидении штрихового клише. Он правильно учитывал все особенности типографской техники и старался упрощать свои композиции». Этим объясняются высокие полиграфические качества нарбутовских книжек. В отличие от большинства других детских книг Кнебеля (в частности, изготовленных в Москве), они, в основном, печатались не литографским, а цинкографским способом, что явилось определенной новацией в этой области издательского дела.

Кнебель отдавал должное полиграфическим познаниям Нарбута. Он знал, что художник был частым гостем типогра-

фии т-ва Р. Голике и А. Вильборг — одной из лучших петербургских типографий того времени, где печаталось большинство заказанных Нарбуту кнебелевских книг и где опытные метранпажи и работники цинкографии делились с ним своими профессиональными секретами. Таким образом, Нарбут постепенно выработал в себе навыки художника-производственника, для которого рисунок до тех пор оставался неполноценным, пока не получал соответствующего репродукционного воплощения. Отсюда такие особенности почерка художника, как четкость и ясность рисунка, немногочисленность красочных тонов.

С каждой новой книгой, созданной совместными усилиями, издатель и художник все более сближались. Кнебель высоко ценил графический талант Нарбута, его стремление сделать книгу оригинальным произведением искусства, наконец, его любовь к самому «деланию» книги. Нарбут, как правило, соглашался на любые заказы: будь то обложка, подпись, геральдическое украшение (к ним он питал особое пристрастие), штамп для переплета или рисунок для форзацной бумаги, издательская марка или плакат. Немало книг оформил и проиллюстрировал Нарбут для петербургских и московских издательств, в том числе для т-ва М. О. Вольфа, т-ва И. Д. Сытина, «Просвещения», «Шиповника», «Пантеона» и др. Некоторые из изданий, как например «1812 год в баснях Крылова» (Спб.: Община Св. Евгении, 1912) или «Спасенная Россия в баснях Крылова» (Спб.: Сириус, 1913), являются одними из лучших нарбутовских книг. Но только в издательстве Кнебеля, где художник создал целую серию детских книг, разнообразных по манере и графическим приемам, в полную силу засверкало его многогранное дарование. В этом немалая заслуга издателя, предоставлявшего художникам полную свободу творчества, или, как выразился А. Н. Бенуа, дававшего «волю талантам наших превосходных иллюстраторов».

Кнебель не без оснований считал, что в детской дошкольной книге главное лицо, ее творец — художник, а потому не возражал против помещения на авантитулах и титульных листах многих нарбутовских книг торжественных именных посвящений, к которым был склонен художник.

Об атмосфере общения издателя с петербургскими художниками той поры сохранилось свидетельство друга Нарбута, художника Д. И. Митрохина, также немало лет сотрудничавшего с Кнебелем в издании детских книг: «Когда приезжал из Москвы И. Н. Кнебель, то собрания наши затягивались до 5 часов утра; распределялись работы, намечались книги для

иллюстрирования... Предполагалось иллюстрировать классиков нашей литературы...»[6]

Видимо, во время одного из таких ночных собраний 1911 года Нарбуту было предложено иллюстрировать несколько басен И. А. Крылова. Художник взялся за дело с большим подъемом, так как ему предоставлялась возможность соприкоснуться с любимой эпохой, в которую жил и творил Федор Толстой — крупный и своеобразный художник, непревзойденный мастер силуэта. Под его влиянием Нарбут не раз обращался к черно-белой силуэтной графике — то в оформлении книжных обложек и заставок, то в вырезных (из черной бумаги) портретах своих друзей и знакомых. Накопленный опыт в этой специфической, чисто графической технике исполнения, пригодился Нарбуту при работе над серией крыловских басен.

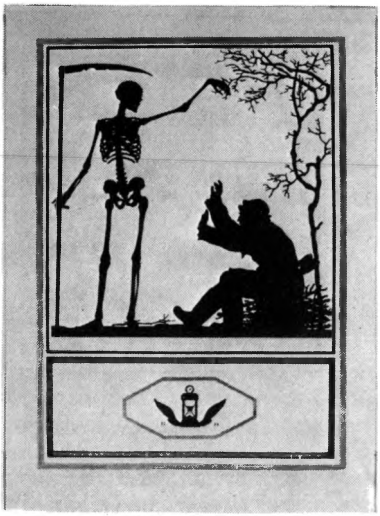


Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Крестьянин и Смерть»

В первой же книге — «Три басни» (1911), куда вошли «Лжец», «Крестьянин и Смерть», «Фортуна и нищий», художник нашел собственный силуэтный стиль, выделяющийся четкостью и завершенностью форм. При этом монументальность сочетается с лаконизмом, а строгость с изяществом рисунка. Эпоха классицизма, русский ампир хорошо угадываются в стилистике нарбутовских иллюстраций.

В «Баснях Крылова» (1912) Нарбут продолжает совершенствовать силуэт и разнообразит иллюстрации к «Стрекозе и Муравью», «Лисице и винограду», «Кукушке и Петуху» введением тонкой подцветки — коричнево-золотистого и серо-лилового фона.

Книга Нарбута год от года становилась все более строгой, совершенной, и два новых кнебелевских издания свидетельствовали, что художник достиг подлинных высот графического мастерства.

К крыловским басням примыкает последний цикл иллюстраций, созданных художником для серии детских книг Кнебеля,— рисунки к сказкам Х. К. Андерсена. Всего за

Титульный разворот книги И. А. Крылова

1911—1913 годы Нарбут оформил и проиллюстрировал четыре сказки Андерсена, две из которых — «Соловей» и «Прыгун» — вышли соответственно в 1912 и 1913 годах, а две другие — «Оловянный солдатик» и «Старый уличный фонарь»,— к сожалению, так и не были изданы[7].

Наиболее значительной книгой андерсеновского цикла по праву считается «Соловей». Безукоризненный вкус и выдумка художника ощутимы в каждом ее графическом элементе, начиная с изысканной орнаментальной обложки, имитировавшей модную, в восточном стиле, ткань начала века, и кончая тонким, ажурным силуэтом концовки, оживленной негромкой, сдержанной подцветкой. Это, по словам А. А. Сидорова, «быть может самая простая из всех книжек Нарбута», безусловно служила «восстановлению высокой красоты книги прошлого». Здесь уместно отметить, что «Соловей» — пока что единственная из нарбутовских книжек, переизданная в последнее время.

Нарбут был прирожденным графиком и по характеру своего дарования тяготел больше к оформлению, чем к иллюстрированию. Не случайно в детской книге, где главным графическим элементом является иллюстрация, ему удавалась больше оформительская ее часть. Нарбут, видимо, сам чувствовал, что «той интимности, того ощущения детской стихии,

Иллюстрации к сказке Х. К. Андерсена «Соловей»

которые так характерны для Малютина и Поленовой, у него нет»[8]. Некая отстраненность, присущая и его старшим товарищам — Билибину и Бенуа,— вносила едва заметный, но ощутимый холодок в его замечательные по технике и стилю работы. В связи с этим, детские книги Нарбута в издании Кнебеля были как бы адресованы и взрослым — любителям художественно-иллюстрированных изданий. Наконец, и это может быть главная заслуга Нарбута, они послужили хорошим примером для всех последующих художников детской книги, так как основной урок Нарбута, как справедливо отмечал А. А. Сидоров,— «безукоризненность мастерства, сознательное отношение ко всем задачам сопровождения текста и украшения страницы. Поставленный здесь уровень столь высок и образец столь безупречен, что за имя Нарбута нам не страшно»[9].

* * *

В мае 1914 года открылась Международная выставка печатного дела и графики в Лейпциге — наиболее представительная из всех ранее проводившихся книжных выставок.

Устроители русского отдела постарались отобрать для своего павильона все лучшее, что было в книжном деле России.

Предваряя в каталоге раздел «Современная иллюстрированная книга», С. К. Маковский с гордостью писал, что издания, «выпускаемые ныне наиболее просвещенными из наших издателей и типографов, отличаются особым вкусом, изысканностью и своеобразием» и что с полиграфической стороны «русская изящная книга за последнее время несомненно прогрессирует... В этом убедится каждый, кто осмотрит собранные в этом отделе издания, среди которых, конечно, получили место исключительные книги, изданные и напечатанные целиком в России».

Среди 200 книг этого раздела 30 были изданы И. Н. Кнебелем. В их числе — 12 детских нарбутовских книжек, безусловно ставших событием в русском художественно-издательском деле начала века.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Для издания Кнебеля «Картины по русской истории», выходившем под ред. и с объяснит. текстом С. А. Князькова в 1908—1913 гг., И. Я. Билибин исполнил картину «Суд во времена „Русской правды“».

О встрече с Кнебелем весной 1907 г. и об их совместных планах издания былин или русских народных сказок с его иллюстрациями Билибин сообщал в письме к С. А. Князькову от 24 августа 1907 г.— См.: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике/Ред.-сост. С. В. Голынец. М., 1970, с. 83, 84.

Однако желаемой договоренности достигнуть не удалось ни тогда, ни позже. Видимо, возникли разногласия материального порядка. Будучи одним из ведущих графиков книги, Билибин оценивал свои работы весьма высоко, в то время как Кнебель вел дело очень экономно и не был склонен к выплате чрезмерных авторских гонораров.

[2] Нарбут Г. И. Автобиографические записки/Публикация С. И. Белоконя.— Искусство, 1977, № 2, с. 67.

[3] Письмо Г. И. Нарбута к А. Н. Бенуа от 1 ноября 1907 г. — ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1255, л. 1—2. Все последующие письма Нарбута к Бенуа хранятся в том же фонде и цитируются впервые.

[4] Письмо Г. И. Нарбута к Г. К. Лукомскому от 5 марта 1910 г.— ОР ГРМ, ф. 109, ед. хр. 113, л. 5 об.

[5] Бенуа А. Н. Выставка «Мир искусства».— Речь, 1911, 14 янв.

[6] Митрохин Д. И. Памяти Нарбута.— Среди коллекционеров, 1922, № 9, с. 7.

[7] Почти все оригиналы Нарбута к этим сказкам не сохранились, очевидно они погибли в Москве в 1915 г.— См. об этом: Охочинский В. О посмертной выставке Нарбута в Русском музее.— Среди коллекционеров, 1922, № 9, с. 57; Білецький П. А. Георгій Іванович Нарбут: Нарис про життя і творчість.— Кіев, 1959, с. 15.

[8] Дульский П., Мексин Я. Иллюстрация в детской книге. Казань, 1925, с. 66.

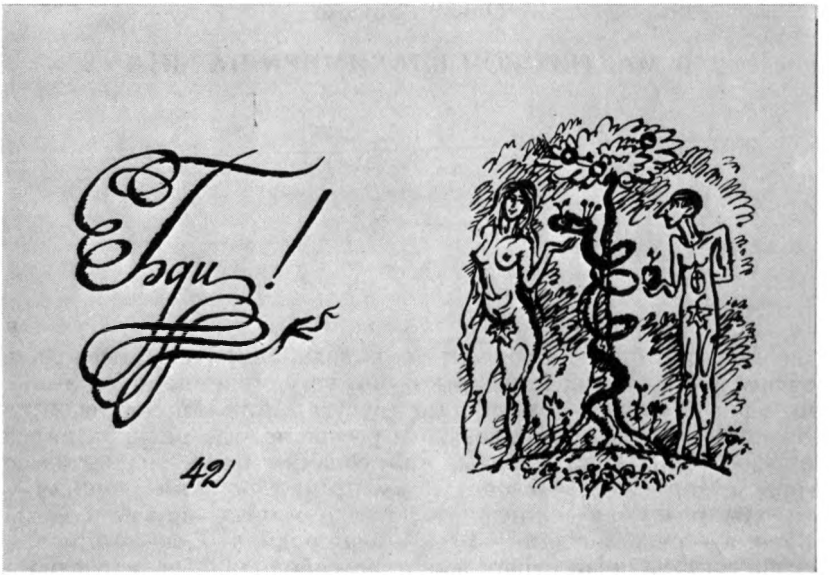
[9] Сидоров А. А. Нарбут и его книги.— Печать и революция, 1923, кн. 5, с. 64.

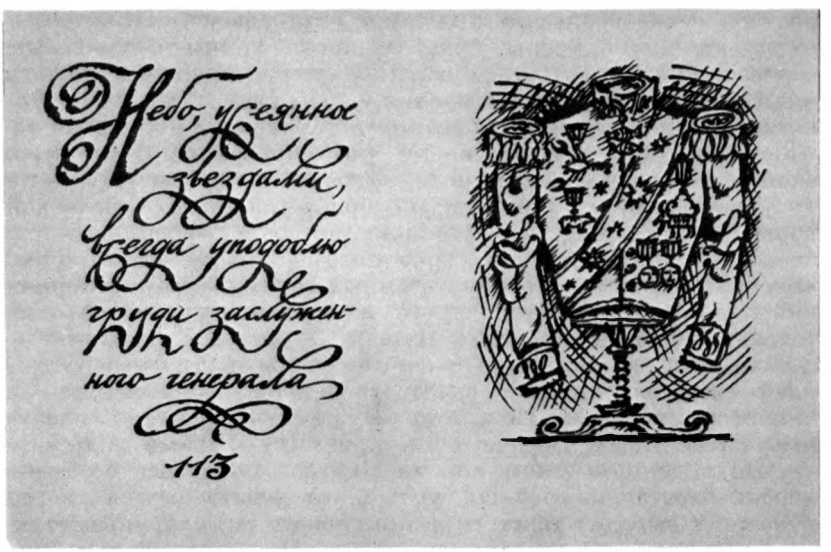
Ольга Ерохина

В МАСТЕРСКОЙ ВЛАДИМИРА ВАГИНА

Мы не были знакомы; я видела, впрочем, несколько оформленных им книжек. Были они на удивление изысканны; ни одна из них не походила на другую. Миниатюрное издание Козьмы Пруткова — витиевато и роскошно, где рисунок вился из последних букв фразы, как облачко пара, выдыхаемое словом; шрифт замысловат и выспрен, как сами речения — «плоды раздумья» (книга эта, как и многие другие работы Вагина,— рукописная). Блок — благородная сдержанность, строгость — черный супер, по которому белым — бесхитростно и изящно — имя автора, название, виньетка внизу, как легкий росчерк пера. Уральские частушки — тут разгул красок, орнамент, ярчайшие узоры, текст выписан каким-то смешным образом (буквы как буквы, а в них уже до прочтения текста видится юмор, тончайшая ирония и грубоватая шутка). Рисунки же дотошно следуют за текстом, старательно изображая то, что можно понимать не иначе как фигурально. Например, окончание какой-то частушки: «Тебя, милый, высушу» — на рисунке болтается прищепками прикрепленный к бельевой веревке «милый». Мне это напомнило и лубок, и — еще больше — печные изразцы, виденные в Коломенском музее. «Весна Победы» — сборник военных стихов — миниатюрная книжечка, оформленная строго и скромно, как фронтовая тетрадь. «Сказка о попе...» Пушкина — каждая страничка — словно кадр немого кино с пояснительными титрами, текст плюс рисунок, каждый разворот видится, обрамленный в виньетки, законченным и в то же время неразрывно связанным с соседними. Перевернешь страничку — новый кадр.

Из виденного мною Козьма Прутков показался особенно хорош: блестящая графика, умная, тот редкий случай, когда художник выводит текст за рамки первого смысла, «высветляет», насыщая его своими рисунками. Неожиданно комичны буквальные (как в «Частушках») иллюстрации; высокопар-





Иллюстрации к «Плодам размышлений» Козьмы Пруткова

ность и «торжественность» стиля достигает, кажется, той степени, где можно уже лопнуть от важности. Вот разворот: глубокомысленное, в завитках, прихотливо друг друга повторяющих, двойных и одинарных, невероятно изящно выписанное: «Ревнивый муж подобен турку» — и на соседней странице, точно, турок — весь в завитках дыма, в тюрбане, сидит по-турецки перед огнем. В руках у турка турецкая кривая сабля, на коей нанизано два сердца, которые «басурман» жарит на огне. Ужасно и изящно! — это сочетание дает замечательно комический эффект.

Повесть Л. Леонова «Evgenia Ivanovna» показалась хорошо сделанной, но для Вагина не характерной. Иллюстрации легкие, психологичные, тонкие, как сам роман,— все же это иллюстрации, не более. Впрочем, книга сюжетная не нуждается так в художнической режиссуре, как, скажем, сборники частушек, скороговорок, афоризмов; художник, по-моему, не вправе переосмысливать, домысливать авторский текст — именно потому, что есть автор. Он может быть соавтором, помощником, конструктором книги. В «Evgenia Ivanovna» чувствуется привычное для нас разграничение: текст — иллюстрация. И это показалось мне неким отступлением от вагинского стиля...

Впрочем, о каком стиле может идти речь, раздумывала я, если в Пруткове он — один, в военной тетради — другой, в «Частушках» — уже совершенно третий? Большой мастер — это бесспорно. Возьмите книгу Блока — она сделана так, будто издана при жизни поэта — и шрифт, и виньетки... Или «Частушки» — тут лубочные краски, и прихотливо-грубоватые буквицы пляшут по страницам... В каждой из виденных мною вагинских книг манера графики, шрифта (если книга рукописная) настолько различны, что трудно поверить в то, что все это сделано одним человеком.

И все же есть у них нечто общее. Все книжки, выполненные этим художником, приятно взять в руки. Все до одной прекрасно выполнены — даже, осмелюсь сказать, наилучшим образом. Каждая вагинская книга — единое произведение искусства: расположение текста, шрифт, рисунки, певучесть рукописных строк — книга будто спета на одном дыхании...

Вагинские книги музыкальны. Художник способен так вжиться в книгу,— которой еще нет, и она в нем должна родиться, осуществиться, реализоваться в вещь,— что находит единственно возможный способ воплотить ее, дыша с ней, несуществующей пока, в унисон; он так чутко вслушивается в ее строй и ритм, ее живое звучание, что как бы забывает о себе и выводит пером опять-таки то единственно возможное,

Иллюстрация к повести Л. М. Леонова «Evgenia Ivanovna»

что будет органично словам. Именно поэтому книги Вагина столь утонченны, его сочувствие автору, идее книги — так глубоки, перо — так проникновенно бережно. Он так вслушивается в дыханье книги, стараясь не заглушить своим, собой книжную душу, что стиль его может на первый, поверхностный взгляд показаться лишенным индивидуальности. Однако вагинский стиль ощущается четко — прежде всего в единстве книги, в идеальном соответствии составных ее частей: смысла, текста (как он выглядит), иллюстраций к нему (порой даже трудно отделить одно от другого, текст может восприниматься как часть орнамента, и всегда текст у Вагина графически активен), формата, переплета и других компонентов.

...Мне редко доводилось видеть столь маленькие книжицы — размером меньше ладони... (Потом оказалось — Вагин состоит членом Клуба любителей миниатюрных изданий.) В этом есть что-то особое — книга как маленький зверек или птица, что-то живое, такое уютное, и общение с ней так интимно.

Мастерская Вагина оказалась совсем не похожа на мастерскую: ни холстов, ни подрамников, ни простора, ни некоторого беспорядка, которые ассоциируются с мастерской художника, здесь не было.

А было: небольшое помещение, скорее напоминающее уединенный кабинет, книги от пола до потолка, замечательный, старой работы, резной стол с зеленым сукном, на котором гранями, сумеречно поблескивая,— чернильный прибор, кажется, гусиное перо, массивная лампа. «А что, я график, мне места много не нужно,— усмехнулся Владимир Васильевич моему недоумению.— Все на этом столе умещается...»

Портрет Гете

Стол у него замечательный, тепло-зеленый (от сукна), теряющийся в глубине комнаты, у окна; мягкий ламповый свет, теплый — живет на ворсистой поверхности; кабинет будто перемещен на 14-й этаж московского дома откуда-то из старой сказки. Здесь, кажется, время отбивается иначе, чем в заоконном городе, все тише, глуше, оно ступает кошачьими мягкими лапками, смотрит зеленым глазом — и тихо, неслышно, постоянно творится работа — в глубине этой тишины. Именно здесь я (впервые, кажется) ощутила, что вещи могут жить самостоятельно, как в андерсеновской сказке — чернильница, перо, книги, лампа... Все было тягуче-волшебным, и странно здесь было разговаривать будничными голосами...

«Вообще каждый раз стиль диктует книга, от меня требуется соответствие с текстом — какой автор, эпоха. А самым главным учителем я бы назвал народное творчество (Вагин оживился) — колодец, откуда черпать можно бесконечно,— что я и делаю. Лубок, пряники, прялки — знаете городецкие прялки?.. Лубок — это вообще прекрасно — можно работать пером, кистью, карандашом; первые лубочные картинки отпечатывались с дерева (луб — значит липовая кора) и были в сущности подобием гравюры; поэтому стилевые особенности лубка — может быть, неосознанно — входят в мой почерк...»

О шрифтах:

«Мое кредо — знать, уметь применять шрифты, соединять рисунок со шрифтом, который я вижу как непреложный компонент графического облика книги. Идеально, по-моему, чтобы и писалось и рисовалось одной рукой...» (говорил, чертя непрерывно карандашом). Я заметила, что Вагин не рассуждал вообще о книжной графике, стилях — он рассказывал о своей работе, о своем подходе к книжному ремеслу конкретно и просто, будто речь шла о труде плотника. Говорить, видно, он был не большой охотник.

«Я считаю, что художнику надо оформлять книгу от корки до корки. Есть художники-иллюстраторы и есть художники-оформители; я стараюсь делать книгу единой, не разбивая целое — поэтому приходится выступать в обоих качествах...»

Я: «Как выбирается книга для оформления?»

Он: «Бывает, работу над изданием, что хотел бы видеть у себя на полке, сам осуществляю... или предлагают мне... В ближайшем будущем заканчиваю „Лирику“ Гете (в руках у Вагина макет элегантной книжицы в сером шершавом переплете), она будет послана на конкурс в Лейпциг. (В книжице-макете наклеены прекрасные офорты. И вновь — на удивление, совсем новый, не виденный мной прежде почерк! Ра-

боты можно было принять за офорты минувшего века...) В издательстве „Художественная литература“ делаю „Русские классические эпиграммы“ — там будут литографии; готовлю книжку русских народных сказок».

Для издательства «Художественная литература» Вагин делает офорты к книге «Подпоручик Киже». Вышли прекрасно оформленные «Скороговорки» и «Русские народные потешки» — переплет из рогожи, с закладкой-лапоточком.

Иллюстрация к «Лирике» И. В. Гете

Его путь. Когда исполнилось 14 лет, поступил в художественно-ремесленное училище в городе Калинине, там изучал азы книгоиздательского искусства, живопись, рисование, машины; работал на Калининском полиграф-комбинате. «Все это было интересно и даром не прошло... Вообще рисовать любил с детства — сказки, портреты родных. Первая иллюстрированная книга — «Чайка» Бирюкова. Объявлен был конкурс в Калининском книжном издательстве, мне тогда было 19 лет — получилось так, что я победил... Потом приехали на практику студенты из Москвы, из полиграфического института, и начали подбивать — а не поступить ли и тебе к нам? Попробовал — поступил...»

Я попросила Владимира Васильевича высказать свое мнение об отечественной книжной графике нынешнего столетия.

«Бенуа, Добужинский, Лансере, Бакст дали нам совершенно новое понимание книжного оформления по сравнению с тем, что им предшествовало. Далее — яркий этап — 20-е годы, эпоха конструктивизма, ломка всяких традиций. Это время дало нам таких блестящих иллюстраторов, как Эль Лисицкий, Конашевич, Лапшин, Кустодиев, Нарбут, Родченко. Книжная графика становится более динамичной, рисуют жестко, гра-

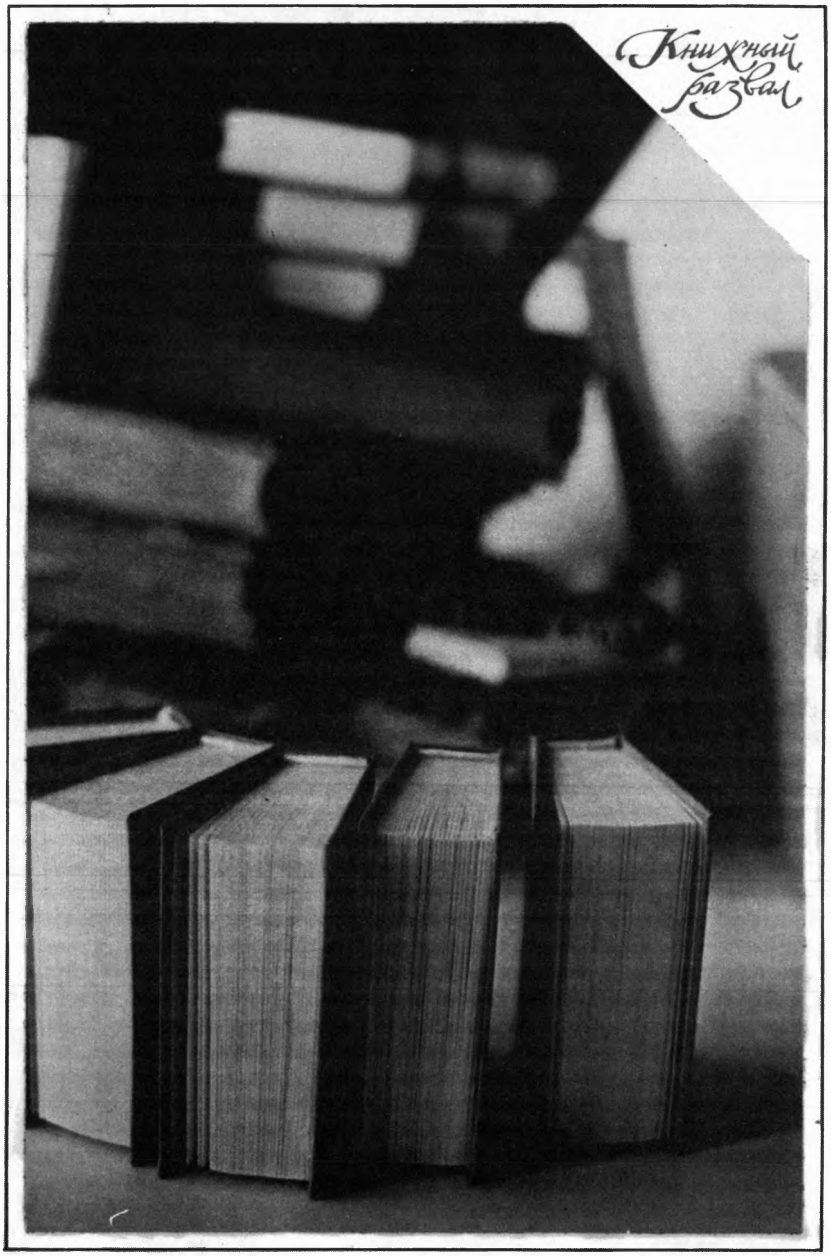
Рисунки к басням С. В. Михалкова

фично, выразительно. Характерны для этого времени разные стилевые почерки.

50-е годы — взлет станковой иллюстрации в книге: Шмаринов, Верейский, Кибрик — но все это в отрыве от общего организма книги. Сегодняшняя книга — более слаженная во всех компонентах, дизайнерски организованная. Она стала более цельной, органичной. Появились хорошие дизайнеры книги. Сейчас трудно говорить о какой-то единой тенденции, но ясно одно — идет поиск, проводятся эксперименты. Особенно ясно это можно увидеть в книгах по искусству, в художественной литературе это только намечается».

Как корреспондент «Альманаха библиофила» (который, надо, наконец, сказать, тоже оформляет Владимир Вагин), я спросила хозяина мастерской о его библиотеке. Вагин прежде всего заметил, что он не является библиофилом, и книги собирает по принципу первой необходимости — плюс то, что интересно, нравится. На полках я увидела множество книг по искусству, особенно — о графике, живописи, о художниках; были специальные издания о шрифтах и посвященные русскому народному творчеству. Легко узнавались на полках книги, оформленные самим Владимиром Васильевичем, особенно миниатюрные,— мал мала меньше... (Я спросила его: что он особенно хотел бы иметь? Сказал: давно мечтает о Данте. Я пошутила: проиллюстрируйте великого итальянца — чем не способ достать книжную редкость!..)

...Теперь я хочу задать себе вопрос: почему, когда я думаю о книгах, оформленных Владимиром Вагиным, мне хочется использовать термины кино? Хочется сказать: не разбивка текста, а — раскадровка, даже видится «правый и левый ряд», как в сценарии, и страницы — не страницы, а цепь кадров — стоп-кадров, которые при листании оживают и движутся... Видимо, можно говорить о статике и динамике книги. Книги, сработанные Владимиром Вагиным,— внутренне подвижны, чем-то они действительно напоминают кинематограф. Здесь есть ритм, монтаж, кадрировка пространства и, главное,— здесь есть время, живое, протекающее мгновениями стоп-кадров — страниц. Как кино по существу своему дискретно, прерывисто, так и здесь не статика — лишь элементы движения, перерывы между мгновеньями — и книга живет, пульс бьется, и остановки нет... И в этом — одна из важнейших особенностей стиля художника, его яркая индивидуальность, его лицо.


Книжный
базар

Раиса Гершзон

В МИРЕ МИНИ-КНИГ

Репортаж

— У миниатюрной книги — большое будущее! — возбужденно воскликнул один из собеседников.

— Боюсь, что в огромных тиражах она потеряет прелесть чего-то необычного, уникального, что так привлекает нас в произведениях искусства,— возразил другой.— Можно, правда, допустить, утилитарное применение. В самом деле, хорошо иметь при себе легкое, удобное издание, которое помещается в нагрудном кармане,— например, расписание автобусов или электричек, указатель и справочник по городу...

Я оказалась случайным свидетелем этого, на мой взгляд, интересного разговора. И, чтобы привязать услышанный диалог к месту и времени действия, позволю себе небольшое отступление.

Кто из москвичей не знает строгое старинное здание на Манежной площади — прекрасный образец русского классицизма XVIII века — Московский университет имени М. В. Ломоносова, этот храм отечественной науки и культуры. И, наверное, многих заинтересовала бы надпись на одной из вывесок у входа: «Выставка редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ».

Вхожу в просторный светлый зал — сокровищницу древнейших и редчайших книг. После шума московских улиц тишина кажется ошеломляющей, под ее покровом совершается нечто удивительное — переносишься в глубь веков. «Здесь былое чудно веет обаянием своим»,— вспоминаются слова Тютчева.

Один на один ты можешь соприкоснуться с величайшими памятниками человеческой мысли. Вдоль стен бесконечные стеллажи с книгами в старинных переплетах, редкими изданиями — это дарственные личные библиотеки видных русских писателей и ученых. С душевным трепетом обнаруживаю в прозрачных стеклянных витринах книги с автографами

А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и С. М. Соловьева, а рядом с древнейшей рукописной книгой, имеющей мировую известность,— Апостолом 1072 года, греческий текст которого написан на тонком пергамене изящной «жемчужной» строкой со множеством золотых букв,— соседствует первопечатная книга, вышедшая из-под руки Гутенберга. Но разговор пойдет не о них...

В центре зала, в стеклянных витринах, передо мной — россыпь разноцветных и разноформатных книжек-малюток.

На этой выставке собраны миниатюрные книги, изданные у нас в стране за последние четыре года: поэтические сборники, произведения русских и зарубежных классиков, литература братских республик.

Главный раздел — политическая литература. Труды В. И. Ленина в переплетах цвета алого знамени. Многотомные, с золотым тиснением, издания Ленинианы. Прекрасно, с большим мастерством выпущенные книги воспоминаний товарища Л. И. Брежнева — «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

Еще одна книжка, дорогая сердцу каждого советского человека — Гимн СССР.

В отдельной витрине выставлены миниатюрные издания Конституции СССР. Они разнообразны и по размеру, и по оформлению. Вот книжка пурпурного цвета, а вот изумрудная, как малахитовая шкатулка, рядом темно-синяя, как южное ночное небо. Ташкентское издательство выпустило серию на разных языках: русском, узбекском, арабском, немецком, английском, испанском. Такое внимание полиграфистов к выпуску миниатюрных изданий Конституции СССР не случайно. Это традиция еще революционных лет.

...Грозный 1921 год, время разрухи и голода. Принята первая Конституция РСФСР. Молодое Советское государство обнародовало Основной закон страны. Наряду с обычными изданиями было выпущено и миниатюрное — одно из первых в Советской России. Его набрали и отпечатали рабочие 3-й Государственной типографии города Кинешмы.

Выпуск миниатюрной книжки всегда был делом исключительным и значительным. Первое отечественное издание появилось в Москве в 1829 году. Это была маленькая книжечка с длинным названием — «Гостинец милым малюткам на Новый год, или Собрание забавных сказок и басен». Так типограф Август Семен продемонстрировал свое мастерство, хотя до совершенства было еще далеко. Подлинным шедевром книгопечатного искусства в России можно назвать басни Крылова, выпущенные в 1855 году в Петербурге. В книге

изящный титульный лист, портрет Крылова в овальной рамке, 25 басен на 84 страницах. На каждой странице около 500 печатных знаков, шрифт был отлит из серебра, долгое время он считался самым мелким в мире. Можно только восхищаться тем, до какой степени совершенства было доведено книгопечатание в России XIX века. Издания эти уникальны.

Целая витрина отдана каталогам и всевозможным указателям. Среди них бросается в глаза интересно оформленная книжка Гейнца Кноблоха, помещенная в футляр, по всей поверхности которого в несколько поясов проходит название «Вокруг книги», набранное разными шрифтами. Рядом — миниатюрное факсимильное издание «Азбуки» русского первопечатника Ивана Федорова. Есть и книжечка, как шкатулка, расписанная в палехской манере, в ней подборка репродукций — миниатюры художников Палеха. В разных вариантах — издания сказов Бажова, стихов Гейне...

Книг много — 453 названия. Одна другой меньше. Мне хочется найти среди них самую маленькую. Вот она — в ней фрагменты из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» — книжка величиной с почтовую марку — 6×10 мм. Всего на 4 мм она уступает в размере самой маленькой в мире книжке, отпечатанной микроскопическим шрифтом с наборной формы в Падуе в 1896 году,— письму Галилея к Кристине ди Лорена.

По закону единства противоположностей пытаюсь найти и самую большую. Здесь их оказалось... большинство! — книг размером 10×10 см, законно причисленных к миниатюрным изданиям. Жаль только, что не все поражают нас уровнем типографского исполнения, прекрасным оформлением. Может быть, причина в том, что выпустить книжку маленького размера — большая трудность для книгоиздания и это уже входит в область высокого полиграфического искусства. Как тут не вспомнить прекрасный сказ Лескова «Левша», где русские мастера превзошли английских, подковав микроскопическую блоху сверхмаленькими подковками, которые в свою очередь были подбиты невидимыми гвоздиками.

В современную книгу вкладывается труд многих людей. Целое производство занято созданием маленькой книжки. Миниатюрные издания становятся массовыми, в этом они теряют свою неповторимость, своего рода уникальность и назначение редкого сувенира или просто красивой вещицы. Книжки-малютки во всем, в том числе и содержанием приближаются к стандартным изданиям.

Самые ранние небольшие книги были выпущены в 1468 году учеником Гутенберга Петером Шеффером. Это была

эпоха бурного развития искусства и науки. В Европе появлялись новые университеты, многочисленным студентам нужны были книги, много книг. Пользоваться дорогими, роскошными фолиантами, часто в тяжелых серебряных окладах, не очень удобно. Понадобились книги и полегче, и подешевле.

Эти первые малоформатные издания могут показаться великанами, если их сравнить с маленькими книжками, которые вошли в моду в XVIII веке буквально «с легкой руки» французской королевы Марии Антуанетты, заказавшей своему придворному типографу такую маленькую книжечку, чтобы ее можно было носить в... перчатке, сделав неразлучным спутником во время прогулок по тенистым аллеям Версаля...

И сегодня, в век радио и телевидения, книга — наш незаменимый собеседник. Везде и всюду она с нами — и дома, и в походе, и в метро, и в... космическом полете.

Передо мной витрина, в которой всего три книжечки. На первый взгляд они мало чем отличаются от других. Но эти маленькие томики обладают необычным достоинством — вместе с космонавтами Ю. Н. Глазковым, В. В. Горбатко и П. И. Поповым они совершили полет в межпланетное пространство. «Целина» Л. И. Брежнева, «Космонавты СССР», «Фронтовая лирика» — книжки-космонавты. Представьте себе, как приятно в далеком мире холодных и загадочных звезд перечитывать знакомые строчки, прикасаться к шуршащим страницам. Не случайно предпочтение было отдано миниатюрной книге — легкая, удобная, она почти не занимает места.

Все знают, как важно экономить бумагу. Леса сегодня уже не кажутся неиссякаемыми, а тревожные заявления ученых об охране лесного богатства — преувеличениями. На маленькую книжку бумаги уходит в несколько раз меньше...

Владелец библиотеки миниатюрных книг при желании может полностью разместить ее в чемодане. Книжки, занимающие так мало места, все чаще появляются на прилавках магазинов рядом с книгами большого формата. Коллекционеры могут ликовать. А читатели?

Статистические данные покажут наглядную картину стремительного роста изданий миниатюрной книги. В дореволюционной России всего было выпущено 234 названия. С 1918 по 1975 год в стране напечатано 232, а с 1976 по 1980 год — 452 названия.

Маленькие книжки прочно занимают свое место в книгоиздании. Прекрасно оформленные, они производят хорошее впечатление: изысканный, в строгом контрасте черного и белого цветов, сборник сонетов Шекспира; интересно иллюстрированный художником Г. Бернштейном роман Д. Дидро «Пле-

мянник Рамо» — условный рисунок своеобразно передает сложность мировосприятия автора...

Вот еще несколько книжек-малюток. На обложках — с детства знакомые портреты Пушкина, Лермонтова, Некрасова в овальной рамке. Трехтомные издания великих русских поэтов напечатаны на высококачественной бумаге, красиво оформлены. Миниатюрные, очень нарядные томики аккуратно расположились в витрине. Вглядываюсь в раскрытый сборничек стихотворений Тютчева — читать тяжело, шрифт очень мелкий и нечеткий. А вот «Стихотворения Бунина» — совсем другое дело — шрифт отчетливый, читается легко, эту можно и в дорогу взять.

А рядом прекрасно оформленная художником А. Костиным книжка Л. Н. Толстого «Холстомер». Маленькая копия с серьезных академических изданий. Действительно, и полиграфисты, и художник отнеслись к этой маленькой книжке с большим вниманием.

Экскурсовод с гордостью говорит, что миниатюрные книги теперь снабжаются научными комментариями. На вопрос: «Для чего?», ответил: «Миниатюрная книга поднялась на более высокую ступень и призвана быть теперь удобным помощником читателей и исследователей».

В этой же витрине еще одна книга привлекла мое внимание — белоснежная с золотыми разводами, чем-то неуловимо напоминающая древнюю Русь с золотым звоном колоколов. Это «Задонщина», оформленная художником Г. Комаровым.

А вот томик в пластмассовой прозрачной коробочке. Это афоризмы Козьмы Пруткова «Плоды раздумий». Рядом с книгой лупа. Очень удобно. Странички испещрены четкими, стройными строчками, которые легко прочитываются и так. Вся книжка написана от руки художником В. Вагиным. На память приходят рукописные книги, от которых точно так же веет живым теплом рук.

Шрифт незаметно, исподволь, уже самой своей гарнитурой — утонченностью или прямотой, изощренностью или натиском — выстраивает цепь ассоциаций, создающих неповторимый аромат книги, ее дух.

Есть среди книжек-малюток и лауреаты Всесоюзного конкурса искусства книги — это «Газели» Рубаи, «Река жизни» Алишера Навои, «Доброе слово — ключ к жизни» — все они оформлены художником И. Кириакиди. Графические иллюстрации отпечатаны с авторских досок.

Вновь и вновь прохожу мимо витрин. Одни книги вызывают интерес, мимо других проходишь равнодушно, не замечая,

есть и такие, которые определенно не нравятся. Что ж, мини-книга только начинает свой большой путь.

Многотиражность книг малого формата достигается при помощи фотонабора. Стандартного формата книгу уменьшают и получается миниатюрная книжка. Это самый легкий, но не самый качественный способ.

Мне думается, что основное предназначение книги — чтение. И если миниатюрные издания претендуют на массовость, то они должны быть не только красивы, привлекательны внешне, но и, главное, легко читаемы. Правда, как простодушно заметила моя приятельница, «трудность в чтении есть... Но зато в промежутке, когда твои глаза отдыхают, есть возможность подумать о прочитанном...»

Н. Богомолов

В ЗОРЕВЫЕ ГОДЫ

(Литературные альманахи и сборники 1918—1922 годов)

Многие исследователи литературы XX века пользовались и пользуются фундаментальной четырехтомной библиографией, составленной О. Д. Голубевой и Н. П. Рогожиным и посвященной русским литературно-художественным альманахам и сборникам[1]. Там описаны эти книги с 1900 по 1937 год, описаны достаточно подробно: указывается название, год выхода в свет, издательство, количество страниц, тираж (если он известен), цена. Полностью раскрывается содержание издания, перечисляются авторы произведений, названия их, обязательно даются первые строки стихотворений, поскольку названия часто менялись, а первая строка более устойчива, и таким образом стихотворение проще отыскать.

Купив том этого указателя, составленный Н. П. Рогожиным и посвященный 1918—1927 годам, я считал, что теперь у меня в руках универсальный помощник, который позволит легко и быстро найти ответ на самые разные вопросы, связанные с произведениями, напечатанными в альманахах того времени.

Но вот мне подарили сборник «Звучащая раковина», вышедший в Петрограде в 1922 году. Он должен был стоять в этой библиографии, но его не было. Я утешился тем, что в любом, самом подробном указателе бывают пропуски, от которых не застрахован никто, даже самый добросовестный библиограф или исследователь литературы. Потом, однако, пришлось убедиться в том, что работа Н. П. Рогожина выполнена далеко не безупречно: сверяя содержание появившихся в моей библиотеке сборников «Эпоха» (М., 1918) и «Поэты пушкинской поры» (М., 1919) с их описаниями, я обнаружил, что некоторые произведения, напечатанные в них, в указатель не попали.

Это заставило внимательнее приглядеться к указателю, проверить его полноту и верность описания. Работая над

диссертацией о русской поэзии эпохи гражданской войны, я специально занялся составлением собственной библиографии и обнаружил, что назвав 77 альманахов и сборников первых трех лет советской власти[2], исследователь Н. П. Рогожин пропустил по меньшей мере 100 альманахов, то есть число пропусков почти в полтора раза превзошло число описаний. В библиографии не представлены целые «гнезда» альманахов, выходивших как в провинции, так и в столицах. Конечно, далеко не все они интересны сегодняшнему читателю, часть из них забыта совершенно справедливо, но исследователь, который захочет подробно и объективно разобраться в истории культуры тех неповторимых лет, не сможет пройти мимо этих сборников.

Мне пришлось пересмотреть в крупнейших библиотеках Москвы и в ленинградской Публичной библиотеке множество изданий того времени. Среди них были и прекрасно изданные солидные тома на отличной бумаге, и тоненькие книжечки на ломающейся и уже коричневой от времени газетной бумаге, с неизменным лозунгом на титульном листе: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Мелькали сотни фамилий людей — тех, имена которых остались в истории советской литературы, искусства: Луначарского, Брюсова, Маяковского, Блока, Белого, Пастернака, Ахматовой, Демьяна Бедного, Мандельштама, Хлебникова...

А рядом с ними — имена тех, кого не знают самые эрудированные историки и библиографы,— писателей, выпустивших по одной книжке, а то и вообще выступивших один раз в том или ином сборнике — и все. Но и их публикации таят в себе существенные черты того неповторимого времени.

Больше всего в те годы было альманахов поэтических. Это естественно: поэзия тогда решительно превосходила прозу по количеству публикаций, да и, пожалуй, по художественным качествам. Время прозы еще не наступило.

Современник писал: «К 1921 году в одной Москве насчитывалось уже 49 литературных школ (не считая мелочи) и до 2000 поэтов»[3]. Естественно, что все эти поэты и школы искали себе места прежде всего на страницах альманахов. Газеты не могли уделять им много места, журналов было мало[4]. Для книги же необходимо было собрать достаточное количество стихов. А юным стихотворцам не терпелось, поэтому большинство выбирало такой путь: несколько начинающих авторов (они привлекали одного-двух из числа уже составивших себе имя) собирали свои немногочисленные стихи вместе и издавали альманах. В те годы выпустить небольшой сборник было достаточно просто. Вот как, например, Э. Миндлин вспомина-

ет о выпуске в Феодосии альманаха «Ковчег»: во время выступления группы поэтов на эстраде ФЛАКа (Феодосийского литературно-артистического кружка) была выручена некоторая сумма; всю ее отдали двум членам группы — Э. Миндлину и А. Соколовскому, которые и занялись сбором рукописей и изданием альманаха. Тираж его составил сто экземпляров: пятьдесят было продано через книжную лавку, остальные авторы получили на руки с тем, чтобы распродать их самостоятельно[5].

Именно так издавали свои сборники различные поэтические группы, иногда довольно устойчивые, а чаще — мимолетные.

В библиографии Н. П. Рогожина описаны сборники имажинистов, ничевоков, кружка поэтов при Пушкинском обществе Петроградского университета, поэтов-суриковцев, «Островитян», эмоционалистов, «Литературного особняка», неоклассиков, коллектива поэтов «Небесный трактир», «Никитинских субботников», «Серапионовых братьев», «Скифов», «Цеха поэтов»... К ним можно добавить не отмеченный Н. П. Рогожиным второй сборник имажинистов «Конница бурь» (М., 1920) — первый (вышедший в том же году) включал произведения Есенина, Мариенгофа, Ивнева, Клюева, Орешина и Герасимова, второй же объединял под своей обложкой Есенина, Мариенгофа и А. Ганина. Не отмечены у Н. П. Рогожина также московское издание «Серапионовых братьев» (1922) и четвертый альманах «Цеха поэтов», изданный в Берлине в 1923 году.

Несколько литературных групп, выпускавших свои альманахи, остались в указателе не представленными. Так, не вошел в библиографию сборник тифлисского «Цеха поэтов» — «Акмэ» (Тифлис, 1919). Организатором этого «Цеха» был поэт С. М. Городецкий, в то время живший в Тифлисе. В альманахе объединились многие авторы, среди которых были достаточно известные на Кавказе Г. Баммель, Ю. Данцигер, С. Рафалович, В. Пруссак. В этом сборнике выступила ставшая известной в последующее время писательница А. Антоновская, автор романа «Великий Моурави».

Серию альманахов выпустил в Севастополе под маркой издательства «Таран» Вадим Баян — тот самый, который в 1929 году поместил в «Литературной газете» «Открытое письмо В. В. Маяковскому». Прочитав комедию «Клоп», автор письма обиделся на то, что в ней действует его однофамилец Олег Баян. Уязвленный поэт писал Маяковскому: «С тех пор, как я выступал с вами и Северяниным в первом турне футуристов, и с тех пор, как Вольф выпустил мою книжку

„Лирический поток“, вы знаете, что мое скромное имя все-таки до некоторой степени известно... Вам известно, что по предложению органов ЦК комсомола мною сделаны для деревенской молодежи образец красной свадьбы и целый ряд хоровых игр с танцами и гармониями, неоднократно изданные „Молодой гвардией“ в виде отдельной книжки „Кумачовые гулянки“... Чем объяснить появление в вашей пьесе „Клоп“ поэта Баяна... который устраивает Присыпкину мещанскую „красную“ свадьбу и обучает молодежь... танцевать под многочисленные гармонии?»[6] Ответ Маяковского, помещенный вслед за тем в «Литературной газете», недвусмысленно говорил о том, что эти самые «Кумачовые гулянки» для него стали символом приспособленческой халтуры. Поэт Вадим Баян и «самородок из домовладельцев» Олег Баян для Маяковского одинаково пóшлы и довольно самоуверенны. Так вот, этот самый Вадим Баян в 1920—1922 годах издал целый ряд альманахов («Обвалы сердца», «Пьяные вишни», «Радио», «Срубленный поцелуй», «Из батареи сердца»), где были напечатаны произведения Т. Щепкиной-Куперник, О. Мандельштама, И. Северянина, К. Большакова и нескольких малоизвестных поэтов. Основной целью этих альманахов было привлечь внимание читающей публики к личности самого издателя. Недаром стихи Щепкиной-Куперник и Северянина больше всего напоминали альбомные мадригалы Баяну, в «Срубленном поцелуе» был помещен его портрет, сделанный еще в 1914 году Маяковским, да и в критических статьях фигура Баяна выдвигалась неизменно на первый план.

В начале 1918 года (27 февраля) эгофутурист Игорь Северянин успел получить трон «Короля поэтов» и в связи с этим издал альманах «Поэзоконцерт» (М., 1918). В нем помещены вирши некоторых затерявшихся в дебрях истории литературы подражателей Северянина, а также стихи впоследствии известного прозаика Л. В. Никулина[7]. 15 марта 1918 года Маяковский в «Газете футуристов» помянул этот альманах в статье под уничтожающим названием «Братская могила»: «Шесть тусклых строчил... издали под этим названием сборник ананасных, фиалочных и ликерных отрыжек...»[8]

Другие литературные группы оставили свои следы только в малоизвестных альманахах. Но само их появление примечательно для пестрой и бурной литературной жизни первых послереволюционных лет, поэтому назовем эти сборники, сопроводив их краткой характеристикой. В 1918 году вышли: «Первый альманах» Одесского литературно-художественного кружка со стихами В. Катаева, Ю. Олеши, З. Шишовой; альманах «Исход» (издание Московского художественного клуба, с

участием О. Мандельштама и А. Мариенгофа); под маркой «Общества интимных художников» — «Сборник трех» (Москва); сборник «Синим вечером» был издан тифлисским «Ученическим клубом» (в нем участвовал известный литературовед В. А. Катанян). В трудные 1919 и 1920 годы таких альманахов выходило мало. Зато в 1921—1922 годах опять возникают самые различные литературные группировки и соответственно их альманахи.

Уже упоминалась «Звучащая раковина» (Пг., 1922), сборник одноименного поэтического кружка, где выступили со стихами К. Вагинов, Н. Чуковский (под псевдонимом Н. Радищев), сестры И. и Ф. Наппельбаум. Две поэтические организации Курска отметили свое существование сборниками: «Стихи. Сюжетисты» и «Курский союз поэтов». Во втором сборнике участвовал довольно известный поэт круга Вяч. Иванова Валериан Бородаевский, а также поэтесса Елена Благинина. Существовавшая в Новониколаевске Первая сибирская артель поэтов и писателей выпустила в 1921 году сборник «Арпоэпис». Как многие книги того времени, он был издан в пользу голодающих Поволжья. В городе Ейске существовал «Весенний коллектив», напечатавший сборник «Конь и лани» (1921), где принимал участие будущий пародист А. Архангельский. 1922 год отмечен московским альманахом «Тетрадь первая кружка́ Адская мостовая» и изданием группы «Московский Парнас» — сборником «Молниянин», который составили произведения бывших экспрессионистов Б. Лапина и Е. Габриловича, а также петроградским изданием «Альманахи. Петербургское объединение обновленного искусства», где были напечатаны произведения уже известных К. Вагинова, С. Нельдихена, Л. Борисова.

Наряду с этими мимолетными группами существовало в то время одно серьезное литературное объединение, которое по неизвестным причинам совершенно выпало из указателя Н. П. Рогожина, хотя альманахов оно выпустило очень много. Да и сама роль этого объединения в годы гражданской войны и несколько позже была достаточно велика. Речь идет о футуристах.

В 1918 году в Петрограде появилась «революционная хрестоматия футуристов» — «Ржаное слово» — с предисловием А. В. Луначарского, в котором он, хотя и с некоторыми оговорками, приветствовал появление книги и выражал надежду на то, что искусство футуристов поможет молодому Советскому государству. Сборник был составлен из произведений Н. Асеева, Д. Бурлюка, В. Каменского, В. Хлебникова, В. Маяковского и Б. Кушнера.

Еще до революции начали выходить «Временники» В. Хлебникова. Первые два выпуска, увидевшие свет в 1917 году, известны достаточно хорошо (хотя и не попали в предыдущий том указателя); третий представлял собой практически листовку, состоящую из заглавия и списка 317 Председателей земного шара, куда могли вноситься дополнения и изменения. В Библиотеке-музее В. В. Маяковского хранится этот выпуск с исправлениями самого Хлебникова, в архиве поэта-футуриста Т. Чурилина в ЦГАЛИ есть экземпляр с дополнениями, сделанными рукой Чурилина. Четвертый же выпуск «Временника», опубликованный в 1918 году под маркой издательства «Василиск и Ольга» в Москве, сохранился в библиотеке И. Н. Розанова, находящейся сейчас в московском Музее А. С. Пушкина. Участвовали в нем Хлебников, Асеев, Петников и Василиск Гнедов.

В том же 1918 году в Нижнем Новгороде вышел сборник «Без муз», включивший главным образом произведения футуристов «второго ряда»: К. Большакова, Б. Лавренева, Р. Ивнева, А. Решетова, С. Спасского, С. Третьякова, еще не перешедшего на сторону имажинистов В. Шершеневича, а также Ф. Богородского, ставшего впоследствии известным художником. Из маститых был лишь В. Хлебников.

Стоит отметить еще «Северный изборник» (М., 1918), в котором участвовали В. Хлебников, Р. Ивнев, Г. Петников. Был там напечатан и перевод М. Эйзлера из Эредиа, не учтенный в библиографии.

Ряд альманахов появился в 1919 году. Так, Всеукраинский отдел искусств выпустил «Сборник нового искусства» с участием Б. Пастернака, В. Маяковского, Г. Петникова, В. Хлебникова, А. Гастева (показательно участие одного из известнейших пролетарских поэтов тех лет, которое говорит о точках пересечения футуризма и пролетарского искусства); в нем посмертно были опубликованы произведения Е. Гуро.

В 1918—1919 годах в Тифлисе действовала издательская кампания «41°», выпускавшая одноименную газету, ряд стихотворных сборников своих членов — А. Крученых, И. Зданевича, И. Терентьева,— а также альманах «Софии Георгиевне Мельниковой Фантастический кабачок», в котором приняли участие также А. Чачиков, В. Катанян, Т. Толстая (Вечорка). Для нас, пожалуй, сейчас наибольший интерес представляют материалы по истории грузинского искусства, напечатанные в этом роскошно по тем временам оформленном издании.

Один из основателей этого сообщества, А. Крученых, переехав в Баку, выпустил сборник «Мир и остальное» (1920), где рядом с его собственными «дыр-бул-щылами» были напе-

чатаны произведения В. Хлебникова и Т. Толстой. В том же году в Баку появился сборник «Алая нефть», изданный футуристами, в котором много места отведено стихам А. Крученых (отмечу также участие в сборнике С. Городецкого).

В 1920 году вышли также сборники «Булань» (Москва), где участвовали Б. Пастернак, В. Хлебников, Н. Асеев, И. Аксенов, Б. Лившиц, Г. Петников, С. Буданцев и имажинисты Р. Ивнев и А. Кусиков, а также небольшой «Лирень» (без обозначения места, но, очевидно, изданный в Харькове) со стихами Маяковского, Пастернака, Асеева, Петникова, Хлебникова и прозаическими отрывками Елены Гуро.

В 1922 году, в Москве, под маркой «41°» появился сборник «Заумники», где рядом с А. Крученых были В. Хлебников и Г. Петников. Назову также не отмеченный в указателе Н. П. Рогожина сборник «Заумная книга» (М., 1916), где были напечатаны стихи Крученых и Алягрова (псевдоним языковеда Р. Якобсона) и иллюстрации Ольги Розановой, рано умершей художницы-футуристки.

Надо сказать, что активная деятельность А. Крученых по изданию различных сборников не прекращалась на протяжении почти всех двадцатых годов. Он выпустил сборник «Бука русской литературы» (М., 1923) со статьями С. Третьякова, Д. Бурлюка, Т. Толстой и С. Рафаловича, посвященные его творчеству, книгу «Леф агитки Маяковского, Асеева, Третьякова» (М., 1925). Особое место среди изданий А. Крученых занимает книга «Пятнадцать лет русского футуризма» (М., 1928), в которой собраны интересные материалы о деятельности поэтов, так или иначе связанных с этим течением.

Важное направление в литературе первых лет Советской власти составляли пролетарские поэты. Их творчество отличалось остросоциальной направленностью. Им удалось создать и собственную систему поэтической речи, пусть ограниченную по своим принципам, но тем не менее дававшую возможность быть прямо связанными с революционными событиями.

Организационно они чаще всего примыкали к Пролеткульту. Но даже такая мощная организация не могла добиться регулярного выпуска своих журналов. Поэтому литературная молодежь составляла специальные альманахи.

Большинство этих альманахов вошло в описание Н. П. Рогожина, но все-таки некоторые от его внимания ускользнули. Назову такие издания: «Под знамя правды (Первый сборник общества пролетарских искусств)» (Пг., 1917, на обложке дата — 1918); «Да здравствует Красный Октябрь» (Пг., 1918); «Набат» (Пг., 1918); «В буре и пламени» (Ярославль, 1918); «Первое мая» (Киев, 1919); «1-е мая 1919» (Казань, 1919);

Литературные сборники первых лет Советской власти

«Красному флоту» (Пг., 1919); «Сборник пролетарской поэзии» (Самара, 1919); «Радость труда» (Саратов, 1920); «Гусли красноармейца. Сборник пролетарских поэтов. Посвящается героям Красных фронтов» (Пг., 1920); «Факел. Сборник, посвященный памяти Фридриха Энгельса» (Б.м., 1920); «В путь» (Архангельск, 1921); «Первое мая» (Верхне-Уральск, 1921); «Первое мая 1921 г.» (Пг., 1921); «Поэт-красноармеец» (Б.м., 1921); «В кузнице» (Нижний Новгород, 1921).

Эти альманахи и сборники позволяют полнее воссоздать картину пролетарского творчества первых лет Советской власти, увидеть его лучшие образцы. Пусть стихи нередко были наивными, подражательными, а то и просто неграмотными, но сама возможность попробовать свои силы в творчестве — возможность, реализовавшаяся на страницах пролеткультовских альманахов,— яркая страница истории культуры нашего общества.

Внимательное изучение разнообразных провинциальных изданий помогает яснее определить сущность тогдашнего художественного (особенно литературного) процесса. В собранных мною материалах отчетливо прослеживается тенденция к вычленению группы писателей, которые были центром художественной жизни того или иного города, губернии.

Больше всего подобных книг появлялось в то время в Тифлисе, Киеве, Севастополе, Симферополе, Рязани, Нижнем Новгороде, Ташкенте.

Севастопольские альманахи — это издания группы В. Баяна, о которых уже говорилось. Весьма пестрая литературная жизнь Тифлиса первых послеоктябрьских лет (имеется в виду литература на русском языке) во многом определялась деятельностью соперничавших между собой группировок: уже упоминавшегося «Тифлисского цеха поэтов» и футуристического «41°». Но существовали рядом с ними и «независимые» поэты типа Ю. Дегена, М. Струве, Б. Корнеева, выпустившие альманах «Нева» (1919). Любопытным памятником этого периода является сборник «Стихи о России» (1920), в котором напечатаны произведения поэтов разных направлений — Блока, Белого, М. Волошина, Вяч. Иванова.

Своеобразный ряд альманахов увидел свет в Киеве. Назову здесь четыре киевских сборника, которые удалось обнаружить: «Орден муз. Поэзия пяти» (1918), составленный из произведений нигде больше не печатавшихся дебютантов; альманах «Революционное искусство» (1919) со стихами Г. Петникова, В. Маккавейского, Н. Венгрова (известного впоследствии литературоведа), Б. Лившица и И. Эренбурга, со статьями тех же Петникова и Маккавейского, а также В. Ро-

жицына; сборник «Стихи и проза русской революции» (1919) под редакцией М. Кольцова, где были представлены произведения, появлявшиеся на страницах московской и петроградской прессы первых послереволюционных месяцев: стихи В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, А. Белого, Н. Клюева, П. Орешина, И. Эренбурга, В. Горянского, Э. Германа (более известного ныне под псевдонимом Эмиль Кроткий), проза М. Горького, А. Ремизова, В. Лидина, Е. Зозули.

Удалось мне также разыскать сборник 1919 года «Гермес», в котором участвовали Маккавейский, Эренбург, Асеев, Лившиц, Н. Евреинов, О. Мандельштам... Книга вызвала тогда бешеную злобу белой печати[9].

В Рязани вышли альманахи «Дали жизни» (1918), «Голгофа строф» (1920), «Киноварь» (1921), «Коралловый корабль» (1921), «Из недр земли» (1922). Последний интересен тем, что его участники были разбиты по группам. Правда, наиболее известные поэты — среди которых были С. Спасский и П. Радимов — обозначались как выступающие «вне групп»...

Сразу три альманаха выпустила в Ташкенте литературная группа, вдохновителем которой был, видимо, В. Вольпин, выступавший как в роли поэта, так и в роли теоретика. В «Антологии революционной поэзии» (1919) он был составителем и редактором, а в появившихся в том же году сборниках «Лирика» и «Листопад» участвовал как поэт. Из более или менее известных фигур, принимавших в этих альманахах участие, следует назвать А. Ширяевца.

Названные города отмечены солидным количеством издававшихся альманахов. Но не менее интересно обратиться к единичным сборникам, выпущенным в том или ином городе. Вот хотя бы несколько образцов такого рода.

В Харькове выходил «журнал поэзии» «Камена», первый номер которого описан в библиографии Н. П. Рогожина, а второй остался ему неизвестен. Тем не менее он добавляет некоторые штрихи к картине достаточно интересной литературной жизни Харькова тех лет, поскольку в нем напечатаны стихи Г. Иванова, С. Парнок, А. Фиолетова — поэтов небезызвестных, а также переводы А. Биска из Рильке и статьи М. Волошина, Е. Ланна, И. Эренбурга.

Любопытен одесский сборник «Омфалитический олимп. Забытые поэты» (1918). Издательство «Омфалос», выпустившее ряд интересных книг по искусству, стихи Н. Крандиевской, переводы М. Волошина из Верхарна, устроило небольшую мистификацию, предоставив разгадывать ее историкам литературы: стихи, вошедшие в сборник, явно пародийны, но вот кто был их автором — неизвестно.

В 1922 году в Казани появилось любопытное издание: сборничек стихотворений поэтов-имажинистов С. Арбатова, М. Березина, А. Кусикова и С. Полоцкого; стихи литографски воспроизведены с рукописей авторов. Видимо, образцом для этой книги, называющейся «Автографы», послужили два одноименных московских сборника (один — без обозначения года, другой — 1921) с воспроизведениями автографов А. Белого, К. Бальмонта, В. Брюсова, С. Есенина, Р. Ивнева, В. Каменского, П. Карпова, А. Луначарского, А. Мариенгофа, И. Новикова, Б. Пастернака, Ф. Сологуба, М. Цветаевой, И. Эренбурга, В. Шершеневича.

Как известно, в 1921—1922 годах в Чите базировалась дальневосточная художественная группа «Творчество» (Н. Асеев, С. Третьяков, Н. Чужак, В. Пальмов и другие). Еще раньше, в 1919 году, здесь издавался альманах «Пестрые щупальцы. Поэзо-сборник». Всего появилось шесть его выпусков; в экземпляре Отдела редких книг Ленинской библиотеки они сплетены в один томик с общим оглавлением и небольшим предисловием, подписанным: «От имени всех — одна щупальца». Н. П. Рогожину был известен только второй «лист» этого сборника, который издавался затерявшимися в летописях литературы людьми.

Несколько сборников было посвящено трагическим событиям гражданской войны. В библиографии Н. П. Рогожина описан сборник «Неравнодушные строчки», изданный в Чите в 1921 году, в основном силами группы «Творчество», но не попал в нее сборник «Красная Голгофа» (Благовещенск, 1920), посвященный памяти бойцов, погибших в Сибири во время борьбы с интервентами и белогвардейцами, и книга «Четыре месяца учредиловщины» (Самара, 1918), описывающая захват Самары белочехами и власть «Комитета членов Учредительного собрания». Этот альманах лишний раз подтверждает прочную фактическую основу «Хождения по мукам» А. Н. Толстого, где среди прочих эпизодов гражданской войны описан и этот.

Дальневосточные альманахи (да и другие издания) первых лет Советской власти представляют, видимо, наибольшую загадку для библиографов, ввиду полной неразработанности этой темы. Их трудно найти в библиотеках, частных собраниях. Так, в годы гражданской войны во Владивостоке, Хабаровске, Харбине выпускал свои поэтические книжки Венедикт Март (кстати, ни одна из них не описана в библиографии А. К. Тарасенкова). Все они стали библиографическими редкостями. Попробуйте, например, найти сборник (к сожалению, название его не указано), о котором один из дальневосточных

журналов писал: «Поэт Венедикт Март выпускает в Хабаровске книгу стихов в издательстве „Зеленая кошка“ тиражом 23 экземпляра»... Участвовал этот поэт и в двух коллективных сборниках: «Лепестки сакуры» (Владивосток, 1919) и «Фаин» (Великий град трепангов (то есть Владивосток.— *Н. Б.*), 1919).

Конечно, мы имеем возможность рассказать далеко не обо всех сборниках. Так, остались за пределами нашего внимания издания, выходившие на русском языке за рубежом (а среди них были серьезные антологии русской литературы для людей, по тем или иным причинам живущих за границей, сборники для русских военнопленных, не успевших еще вернуться на родину, издания с переводами произведений иностранных авторов, альманахи, знакомящие с современным состоянием русской литературы), сборники, выходившие на территории, занятой в то время белогвардейцами. Все это тоже требует своего изучения и описания.

Исследование материала, о котором шла речь, невозможно без серьезного изучения ставших уже редкими журналов и газет того времени. Пока что это лишь информация о направлении поиска, о том, что удалось сделать,— хотя осталось исследовать еще не меньше, если не больше, особенно если иметь в виду, что фонды государственных библиотек теперь уже основательно изучены[10]. Значит, поиски надо расширять за счет собственно библиофильской работы — изучения частных коллекций, в которых оседало то, что миновало государственные книгохранилища. Дело не только в создании библиографии — дело в том, что здесь сохранен богатейший материал для историка самого раннего этапа развития советской культуры, этапа, который во многом определил все ее дальнейшее развитие. Обобщающая картина культуры того периода, которую предстоит воссоздать, будет неполной без учета непритязательных, на первый взгляд, альманахов и сборников первых лет Советской власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900—1911 гг. Сост. О. Д. Голубева. М., 1957, т. 1; 1912—1917 гг. Сост. Н. П. Рогожин. 1958, т. 2; 1918—1927 гг. Сост. Н. П. Рогожин. 1960, т. 3; 1928—1937 гг. Сост. О. Д. Голубева. 1959, т. 4.

[2] Альманах «Пролетарий» (Харьков, 1925) попал в это число по ошибке.

[3] См.: Ланский Л. Брюсов в начале 1920-х годов.— Вопросы литературы, 1976, № 7, с. 211.

[4] Выпускавшиеся С. М. Алянским в Петрограде «Записки мечтателей» трактуются Н. П. Рогожиным как альманахи и включены в его указатель, тогда как в книгах по истории советской журналистики они фигурируют в качестве журнала.

[5] См.: Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. М., 1979.

[6] Цит. по: Маяковский В. Полн. собр. соч. М., 1959, т. 12, с. 588.

[7] Совсем незадолго до этого, в 1916 г. Л. В. Никулин опубликовал (под псевдонимом Анжелика Сафьянова) язвительное стихотворение «О Северянине».—Божья коровка, 1916, № 2.

[8] Маяковский В. Полн. собр. соч., т. 12, с. 10.

[9] См.: Кречетов С. Чихи-пихи киевские.—Жизнь (Ростов), 1919, 15 дек., № 191.

[10] Для того, чтобы читатель мог составить себе представление о составе моей библиографии, приведу только некоторый список альманахов, отсутствующих в указателе Н. П. Рогожина, и о которых не шла речь в данной статье:

Свирель. Третий альманах молодой поэзии. Пг.; Томск, 1918; Труд и свобода. Песни рабочего пролетариата. Пг., 1918; Стихи 1918. М.; Одесса, 1918; Сафрут, кн. III. М., 1918; Знамя труда. Временник. М., 1918, вып. 1—2; Зори, Смоленск, 1918, вып. 1—2; Сороконожка. М., 1918; Песни рабочей революции. М., 1918; Медный всадник. Сборник петровцев. Пг., 1918; Времена года в русской поэзии. М., 1919; Молодая Русь. Екатеринбург, 1919; Родные слова. Женева, 1919; Перевал. Екатеринодар, 1919; Накануне. Екатеринодар, 1919—1920, вып. 1—2; На севере дальнем. Архангельск, 1919; День искусства. Невель, 1919; Дальние окна. М.; Киев, 1919; Кавказ. Владикавказ, 1919; За родину. Одесса, 1919; Антология русской поэзии XX столетия. Прага, 1920, вып. 1—2; Художественное слово. Временник Н. К. П. М., 1920, вып. 1—2; Жемчужный коврик. М., 1920; Театральная продагитация. М., 1920; Сполохи. Первый сборник студии стиха. Великий Устюг, 1920; Костер. Владикавказ, 1920; Оазис. Кашин, 1920; Красочные пятна. М.; Казань, 1920; Четверо из мансарды. М., 1920; Россия и Инония. Берлин, 1920; Ярь. Вологда, 1920; Дальний Восток. Шанхай, 1920; На чужбине. Париж, 1920; Перед рассветом. М., 1920 (3-е изд., 1922); Юность. М., 1920; Посев. Одесса, 1921; Театральная продагитация. Чернигов, 1921; Антология современной поэзии. Берлин, 1921; Зеленые побеги. Сызрань, 1921; Сербский сборник. Прага, 1921; Родное. Париж, 1921; Вот. Ростов-на-Дону, 1921; Октябрь. Харьков, 1921; Мозговой ражжиж. М., 1921; Четвертый год. Томск, 1921; Из русской лирики. Берлин, 1921; Из новой немецкой лирики. Берлин, 1921; На чужбине. Ревель, 1921; Радуга. Полтава, 1921, вып. 2—3; Солнечный путь. Кисловодск, 1921; Трилистник. Ростов-на-Дону, 1922; Стихотворения. Верхарн. Бодлер. Верлен. Киев, 1922 (полностью издание было дважды повторено в 1923 г.); Книга о Леониде Андрееве. Берлин; Петербург; Москва, 1922 (два издания); Веретено. Берлин, 1922; Сибирский мотив в поэзии. Чита, 1922; Зори-заряницы. Тула, 1922; Сборник литературно-художественных революционных произведений. М., 1922 (на обложке обозначено: «Изборник...»); Антология современной немецкой поэзии. Берлин, 1922; Авангард, М., 1922, вып. 2—3 (первый выпуск описан Н. П. Рогожиным); Весенние радуги. Козлов, 1922; Малый альманах современной французской литературы. Берлин, 1922; Новая Россия. М.; Пг., 1922; К новым горизонтам. Нью-Йорк, 1922 (номер первый описан Н. П. Рогожиным); Московский альманах. Берлин, 1922; Наши дни. М., 1922, № 2; Сафрут. Берлин, 1922.

ПИСЬМО ДРУГУ-БИБЛИОФИЛУ

Издательство «Academia» за шестнадцать лет своего существования (1922—1937) выпустило около тысячи книг, и каждый из этих томов стал ныне предметом гордости библиофилов, стал подлинным раритетом, памятником высочайшей издательской культуры.

Славной странице истории нашей культуры, связанной с издательством «Academia», и было посвящено 127-е заседание клуба книголюбов Центрального Дома литераторов им. А. А. Фадеева. Встрече книголюбов сопутствовала выставка книг, выпущенных издательством, из коллекции Е. М. Арма. Ее как бы дополнил тщательно подготовленный каталог, недавно выпущенный издательством «Книга».

На заседании, которое вел Евг. Осетров, выступили кандидат искусствоведения Ю. А. Молок, составители каталога доктор геолого-минералогических наук М. В. Рац, В. И. Якубович, Т. А. Ермакова.

(*«Книжное обозрение», 1981, 10 апреля*)

Дорогой Андрей!

Спешу поделиться с тобой вчерашними впечатлениями от заседания писательского клуба книголюбов. Оно было посвящено замечательному событию — выходу каталога издательства «Academia». Его выпустили к предстоящей выставке издательства «Academia» в Библиотеке имени Ленина.

В зале, где происходило заседание, экспонировалось десятка два книг из собрания Е. М. Арма. Среди них, например, массивное издание «Слова о полку Игореве» и детская книжка Буша, по которой мой отец учился читать.

Это заседание было для меня особенно интересно тем, что инициаторами и организаторами выставки и издания каталога

оказались не специалисты, а такие же любители книги, как и мы с тобой. Двое из них — М. В. Рац и Е. М. Арм — геологи.

Председатель клуба книголюбов, тоже много хлопотавший о том, чтобы эта выставка состоялась, задал тон выступлениям, сказав, что по книгам издательства «Academia» его поколение знакомилось с лучшими произведениями мировой литературы.

М. В. Рац продолжил этот серьезный разговор, высказав мысль, что директор издательства А. А. Кроленко следовал в своей деятельности лучшим традициям русского издательского дела. Вначале подбор авторов был более элитарным — печатались в основном такие писатели, как Андре Жид и Анри де Ренье. Но к концу 20-х годов стали складываться характерные для этого издательства черты: отбор величайших произведений прошлого, прекрасное оформление. Возникли серии — такие как «Сокровища мировой литературы» и «Памятники литературного и художественного быта». Издательство начало выпускать книги, которые мы сегодня знаем и любим. Стало ясно, что оно осуществляет программу сохранения культуры, без которой немыслимо социалистическое общество. Ю. А. Молок в своем выступлении развил мысль Раца, подчеркнув, что страна все более ощущала потребность в культурном наследии, и это стимулировало издательскую работу. Как о курьезе Рац, со слов старого букиниста Фадеева, рассказывал об огромном макете для витрины книжного магазина, изображавшем Гулливера среди лилипутов и таким образом пропагандировавшем Свифта. В 20-е годы творчество этого писателя еще надо было рекламировать.

Интересна история списка книг, выпущенных «Academia». Старые букинисты помнили некоего полковника-библиофила, его составлявшего... Каталог нашелся в Библиотеке имени Ленина, а затем обнаружился и полковник — Константин Николаевич Васильев. Выйдя в отставку, он посвятил себя составлению каталога и зафиксировал 700 названий. К сожалению, описания были сделаны не по форме, и работу в дальнейшем пришлось переделывать. Но мы с тобой знаем, что многие выдающиеся библиографические предприятия прошлого начинались с кропотливой работы энтузиаста, и очень часто — любителя. Вспомним хотя бы словарь псевдонимов Ивана Филипповича Масанова.

Из следующего выступления — библиографа В. И. Якубовича — стало ясно, что можно быть большим энтузиастом и библиографического описания. Он выразил сожаление о том, что составителю каталога не удалось дать индивидуальный библиографический портрет книги. Мне представляется, что

этот человек мечтает о таком библиографическом описании, которое бы отразило малейшую особенность не только книги, но и любого ее экземпляра. Он говорил не только о пагинации, но и о том, как надо описывать чистые страницы. Он даже упомянул о музыкальном ритме в библиографическом описании... Между прочим, слушая его, я вновь и вновь думал: какое же это творческое дело — издание книг вообще, и как много индивидуальных особенностей было в книгах, выпущенных «Academia».

Подумать только, нашим родителям было так просто пойти в магазин и купить книгу, изданную в «Academia», а собиратель Е. М. Арм потратил годы на то, чтобы эти книги разыскать и купить порой за баснословную цену. Он говорил, что нынешние издатели продолжают лучшие традиции «Academia» и показал нам «Слово о полку Игореве», выпущенное «Современником». Еще мне запомнились из его выступления сетования на то, как трудно найти научные книги, опубликованные в первые годы работы издательства. Он призывал библиофилов объединить усилия для их поиска. Имей это в виду, если они тебе встретятся.

Искусствовед Ю. А. Молок вернул аудиторию к общим проблемам. Его речь была направлена на то, чтобы опыт «Academia» сделать достоянием современной издательской работы. Надо показать, что и как делалось там. Вместе с тем, он говорил о книгах «Academia», их драматической судьбе, о невышедших, о тех, что начинались в этом издательстве, а завершены были уже в ГИХЛе.

Мне близка мысль, которую выразил председатель в заключительном слове: библиофилы надеются увидеть книгу, рассказывающую об истории издательства «Academia».

Я тоже на это надеюсь, Андрей. Рац в своем выступлении отметил, что выставка «Academia» — не единичное явление, что ей предшествовали выставки Кнебеля и Сабашниковых. Запланированы и другие.

Я закончил это письмо и подумал, что ты, наверно, покажешь его своим приятелям. Но оно ведь интересно и библиофилам других городов, и тем москвичам, кто не был на этом заседании писательского клуба. И я решил: пошлю-ка его в «Альманах библиофила». Почему бы изданию, которое специально посвящено книжной культуре и ее традициям, не возродить столь плодотворный в прошлом эпистолярный жанр?

Борис

Вокруг света
Д. СВИФТ
Путешествие Гулливера
ПО ИСТОРИЧ
Нижняя Волг

В. Коломинов

«ТЕБЕ, ЮРИЙ ВЕНЕЛИН...»

В начале июля 1829 года в книжных лавках Москвы и Петербурга появилась небольшая по объему книга Ю. И. Венелина «Древние и нынешние болгаре». В это время завершалась война с Турцией, большие надежды возлагались на успешные военные операции. Но итоги Андрианопольского мира не принесли долгожданной свободы болгарскому народу.

И тем сильнее в сердцах читателей звучали слова Венелина, призывающие к консолидации сил болгар и возрождению их национального самосознания. «Чтобы возвратить нынешнему болгарскому народу историческое его достоинство,— писал он,— надлежало бы насмотреться на живую картину прошедшего его бытия и тем облагородилось бы наше понятие о нем».

Книга молодого ученого нашла живой отклик в сердцах болгарских патриотов. Один из них, Георгий Пешаков, выражая восхищение и признательность автору за первую книгу о болгарах на русском языке, писал:

Тебе, Юрий Венелин,
Все чада болгарски
Благодарность приносят...

Недолгую жизнь прожил Юрий Иванович Венелин — один из первых русских ученых, посвятивших свое творчество изучению истории и языка братского болгарского народа. Он родился в селе Большая Тибава на Верховине в 1802 году. После успешного завершения учебы в Ужгородской гимназии в 1822 году переезжает во Львов. Одаренный юноша успешно выдерживает вступительные экзамены в университет и всецело отдает себя изучению «курса наук по факультету, к которому принадлежат история и искусство».

В университете формируется круг научных интересов Ю. Венелина. «Первым предметом моих исследований,— пишет он,— я избрал болгарский народ». Венелин с усердием

собирает в университетской библиотеке исторические материалы, необходимые для изучения болгар и соседних с ними славянских народов. Весной 1823 года Юрий Венелин поселяется в Кишиневе. Благодаря поддержке И. Н. Инзова молодой исследователь знакомится с жизнью местных болгар, учится их языку, пополняет собранные материалы новыми наблюдениями и выводами.

Через два года Венелин, полный радужных надежд, приезжает в Москву и поступает в университет, правда, не на филологический, а на медицинский факультет. «Прежние исторические труды мои оставлены без употребления»,— пишет он. Но уже в 1828 году в «Московском вестнике» Венелин помещает критическую статью о книге И. Яковенко «Нынешнее состояние турецких княжеств Молдавии, Валахии и Российской Бессарабской области», которая свидетельствует о его глубоком интересе к этой теме.

Вероятно, самым значительным в жизни молодого ученого стал 1829 год. Одновременно с окончанием медицинского факультета он завершает работу над книгой «Древние и нынешние болгаре» — первым из задуманных шести томов истории славянских народов. Большую услугу Ю. И. Венелину в напечатании его первого научного труда оказал известный впоследствии историк М. П. Погодин, взявший все расходы по изданию книги на свой счет. Возможно, что именно Погодин рекомендовал ученому посвятить свое исследование президенту Российской Академии А. С. Шишкову, предвидя совершенно определенные последствия для молодого слависта.

Погодин не ошибся. Уже в декабре 1829 года Российская Академия постановила отправить «лекаря Венелина в путешествие по Болгарии, Валахии и Молдавии для отыскания и описания оставшихся памятников древнего языка сих стран и преимущественно болгарского». На путешествие, приобретение рукописей и древних книг Академия выделила шесть тысяч рублей.

В одном из писем к журналисту С. П. Шевыреву, путешествующему по Италии, Венелин сообщает: «Послезавтра еду и я в страну классическую, классическую для Руси...— Болгарию, отечество Бояна, славянского Оссиана, отечество священного нам языка». Далее он просит Шевырева, чтобы тот, по пути в Россию, собирал этнографические сведения о славянских поселениях. Венелин также рекомендует Шевыреву побывать в русском униатском монастыре, расположенном в столице Италии, изучить содержание славянских рукописей, хранящихся в нем. «Это,— пишет ученый,— для VI тома моих болгар будет весьма нужно».

Поездку Венелина в Болгарию нельзя назвать вполне успешной. После войны жизнь была трудной, людям приходилось тогда нелегко. Страна была разорена, среди населения свирепствовала чума и холера. Народ страдал от голода и отсутствия медицинской помощи. Многие болгары покинули свои земли и поселились в Одессе, ее пригородах, на юге Бессарабии.

С большими трудностями Венелину удалось добраться морем до Варны. Ученый смог лишь описать ее окрестности и собрать некоторые материалы по истории древней болгарской столицы Тырново и других городов. Основные же сведения по истории братского народа ему удалось собрать среди болгарских поселенцев в Бессарабии и Одессе.

В ноябре 1831 года Венелин возвращается в Москву, но жизнь заставляет ученого постоянно отвлекаться от работы. В поисках заработка он вынужден давать частные уроки и сотрудничать в ряде московских журналов. Лишь в 1833 году по настоятельному совету Шишкова Венелин закончил обработку материалов путешествия.

Фундаментальный труд молодого ученого, получивший название «Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты», состоял из 86 копий литературных памятников болгарского народа XIII—XIV веков. Каждый из документов широко комментировался автором исследования.

В 1835 году Венелин завершил работу над «Грамматикой нынешнего болгарского наречия» и отослал ее на отзыв в Российскую Академию. Работа была рассмотрена выдающимся русским филологом А. Х. Востоковым. Давая высокую оценку труду молодого слависта, Востоков писал: «...издание ее (грамматики болгарского языка.— *В. К.*) в свет принесет большую пользу языкознанию славянскому». Однако при жизни автора «Грамматика...» издана не была.

В 1838 году выходит книга Венелина «О зародыше новой болгарской литературы», в которой говорится, что «будущность литературы во многом зависит от политического состояния народа». В книге приводится переписка автора с деятелями болгарского просвещения В. Априловым и Н. Палаузовым. Это они под влиянием его трудов открыли в Габрове первое светское учебное заведение, где все предметы преподавались на болгарском языке. В работе Венелина приведены также названия двадцати семи книг, изданных за период с 1833 по 1837 годы на болгарском языке в славянских странах. В их числе — словари, грамматика, арифметика, месяцеслов, «Всеобщая история», над которой работал А. Кипиловский). Во всем этом Венелин видит ростки возрождения национальной культу-

ры болгарского народа.

Болью в сердцах болгарских патриотов отозвалось известие о смерти человека, воспевшего их древний и мужественный народ. Скоропостижная смерть 25 марта 1839 года застала Ю. И. Венелина в разгар работы над новыми произведениями. Лишь после смерти автора увидела свет его книга «Критические исследования об истории болгар». Изданная в 1849 году на средства И. Н. Денкоглу, она в то время сыграла свою роль в формировании национального самосознания братского народа.

В 1842 году на месте захоронения Ю. И. Венелина в Даниловом монастыре Москвы болгары установили памятник, на пьедестале которого были начертаны следующие слова: «Он первым напомнил свету о забытом, но некогда славном и могущественном племени болгар и пламенно желал видеть его возрождение».

Ленинград

О. Завалова

СЛОВАРИ БРИТАНИИ

Репортаж

Выставка справочников и словарей из Великобритании в Доме книги на проспекте Калинина пользовалась большой популярностью: у дверей выстраивалась очередь, сотрудник выставки предупреждал посетителей, что на осмотр экспонатов они имеют ровно двадцать минут времени. Конечно, для экспозиции из 350 книг, которые можно и нужно листать, просматривать, этого маловато, но только так можно было позволить осмотреть ее наибольшему количеству желающих.

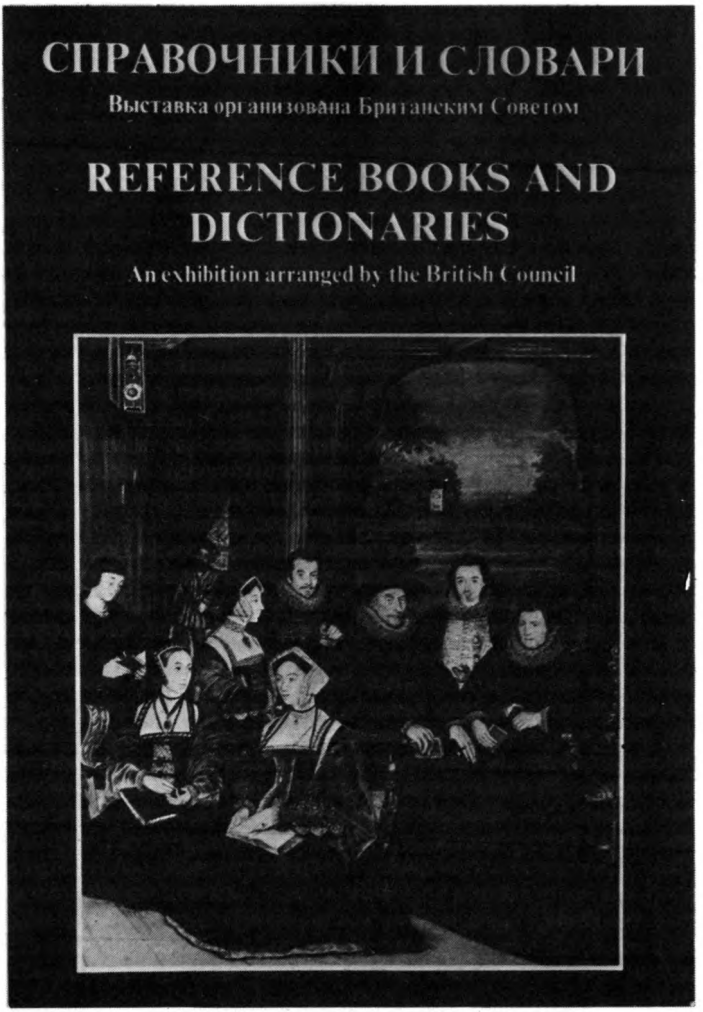
Мне повезло. Как представитель прессы я могла листать книги сколь угодно долго. Главное впечатление: до чего широк и многообразен мир! В этом небольшом помещении гуляли ветры Аризоны, бушевали арктические дожди — веяло кристально чистым воздухом дикой природы, жарким дыханием мира человеческого. Вся история угнездилась здесь на небольших полках. Вы погружались в дробные глубины микромира, терялись в сплетениях листвы зеленого папоротника или воспаряли на горные высоты; вы были во всем и везде, и время становилось ручным, подчинялось вам, и бездны исторических эпох подступали к вам, вбирая вас, включая в свой строй и ритм. Все же, по зрелом рассуждении, вдруг понимали, что не являетесь всемогущим, что это скорее мир нисходит к вам, снисходит до вас, оформившись в буквенные столбцы и картинки, послушно улегшись меж обложек переплетов; он подыгрывает вам, чтобы стать доступней, понятней, чтобы можно было охватить его единым взглядом. Но даже в таком виде он ошарашивает вас.

Мужчины толпятся у полок с техническими новинками, а женщины — у стендов «Спорт и отдых», у обилия литературы об одежде, косметике и диетах. Посетители заполняют карточки заказов на книги...

Один из справочников назывался «The Encyclopedia of ignorance» и волшебно подмигивали буквы, поясняющие таин-

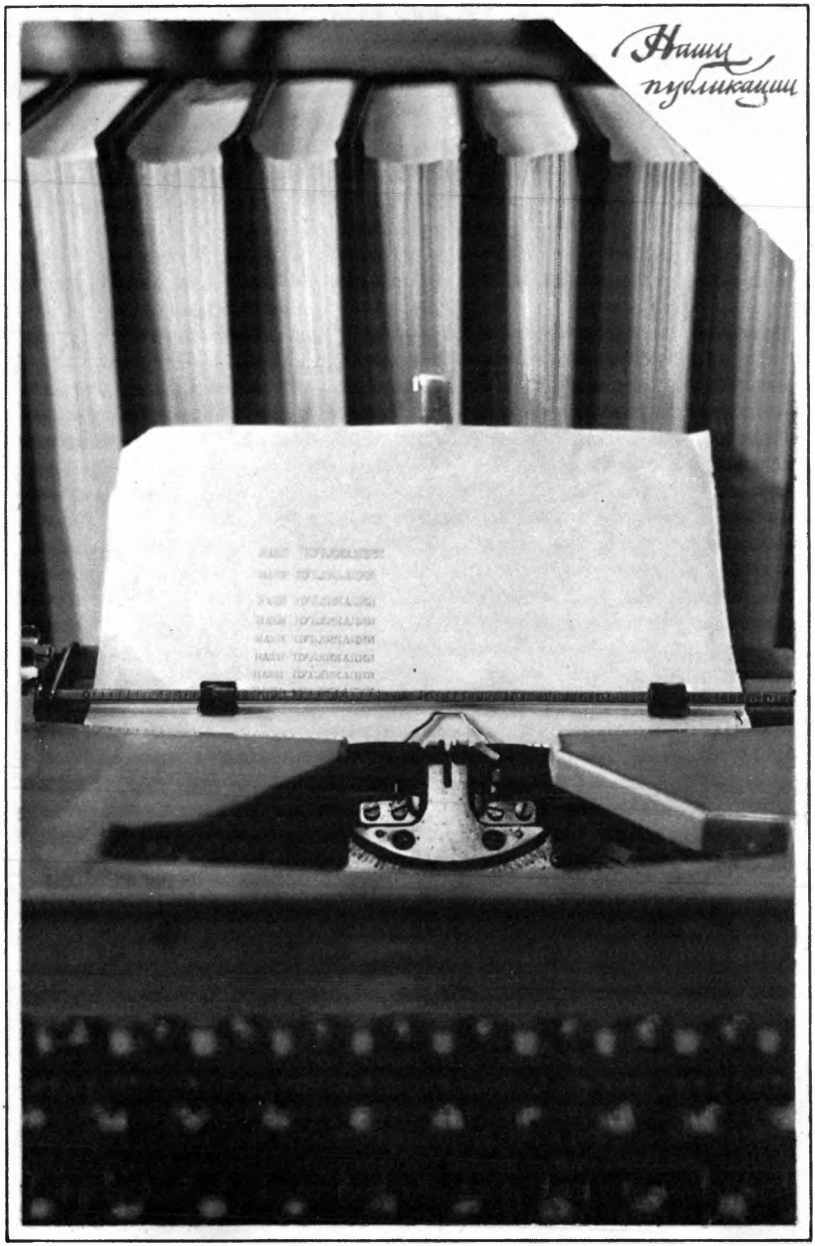
ственное название: «Everything you ever wanted to know about the unknown». А с каким живым интересом взрослые, солидные люди, книжники, листали картинки многотомной детской энциклопедии! Людей «постарше» можно было увидеть в отделе «История и политика», листающих биографии канцлеров и "Dictionary of Battles". Была книга и с таким захватывающим названием: «The Encyclopedia of Wild Life». Можно привести и еще несколько названий: «Illustrated New Musical Express encyclopedia of rock»; «Hall's Dictionary of Subjects and Symbols in Art»; «Encyclopedia of Modern History»; «Aviation: an illustrated history»; «World armies»; «The Good Ideas Book»; «Fontana dictionary of modern thought»; «The rocks and minerals of the world»; «A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe»; «Trees of the world»; «Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa»...

Были здесь и новейшие издания всемирно известных работ. Одним из таковых является «Оксфордский словарь английского языка», первоначально составленный в 12 томах, к которому запланировано выпустить еще 4 тома. В экспозицию включен недавно выпущенный второй том «H-N», а также оригинальная работа в виде компактного двухтомника, в котором микрографически воспроизводится 13-томный оригинал. Прилагаемая к изданию специальная линза позволяет читать отпечатанные мелким шрифтом статьи без напряжения. На специальном стенде рассказывалось, как велась эта грандиозная издательская работа. Серия «Книги-обозрения», выпускаемая издательством «Уорн», с ее многочисленными книгами карманного формата по самой разнообразной тематике (отдельные тома — о гусеницах, о джазе, о грибах, о камнях и минералах — были представлены на выставке) вызвала интерес любителей определенных отраслей знаний, как и многие популярные иллюстрированные энциклопедии, например, по астрономии или о мире природы, выпущенные издательствами «Хемлин» и «Саламандер Букс». Многие английские справочники уже давно пользуются авторитетом у специалистов; «Энциклопедия Британника» впервые вышла в Эдинбурге (1768-1771); с 14-го издания (1947) ею руководит Чикагский университет и она печатается в США. Из однотомных английских справочников особенно популярны «Морской альманах», выходящий ежегодно с 1766 года, «Крикетный альманах» Уиздена (выходит с 1864 года), «Альманах Уитакера» (выходит с 1868 года). Интересна для специалистов книга «Искусство индексации книг и периодические издания», где рассказывается о различных способах кодирования.



Каталог выставки

Смысл выставки — культурный обмен. «Союзкнига» сделала заказ на закупку справочников, которые пользовались наибольшим интересом посетителей. Экспозиция организована в соответствии с соглашением между правительствами Великобритании и СССР о связях в области науки, образования и культуры, а также в соответствии с протоколом об организации английских книжных выставок в СССР и советских книжных выставок в Великобритании, подписанным Британским советом и Государственным комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.


Наши публикации

НЕУГАСИМАЯ ЛЮБОВЬ К КНИГЕ
Малоизвестная статья Н. С. Лескова

Публикация и предисловие А. Корнеева

С юных лет Николай Семенович Лесков полюбил книги. Уже в раннем детстве окружали они будущего писателя. Произведения, прочитанные в те годы, надолго запечатлелись в его памяти. «Двадцать с лишком лет прошло с тех пор, как я моими детскими руками переворачивал широкие листы толстейшей сине-серой бумаги, на которой напечатана эта книга, но и теперь я помню малейшие обстоятельства, при которых я упивался... книгой»,— вспоминал Николай Семенович впоследствии. Он говорил о том источнике, откуда всю жизнь черпал знания: «Я нигде не кончил курса, но не могу сказать, чтобы я не учился, так как до седых волос не расстаюсь с книгой. Можно ли сказать, что я не проходил высшего образования?»

Книги Николай Семенович любил больше всего на свете. Не случайно одна из глав воспоминаний, написанных сыном писателя А. Н. Лесковым о своем отце, носит знаменательное название: «Влечение к искусствам и любовь к книге». Говоря о библиофильском пристрастии Николая Семеновича, его сын писал: «В этой области Лесков являлся уже не „любителем“, не дилетантом, а в самом деле знатоком и докой. Неугасимая любовь к книге жила вне времени и лет».

Внимательно следил Николай Семенович за тягой простого люда к чтению. На протяжении десяти лет он был членом Ученого комитета Министерства народного просвещения, ведавшего, в числе иных вопросов, и изданием книг «для народного чтения». Многие произведения самого Лескова выходили дешевыми изданиями — по цене, доступной каждому.

О стремлении трудовых людей к книге говорится и в статье Николая Лескова «Литературный разновес для народа», опубликованной в газете «Новое время» 30 сентября 1881 года и с тех пор не переиздававшейся. Мы предлагаем вниманию читателей «Альманаха библиофила» эту статью с некоторыми сокращениями.

Печать нашу часто упрекают в недовольстве. Многим кажется, будто она «ничем не довольна», а притом еще ворчлива и придирчива, охотно все порицает и не любит отдавать должного полезным начинаниям. Есть случаи, когда это, может быть, и справедливо, но и то только отчасти, а гораздо чаще бывает, что печать, при самом живом сочувствии к начинаниям, не может говорить о них с таким полным довольством, которое самой ей, конечно, было бы очень приятно. Это особенно живо чувствуется при тех начинаниях,

Н. С. Лесков

которым как будто недостает полноты и законченности, вследствие чего колеблется доверие к их потенции — и не напрасно. Тогда становится жалко и досадно, что эти начинания не принесут той пользы, на какую можно бы рассчитывать при иной постановке дела.

На такие размышления сию минуту наводят нас пустяки, именно, папки, вывешенные на сих днях в нескольких местах и, между прочим, на решетке Александровского парка, против Невского проспекта, где останавливаются вагоны нескольких железноконных рельсов. Здесь по этому случаю часто скопляется много людей, ожидающих прихода нужных им карет; а где собираются люди, там и удобно обращаться к ним с таким или иным словом.

Вывешенные папки назначены для этой цели: они сделаны величиною в лист обыкновенного картона и на них наклеены подобранные подряд страницы изрезанных нравственных брошюр и брошюр против пьянства и курения табаку. Тут же есть «Житие Филарета милостивого» и поучение «о матерном слове», есть даже и азбуки. Мысль занять таким чтением ожидающих пассажиров не только недурная, но она может быть названа полезною. Конечно, напрасно думать, что одна выставка каких бы то ни было листов может много сделать в борьбе с привычками к вину, табаку и к «матерному слову», но, *между прочим*, и это может что-нибудь значить. Простолюдину, который увидит эти листы, вероятно, небесполезно будет уже одно то, что он узнает, что есть кто-то, кого озабочивает воздержать людей от вина и табаку, и мы очень бы рады сказать этому начинанию свое сочувственное слово, без всяких замечаний, но по существу дела это оказывается невозможным. Нельзя не заметить, что эта маленькая полумера совсем не достигнет никакой цели, если

она не будет целесообразно дополнена и завершена как следует. Пассажир-простолюдин читает не скоро, а медленно, «в растяжку». Чтобы прочитать *печатный лист*, ему надо не менее часа, а он *не может* потерять столько времени, как по недосугу, так и потому, что нужная ему «конка» придет гораздо ранее и оторвет его от чтения. Следовательно, он уедет не дочитавши того, что начал, и позабудет об этом при первом новом впечатлении. Так это и в самом деле выходит и иначе это не может происходить. Может быть, скажут, что «цель вывешенных папок будет достигнута, если *они только зародят мысль.* Потом-де человек, заинтересовавшись брошюркою, найдет, где ее купить, и прочитает до конца в свободное время». Отчасти это действительно так или, по крайней мере, вполне возможно, что с кем-нибудь подобный случай может случиться, но где же столь заинтересованный книжечкою простолюдин ее без хлопот сейчас же отыщет и купит? Такого удобства не создано, а оно необходимо, ибо иначе сила впечатления хладеет и теряется, и что человек сию минуту охотно взял бы и «проследовал», то *через некоторое время* ему уже кажется не столь интересным, и, что называется, теряет над ним свою силу.

Но это считают все пропагандисты, кроме тех, о коих мы говорим сию минуту; эти указанному условию не дарят внимания. Синодальной лавки не видать отсюда, она по меньшей мере в полуверсте, за углом парка, и притом в таком *низке*, что ее не скоро разглядишь. Потом синодальная лавка открыта только с 10 ч. утра до 5 ч. дня, т. е. именно в те часы, когда простолюдины заняты делом и по конкам не ездят, да и по улицам не ходят. Рано утром или вечером, когда рабочие люди спешат на работы или тянутся «ко дворам», синодальная лавка закрыта; равномерно она закрыта и *во все праздники,* когда рабочий народ свободен и когда ему, может быть, особенно бы полезно подать под руку и книжку о вине, и «о матерном слове», неистово оглашающем наши улицы «во все двунадесятые и переходящие».

Можно ли поэтому назвать удовлетворительными и законченными мероприятия с папками? По нашему мнению — *нет.*

...Нам сдается, что нужно и вполне возможно сделать так, чтобы моральные брошюры, о которых напоминают развешанные папки, *тут же и продавались желающим.* Есть ли это дело возможное или, напротив, оно невозможно и вертится в нашей голове только по страсти к пустому и беспокойному критиканству? Вместо ответа укажем, как это самое дело... ведется... не только в Англии, но даже во Франции... В самом Париже на площади Маделены *всегда* сидит за столиком

скромный человек с клеенчатым ящиком, в котором у него помещаются брошюры и книги назидательного содержания, а над ним вывеска... Тут тоже ожидаются пассажиры, и кто по благочестию, кто из любопытства, кто просто от нечего делать покупают грошевые брошюрки. Неужто этого же самого нельзя было бы сделать и у нас, где народ — трезв ли он, или выпивши, конечно, гораздо теплее француза относится к благочестивой книжке. Конечно, и ему надо бы ее дать поближе под руку, а то он «в другие мысли придет», но об этом как будто еще незаметно никакой заботы, а между тем, если говорить серьезно, то она была бы очень уместна...

Говорят: «В синодальной лавке нельзя торговать долее, потому что там продавец — *чиновник*, и нет основания заставлять его сидеть за делом долее, чем сидят прочие его товарищи по службе». Совершенно справедливо, но разве единственный способ распространения синодальных изданий только и может быть этот, т. е. продажа книг при непременном посредстве чиновника? Понимая кое-что в книжной торговле, мы совсем другого об этом мнения и готовы его доказать. Далее: где делась вторая синодальная лавка, помещавшаяся на Литейной, в старом синодальном доме, мимо которого ежедневно проходят тысячи рабочих в патронные мастерские и на фабрики Выборгской стороны? Эта лавка закрыта. Почему, из каких видов? Втихомолку говорили, будто чиновник, который в ней торговал, «прокинулся в счетах», это будто бы рассердило бывшего обер-прокурора графа Д. А. Толстого, и тот, любя решительные меры, нашел лучшим закрыть лавку, к которой все привыкли. *Закрыли* эту лавку будто бы ради того, чтобы убавить возможность просчетов — чтобы меньше было поверок. Кажется, этот слух очень недалек от истины, но, во всяком случае, замечательно, что и тут опять дело испортил чиновник и опять из-за него вышло сокращение мест продажи нужных народу... книг...

Книги упраздненной литейной лавки сданы в комиссию г. В. Печаткину, причем ему же сдан тоже и старый ундер, продававший синодальные книги в упраздненной лавке в течение долгого времени, когда неаккуратного чиновника привычные посетители лавки уже никогда почти и не видали за делом. Этот ундер, который сберег свою солдатскую честь среди утопившего чиновника соблазна, остался как memento mori* на комиссии у столь бойкого книгопродавца, как г. Печаткин, которого даже самое имя вовсе не циркулирует в книгопродавческих предприятиях... Кто, какой злой гений

* Помни о смерти (*лат.*).

книжного дела мог указать на такого дельца святейшему синоду и чего можно было ожидать от такого выбора?

Того, что и вышло: торговля синодальными книгами на Литейной, в самой людней шей части города, так капитально убита, что даже и «покупатель отучен».

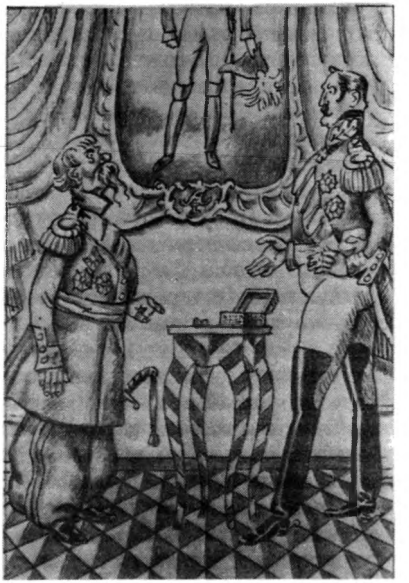
С коммерческой точки зрения, это, конечно, стоит не дешевле чиновничьего просчета, а чего это стоит в отношении нравственном, это может определить только тот, кто ближе нас знает влияние синодальной литературы на народные нравы. Мы готовы верить, что ущерб этот очень велик.

* * *

В воскресные и в праздничные дни, которых у нас, может быть, чересчур довольно, чиновники не обязаны быть на службе, а если служба их отправляется в лавке, то они не имеют нужды выходить и в лавку. Это так; но тем не менее это все-таки очень жалко, потому что именно по воскресеньям-то русский рабочий народ в столицах и любит расхаживать «переглядывать книжки», и только тут их и покупает. Болтун он или труженик — суди как кто знает, но иначе простолюдину «ходить за книгою» некогда. Кто бывал в Москве у Проломных ворот, или в старом Охотном ряду, где в темном проходе пряталась от взоров духовной полиции лавка старопечатных книг известного Тихона Большакова,— тот знает, как велика и как прочна привычка грамотного русского простолюдина в воскресный день «покопаться в книжках». Это даже более чем привычка — это высочайшее *его удовольствие.* Каталоги для него не существуют, да и не скоро еще примутся, потому что с ними скучно. То ли дело свободный выбор, на взгляд, на вес, на осязание книги, которую так приятно повертеть при людях на прилавке. И мужик страшно любит повертеть страницы книги — понятной или даже вовсе ему непонятной. Это иногда все равно. Посмотрите, как он на ярмарках и подторжьях выбирает на *звон* рыльские косы... Сколько он в них звонит, звонит и ровно ничего в этом звоне не понимает, а купит *облюбованную.* Так он хочет облюбовать и книжку. Можно ли это? Выходит, что можно: он вертит и все ищет *словечка,* которое бы ему «пало по мыслям», и вот книга и «облюбована»; но если бы это и не так, то самый выбор его тешит — он ведь стоит перед купцом и *сам выбирает книжку.* Он некоторым образом литературный судья — а кто же чуждался этого звания? Даже незачем ездить и в Москву, чтобы видеть эти «приклады» — стоит в любое воскресенье прийти на Ново-Александровский рынок к лавке известного старика Иова

Герасимовича (по народному прозванию «дедушки Иова» *), чтобы видеть, сколько притекает сюда «серой публики», и все почти исключительно за «божественными книжками». «Дедушка Иов» по преклонности своих лет и относительной тесноте лавочки каждый праздник высылает двух-трех молодцов с выставкою «на розвал», и те не даром, конечно, сидят на развале, а делают дело. И кто же их покупатели? — много-много, что два-три любящие книжный хлам литератора, а затем это все народ — все самый основательный простолюдин, дровокол, каменщик, плотник, казак или солдат всякого рода оружия. Заговорите с простолюдинами о синодальной лавке, и вы увидите, что редкий из них знает о ее существовании, а который знает, тот при напоминании о ней только махнет рукою: «где, дескать, ее искать!» Но и это не самая главная причина, что лавку искать далеко. Когда дедушка Иов погорел на Апраксином дворе, простонародные любители литературы разыскали Иова Герасимова сначала во временной лавчонке, которую он выкинул на Семеновском плацу, а потом опять нашли его на новом... рынке. Стало быть, дело не в том только, чтобы *разыскать;* ноги у простолюдина не наемные и всегда легко доносят его туда, куда хочется, но ему у простого торговца, вроде Иова или Большакова и им подобных, несравненно приятнее и удобнее... Почему? Да потому, что это «свои люди», которые знают, когда нужно торговать книжкою, именно в *праздники,* когда рабочий человек свободен и идет на рынок поразвлечься, посмотреть, что продают, и тут же «повертеть книжку» и при случае «дать за нее *чего не жалко*»... Наш простолюдин до сих пор в большинстве случаев тратит на книжку только «чего не жалко», и мы ему этого, разумеется, не думаем ставить в укоризну; тратя медный пятак на книжку, он все-таки сравнительно издерживает на литературу более значительную часть своих достатков, чем многие состоятельные люди, в бюджете которых на книги не входит никакой росписи... И мужик чувствует себя «в удовольствии», он выбирает то «аленьку», то синенькую, «небёсную» или «травурную, чтоб была серьезнее», опускает заскорузлую руку на дно своего глубокого, но пустого кармана, чтобы взять книгу, которая стóит как раз одну «сороковку». Произойдет ли

* Когда М. О. Вольф справлял свой юбилей, «с водкою без цензуры», он приглашал покойного Лисенкова как «старейшего петербургского книгопродавца», и тот так и почитался в этом звании, но на самом деле самый старый книгопродавец в Петербурге есть до сего дня здравствующий «дедушка Иов Герасимович», который торговал, когда Лисенков бегал еще мальчишкой. Теперь Иов Герасимович уже не может читать, но все-таки еще торгует. (*Прим. Н. С. Лескова.*)



Иллюстрации Н. В. Кузьмина к произведениям Н. С. Лескова

в нем капитальный перелом...— это как бог даст, но что он в этот день выпьет одною сороковкою меньше, это уже не подлежит никакому сомнению.

...В заключение еще одно замечание о практичном и непрактичном: моральные папки, вывешенные на решетке Александровского парка, в конце Невского и в других местах, имеют недостатки, которые следовало бы, кажется, предусмотреть, а теперь надо исправлять. Листки разрезанных брошюр наклеены на картон крахмалом, через что крахмал коробится, и делу приходится помогать тесемочками, а тонкая, невысокого достоинства бумага стала еще сквознее пропускать наружу оттиск шрифта обратной стороны, или, по-народному, «прозирать на лицо с изнанки». Это не годится, ибо действует вредно на зрение читающего, и потому строго преследуется педагогическим начальством всех образованных стран, и у нас тоже. Конечно, лучше бы отпечатать вывешенные семь-восемь полулистов только с *одной стороны* и притом более крупным шрифтом, удобным для чтения взрослому и недорослю... Во-вторых, надо бы, кажется, не пренебречь довольно общим обычаем покрывать такие папки *светлым лаком:* это очень полезно и опрятно. Лак недорог, а он оберегает листы от лас*, которые делает иной недоросль и даже переросль, усвоивший привычку читать, «поводя перстом в строчку». Кроме того, пролакированный лист не боится влияния сырости, которая иначе заставляет наклейку сначала «задирать углы», а потом и совсем отставать, что уже отчасти и начиналось с этими листками. А вот, как скоро польют настоящие осенние дожди, тогда того и гляди, что вся эта мораль раскиснет, расклеится и поплывет куда попало и на какое придется употребление...

Разумеется, если бы позволяли средства, то еще лучше бы вывесить моральные листки в застекленных рамках или так называемых по-лавочному «выставках», или «витринах», тогда они совсем были бы чисты и удобны для читателя во всякое время, между тем как в нынешнем их, откровенно говоря, убогом виде, листки эти надо постоянно выносить да уносить и все караулить ради них погоду. Какое же это удобство, да и дешевле ли это будет стоить, чем застекленные рамки? В-третьих, надо бы план-карты развесить так, чтобы для прочтения нижних столбцов не нужно было бы ни садиться на корточки, ни ложиться на землю, ибо это очень неудобно, и наконец, в-четвертых, не лишне было бы, может быть, хорошенько перечитать и обсудить: все ли выставленное на этом

* Полос, пятен. (*Прим. Н. С. Лескова.*)

разновесе хорошо с точки зрения нравственной, эстетической и даже педагогической. Такой пересмотр особенно мог бы иметь место в рядах пословиц, а между тем между ними есть такие, которые не лишены пикантности, а другие даже просто малопристойны. Так, например, на 6-й план-карте: «В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, всего одна рука и та на спине». У кого это «на голове пупок» и что тут такого, чтобы предавать это вниманию простого человека, который наизусть знает загадки еще «покруче этой», а встречая слово *пупок* в печати, он или «застыжается», или начинает зубоскалить и пустословить: «глянь, мол, тут тоже и про пупки...» Смеем уверить выставителей план-карт, что эти вещи лучше не трогать, чем выставлять их загадками, которые досужий ум разгадывает, смекая так и иначе...

Вообще, кажется, лучше бы даже и подобные маленькие попытки самых скромных полумер производить так, чтобы они не носили на себе печати какой-то разноплетенности и импотенции, вызывающих улыбки и пересмешки со стороны людей, знающих, как подобные маленькие дела делают там, где и невинные безделки умеют делать как надо. Такое желание, мы надеемся, вполне простительно и не должно внушать никому никакого раздражения.

Н. Лесков

Борис Садовский

КОНЕЦ КНИГОЛЮБА

Перу русского писателя Бориса Александровича Садовского (1881—1952) принадлежит несколько книг стихов и исторической прозы. Им написаны и сборники критических статей «Русская камена» (1910), «Озимь» (1915), «Ледоход» (1916). В ЦГАЛИ хранятся интересные воспоминания Садовского о современниках, в том числе о Сергее Есенине.

Правдиво и со знанием дела написан Борисом Садовским рассказ «Конец книголюба». В образе героя этого рассказа мы можем найти отдельные черты, присущие настоящим книголюбам, в сюжете — действительные, известные библиофилам факты...

Этот рассказ был впервые опубликован 1 октября 1915 года в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей».

1

Гарусов был помешан на книгах. Книги заменяли ему семью, общество, друзей. Он был старый холостяк и, кажется, родился на свет таким же сгорбленным, маленьким и колючим, каким знали его все московские книжники и букинисты.

Именно они знали его, а не он их. Ошибкой было бы думать, что Гарусов принадлежал к числу тех любителей и собирателей книг, что бегают всю жизнь по лавочкам и книжным ларям, дружат с букинистами, а по воскресеньям являются непременно к Сухаревой башне. Нет, Гарусов был иного полета птица. Бесцельное собирание книг он презирал и называл пустым делом.

— Что за диковина собрать библиотеку хоть в десять, хоть в двадцать тысяч томов,— говаривал он презрительно,— вон у меня приятель Рюриков какую имеет библиотеку, во всю квартиру. Скажешь, цены нет, а между прочим, все хлам. Тут у него и приложение к «Ниве», и декаденты, и старые журналы, и всякая заваль.

У самого Гарусова книги занимали одну комнату всего, но это было, действительно, бесценное собрание.

Начать с того, что Гарусов заказывал для книг особые полки по собственному рисунку. Каждая книга имела свое

место за красным деревом, под стеклом, откуда и вынималась при надобности, как сот из улья. Все это были редчайшие и ценные издания русских книг XVIII и первой половины XIX веков. Книг позже 1855 года Гарусов не признавал.

— Жидковато больно, не тот коленкор, интеллигентом пахнет,— пояснял он сурово.

Было у него несколько уник.

Букинисты знали, что к Гарусову соваться с пустяками нельзя. Попробуй-ка, принеси нестоящую книгу: раскричится, выгонит, обругает скверным словом, да еще и книгой этой самой вдогонку с лестницы пустит. Зато, когда попадалось действительно редкое издание, букинист шел смело к Гарусову, рассчитывая на верную наживу. Тут дело круто менялось.

Б. А. Садовский

Завидя редкую книгу, Гарусов вдруг преображался: скрипучий голос делался тонким и елейным, руки начинали дрожать и весь он точно «осатаневал», по выражению букинистов. Немедленно начинался торг. Если букинист заламывал чрезмерно большую цену, Гарусов выходил из себя, визжал, топал ногами, ругался и даже иногда выгонял алчного торговца вон. Но уже с половины лестницы возвращал он гостя обратно, опять принимался торговаться и все-таки книгу приобретал. Торговался Гарусов не из бедности, а так, по привычке.

— Вот-с, извольте посмотреть,— показывал он кому-нибудь из гостей свои сокровища,— что ни книга, то и алмаз, драгоценный перл. Подите-ка поищите где-нибудь. Вот, например, «Торжество Анфиона». Вы посмотрите, фронтиспис-то какой, гравюрки-то какие! Ведь завитки-то у облаков точно в небо уходят, ведь у корабля-то каждый парус как будто дышит. Этой книги всего пять экземпляров и печаталось для высочайших особ. Один экземпляр в Зимнем дворце, другой в

Публичной библиотеке, третий у нас в Румянцевском, четвертый в Лондоне, а пятый у меня. То-то и оно.

2

В один прекрасный весенний день Гарусов, стоя у окна в своей библиотеке, рассматривал только что купленную книгу. Его колючие, в серой щетине щеки горели румянцем, руки тряслись. Книга, которую он держал перед собой, была действительно редкость и могла называться уникой: это было знаменитое «Странствование из Астрахани в Тверь», сожженное по повелению императрицы Екатерины рукой палача. Редкость книги усугублялась тем, что она была не в переплете, а в обложке, «в сорочке», как говорят книжники. Самая «сорочка» была свежая, едва полинявшая от времени.

Гарусову хорошо было известно, что во всем мире существует только один экземпляр «Странствования», хранящийся в Публичной библиотеке, экземпляр в переплете и средней сохранности. Выходит, что покупке его нет цены, и это было ему тем более приятно, что заплатил он за книгу всего семьдесят пять рублей.

— Да, это тебе не рюриковский хлам,— думал Гарусов, гордо оглядывая свои полки.— Невелика птичка, да ноготок востер. Рюрикову за всю его дрянь и трех тысяч не дадут, а мне любой американец полмиллиона сейчас отвалит. Только не продам я вас, мои голубчики, нет, не продам.

Как у всех одиноко живущих старых людей, мысли Гарусова повторялись всегда в одном и том же порядке. Теперь ему предстояло задуматься об участи его книг после кончины, но легкий стук в дверь заставил его очнуться.

3

— Здравия желаю, батюшка Сергей Сергеич,— запищал тонкий голос, и к Гарусову подошел, низко кланяясь, толстый седой горбун. Это был известный букинист Терентьев, наживший продажею старых книг большие деньги. В противность Гарусову, книжнику-идеалисту и поэту своего дела, Терентьев был практик и делец. Ни до редкости, ни до красоты книги ему не было никакого дела: главное, выгоднее продать. Теперь Терентьев жил на покое, сдав торговлю сыновьям, а сам только пил чай да ходил к обедне. У Гарусова он бывал не часто.

— Здравствуй, Петрович,— ласково отозвался Гарусов, помнивший Терентьева еще мальчишкой,— что скажешь?

— С покупочкой вас.

— Ах, ты про это. Да откуда ты узнал?

— Слухом земля полнится.

— Да, брат, книга первый сорт. Это мне бог послал на мое сиротство.

— А вот я к вам, Сергей Сергеич, по делу, насчет этой самой книги. Извольте ли видеть: Сухов Павел Петрович хочет в Петербурге эту самую книгу переиздать. Ему это разрешили и остановка только за книгой.

— Ну так что же?

— Так не одолжите ли ваш экземпляр?

Терентьев много лет знал Гарусова, но и представить себе не мог, чтобы старый книголюб способен был до такой степени рассердиться. Он зашипел, запрыгал, заплевался. Не Сергей Сергеич Гарусов, а фурия какая-то металась перед глазами Терентьева. Горбун поспешил скатиться с лестницы кубарем под градом свирепых слов.

Но не таков был Терентьев, чтоб отступить от дела. Издатель Сухов обещал хороший куртаж, и ему не хотелось упустить добычу. Три недели уламывал он Гарусова, снося оскорбления и насмешки.

— Помилуйте, Сухов Павел Петрович, какое имя! Ведь только наберут и вернут вам вашу книжку в целости, будьте покойны. Да я вам своим словом ручаюсь, Сергей Сергеич.

— Подлец ты! Мне ведь не книги жалко, а не могу я расстаться с ней, понимаешь? Ты вот человек семейный, а небось сына или дочь в чужие руки не дашь. Каково мне думать, что моя книга, *моя*, и вдруг где-то в чужих руках!

— Так что за беда, Сергей Сергеич! Не то что дети, бывает, и жена попадется в чужие руки, так и то большой потери тут нет. Побывает и назад вернется.

— Ах, ты пес горбатый! Да как у тебя язык поворачивается только? Ты рассуди. Ведь каждая эта книга не только что жены или детей, а и меня самого дороже. Правда, женат я никогда не был и бога за это благодарю. Вот они, мои жены да дети в полочках стоят! Не изменят, не убегут. Заведи-ка я себе жену, так она и платьев запросит, и шляпок, и невесть чего. Детей учить надобно, беспокоиться из-за них. А тут я к полочке подошел, книжку вынул, раскрыл и ничего мне на свете не надо. Тут на каждой страничке я свою жизнь прошлую встречаю: когда купил, когда прочитал, все помню. Жена! Да жена-то через десять лет состарится и ведьмой станет, а тут есть книги, по сорока лет у меня стоят, так словно еще свежее стали.

Терентьев видел, что старый книголюб, увлеченный своею речью, смягчился.

— Сущая правда, батюшка Сергей Сергеич,— поддакнул он.— Это что и говорить, все как есть правда. И у Мартынова на каталоге надпись имеется: «Книга есть верный друг». По этой самой причине чего же вам бояться? Я тоже человек верный, знаете вы меня пятьдесят с лишним годов, доверие ко мне можете иметь. Так позвольте книжечку-то, я самолично ее Павлу Петровичу свезу и вам в целости предоставлю.

Гарусов, полагавший, что горбун убедился вполне его словами и отказался от дерзкой мысли просить у него книгу, был озадачен. Несколько минут он молчал, разинув рот, потом вздохнул и, глядя в глаза Терентьеву, сказал с расстановкой:

— Бесчувственная скотина! И как это тебя земля держит!

4

Горбун посмеивался, нисколько не смущаясь.

Мало-помалу Гарусов стал сдаваться. Устал ли он от постоянных пререканий с Терентьевым, или подействовало на него упорство горбуна, но только он уже не ругался, не шипел и не гнал старого букиниста. Он даже полюбил беседовать с ним, просиживая часами в своей уютной столовой за толстеньким, красной меди, певучим самоваром. Кроме самовара столовую оживляли еще старинные диковинные часы. Четверти на них выкрикивал перепел, а часы — кукушка, и били они башенным, глухим боем. Самовар, часы, огромные полки с книгами и сам хозяин в халате являли собой какой-то совсем особый, неподвижный мир.

Однако горбун начинал уже терять терпение, когда один совсем неожиданный ход решил все дело.

— А знаете, батюшка Сергей Сергеич,— заговорил он однажды, допив четвертую чашку чая,— Сухов-то, говорят, хочет в книге прописать: что, мол, так и так, издается при участии известного знатока Гарусова, с единственного экземпляра.

Терентьев сбрехнул, не подумавши, зря, но слова его имели действие, какого он при всей своей проницательности не мог предвидеть. Гарусов опустил поднятый было чайник, встал и, оставив кипяток из самовара литься на поднос, пошел в библиотеку. Горбун осторожно завернул кран и пристально следил за хозяином. Он глазам своим не верил, когда Гарусов, минуту спустя, подошел к нему с драгоценным томом «Странствования» и заговорил торопливо и мягко:

— Что ж, возьми пожалуй, только помни...

— Что вы, батюшка, будьте покойны, да я...

— То-то.

Улучив удобную минуту, горбун пустился домой во все лопатки. Прощаясь с Гарусовым, он был почти уверен, что хозяин воротит его с лестницы и отнимет книгу. Но этого не случилось, и «Странствование», упакованное в холстину, в тот же день поехало в Петербург.

Гарусов, по уходе горбуна, не сразу пришел в себя. За всю его долгую жизнь это был первый случай, что книга, приобретенная им, поставленная на полку и включенная в каталог, вдруг покинула его дом. Сознание это явилось к нему позже, а пока он весь был во власти тщеславия, рисовавшего ему самые соблазнительные картины.

5

И до вечера думал Гарусов, расхаживал по комнатам и улыбался.

Оттого, что всю жизнь свою прожил он, как дитя, зная одни книги, Сергей Сергеич был лишен тщеславия и не думал об известности, теперь новое чувство хлынуло в душу его широкой волной. Будто с исчезновением книги, как бы в оплату за измену идеалам всей жизни, завладели Гарусовым дурные мысли.

Но длилось это недолго. Ночью он вдруг проснулся, схватил ключи и побежал в библиотеку. Книги не было. Точно очнувшись от кошмара, стоял он и спрашивал сам себя: да неужели я ее вправду отдал?

Он не уснул до утра, и самые невероятные мысли терзали его ослабевший мозг.

— Все это лестно и хорошо, и слава, и то, и се, да книги-то нет. Ведь ее потерять могут, украсть,— да, конечно, первый украдет! И он холодел от ужаса.

На другой день к вечеру он уже летел в Петербург. Пассажиры, перешептываясь, оглядывали с любопытством допотопного старика в небывалой шинели и старом бобровом картузе. Лет двадцать Гарусов никуда не выезжал.

Прямо с вокзала он отправился в типографию Сухова и, входя в наборную, окаменел на пороге.

Рабочие только что приступили к набору драгоценной книги. «Странствование» было разорвано на части, роздано по рукам, и рабочие торопливо набирали со старинных, захватанных их свинцовыми грязными лапами, страниц. «Сорочка», последняя, может быть, единственная в мире, валялась на полу, и ментранпаж тут же, при Гарусове, наступил на нее каблуком. Ни слова не сказав, Сергей Сергеич вышел. Голова у него тряслась. На дворе с ним сделался легкий обморок, но

он преодолел себя и в тот же день выехал в Москву.

Дома он слег в постель и через неделю скончался. В предсмертном бреду он бормотал: «„Экзальтацион любознательный“... В восьмую долю, не обрезать... „Кадм и Гармония“... держанный сафьяновый переплет... „Капище сердца моего“... У Любия, Гория и Попова... экземпляр подносной, с автографом».

До самой смерти Гарусов не узнавал никого. Но когда явился проведать его букинист Терентьев, к старому книголюбу на мгновенье вернулась память, и он, сжимая высохшие кулаки, прошептал чуть слышно:

— Убил ты меня, подлец!

Терентьев, крестясь, осторожно вышел, но на дворе долго ухмылялся и покачивал головой.

Наследников у Гарусова не оказалось. Тот же горбун Терентьев скупил его книги и распродал потом по частям с огромным барышом.

Публикация Юрия Юшкина

Мария-Летиция Меаччи, Мария Бартолоцци Гуаспари

ЙОХАНН ГУТЕНБЕРГ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Итальянские писательницы Мария-Летиция Меаччи и Мария Бартолоцци Гуаспари приурочили выход своей книги «Йоханн Гутенберг», выпущенной известным болонским издательством «Капитоль» в серии «Научно-популярные монографии», к 500-летию со дня смерти майнцского первопечатника (1397—1468).

Это — добрая и умная, по-своему живая и веселая книга. Есть здесь и авторский вымысел, и документальное исследование, и переложение средневековых легенд, и популярные сведения о развитии и основах типографского дела. На случаи слишком вольного толкования писательницами научных данных мы по возможности указываем в примечаниях. Вместе с тем яркий и увлекательный рассказ о жизни Гутенберга и о ранней истории книгопечатания, несомненно, привлечет внимание читателей альманаха.

Перевод публикуется с некоторыми сокращениями.

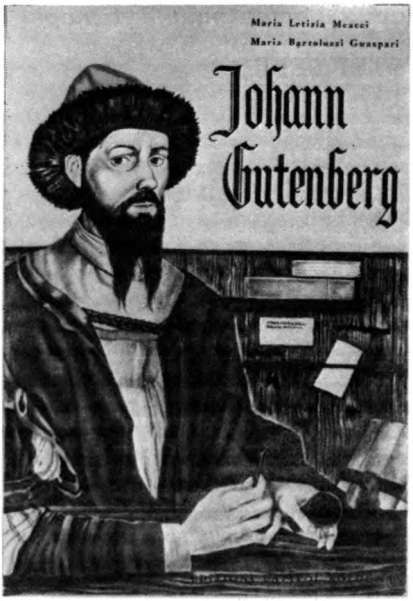
1. ПРИДАНОЕ ИППОЛИТЫ.

В феврале 1469 года во Флоренции на пьяцца Санта Кроче происходил изумительный турнир. Он был устроен, чтобы отпраздновать помолвку девятнадцатилетнего Лоренцо Медичи с Клариче Орсини, которая принадлежала к знатной римской семье и которой едва минуло шестнадцать.

Никогда не случалось флорентийцам видеть такого пышного зрелища, таких великолепных кавалькад, никогда не доводилось восхищаться такими сверкающими костюмами. Только глубокие старики могли, наверное, по богатству нарядов, блеску драгоценных камней и причудливости гербов сравнить это с другим историческим празднеством, хотя и совсем иного значения, состоявшимся во Флоренции тридцать лет назад по случаю церковного собора.

Тогда правил Козимо Медичи Отец Отечества, теперь его сын Пьеро Подагрик, который, в свою очередь, скоро, очень скоро, в том же самом году, оставит своему сыну Лоренцо славное бремя власти над городом.

Свадьбу сыграли 4 июня того же года в Сан Лоренцо, в храме, выстроенном Филиппо Брунеллески, благодаря щедро-



Обложка книги «Йоханн Гутенберг»

сти Козимо, на месте старой ветхой церкви, освященной святым Амвросием[1] еще в 393 году.

Юная невеста была очень грациозна, а ее семейство в Риме очень могущественно. Что же касается ума, то, по словам ее свекрови Лукреции Торнабуони, особенным умом она не отличалась, да и воспитанием ее занимались весьма мало. Это заставляет предположить, что полученная в подарок к свадьбе неизвестно от кого та чудесная книжица, написанная золотыми буквами на лазоревой бумаге и, как выражались тогдашние хронисты, «покрытая хрусталем и серебряной работой», словом, та, которую она держала в руках, входя в церковь, была, пожалуй, единственной книгой у юной Орсини.

Совсем иной культуры была другая знатная девица, вступившая в это же самое время в брак в герцогстве Миланском, а именно Ипполита, дочь Франческо Сфорца и Бьянки Марии, последней Висконти[2].

Ее приданое было достойно королевы: драгоценные камни, одежды, вышитые золотом и серебром, чистый блеск, а из того, что нас интересует, стоит упомянуть входившую в приданое маленькую переносную библиотечку из нескольких, но отборнейших манускриптов и с такими миниатюрами, что и не расскажешь. Там были среди прочего: Библия, молитвенники, греческие Евангелия, «О граде божьем» святого Августина, «Декады» Тита Ливия и Вергилий с комментариями Сервия[3].

Но и сама Ипполита славилась своими познаниями. Она говорила по-латыни, как ученые мужи ее времени, сама переписывала манускрипты. А что до греческого, то его преподавал ей маэстро Константин Ласкарис, византийский грамматик и гуманист, после взятия турками Константинополя нашедший приют при дворе Сфорца. Как раз для своей

молодой ученицы Ласкарис и составил греческую грамматику, а именно «Краткое изложение восьми частей речи». То была первая греческая книга, опубликованная в Италии, в Милане, в 1476 году Дониджи Паллавичини.

Этот 1469 год, видевший свадьбу юного Лоренцо Медичи, получившего впоследствии прозвище «Великолепный», и его приход к власти после смерти отца, был ознаменован также бракосочетанием Изабеллы, королевы Кастильской, и Фердинанда, короля Арагонского. Их союз позволил несколько лет спустя изгнать мавров из Испании и оказать королевскую поддержку первой экспедиции Христофора Колумба.

Все эти вехи обязательны для того, кто хочет проследить в этом, названном «золотым», столетии историю мысли, искусства и научного прогресса вплоть до порога нового времени.

2. РУКОПИСИ И БИБЛИОТЕКИ.

Как мы уже сказали, Брунеллески получил от Козимо заказ построить по своему чертежу церкви Сан Лоренцо и Санто Спирито. Ему поручили и составить проект нового дома Медичи на виа Ларга, но едва Козимо взял в руки этот проект, как тотчас решил, что тот чересчур грандиозен, и предпочел отдать заказ другому архитектору — Микелоцци.

Когда флорентийцы увидели, как поднимаются, камень за камнем, массивные стены нижнего этажа, они забеспокоились. То, что строил Козимо, было не палаццо для него и его семьи, а самая настоящая крепость, опасность, угроза для вольного города Флоренции.

Отсюда лишь один шаг до обвинения Козимо по всем правилам, по наущению — как легко себе представить — флорентийской знати, ревниво относившейся к могуществу Медичи. Так семейство Медичи отправилось в изгнание. Козимо — сначала в Падую, затем в Венецию.

Изгнание длилось недолго, всего один год, но мы говорим о нем потому, что там, в городе на островах, Козимо в знак признательности за оказанное ему великолепное гостеприимство поручил своему архитектору построить библиотеку Сан Джорджо Маджоре.

Флорентийский банкир вновь вступил в родной город и был встречен, словно возвратившийся с войны победитель. Последовавшие за тем годы стали — для искусства и мысли — как бы драгоценным гобеленом, где не знаешь, чем больше восхищаться: красками ли, рисунком или умением ткача. Факт тот, что в быстро достроенном палаццо на виа Ларга нашли приют ученые и художники всех отраслей знания и искусства.

Козимо, богатейший, известнейший, не упускал случая завести друзей во всех слоях общества.

Он восстанавливал монастыри и устраивал в них библиотеки со всем необходимым для образования. Преподнес 400 томов монастырю Сан Марко, где приказал отвести для себя келью и где Фра Анджелико[4] написал для него фреску «Поклонение волхвов» на сюжет, избранный самим Козимо. Туда он ходил, чтобы побеседовать с учеными доминиканцами, послушать их, спросить их мнений.

Так, и в аббатстве Фьезоланском, расширенном по проекту Брунеллески, он пополнил библиотеку кодексами и манускриптами.

Для Козимо переписчики работали без передышки. Благодаря его знакомствам, знакомствам банкира, охватывавшим Каир, Константинополь, Иерусалим, редкие и драгоценные рукописи прибывали к нему вместе с индийскими пряностями, китайским шелком и японским фарфором. Небольшая армия переписчиков и миниатюристов принималась за работу и размножала эти шедевры, предназначенные для обогащения собраний греческих и византийских манускриптов.

В 1444 году Козимо открыл свою библиотеку, названную впоследствии Лауренцианой, для ученых гостей Флоренции. Можно смело утверждать, что то была первая в Европе публичная библиотека.

В ту пору его библиотекарем был просвещенный и энергичный юноша Томмазо Парентуччелли. На него-то Козимо и возложил обязанность пополнять и держать в порядке книгохранилище, и выбор он сделал правильный.

Спустя несколько лет Парентуччелли, переехав в Рим, был избран папой под именем Николая V, и первое, к чему он приложил руку, было собрание кодексов, образовавших первоначальное ядро Ватиканской библиотеки.

3. МОНАХ ИЗ СУБЬЯКО.

В одном из сотен окошек монастыря святого Бенедикта в Субьяко монах-переписчик поднял глаза от пергамена, который он в этот момент покрывал изящными и четкими письменами, и взглянул на долину Аньене и на дорогу, ведущую... в Рим.

Пробормотал пару молитв и отвлекся, подумав: «Что сказал бы сегодня святой Бенедикт[5] о церкви, о своих монастырях? Он снова удалился бы в Сакро Спеко для молитв, засадил бы всех за работу, это уж точно. Конечно, и его времена были нелегкими! Он-то победил, да... но сейчас...

проблема в другом, совсем в другом: нам, монахам-переписчикам, не хватает работы. То же самое происходит и в Монтекассино».

Спрос на копирование кодексов все уменьшается. Надо прилагать много усилий, скупать античные тексты у тех, у кого они есть. Но денег в монастыре немного. А народ? Уж он-то нуждается в образовании. Потребовалось бы больше «Донатов»[6], больше молитвенников, чтобы распространять знание, благочестие, истину веры.

Как побороть ложь и невежество?

Проблема огромная, и доброму монаху не оставалось ничего другого, как прошептать молитву и вновь приняться за работу, прежде чем колокол прозвонит к вечерне.

Да, конечно, заказы монахам-переписчикам стали редки по многим причинам. Но одна из важнейших та, что при герцогских и княжеских дворах Милана, Венеции, Флоренции, Феррары и там, где возникли первые университеты — в Болонье, Пизе,— в хорошо организованных скрипториях трудятся сотни переписчиков, и работы им хватает, потому что хватает меценатов и эрудитов; потому что библиотеки во дворцах и монастырях все растут; для иллюстрирования самых редких образцов изысканными миниатюрами приглашают прославленных мастеров; применяют новую технику: вырезают по дереву и металлу.

Понятно, нужны тугие кошельки, чтобы снабдить миниатюристов золотой фольгой, чтобы заплатить ювелирам, которые изготовляют из золота, серебра и драгоценных камней великолепные переплеты для кодексов и требников.

Монах из Субьяко знает историю монастырей, и ему известно, с каким рвением и смирением предавались его собратья этому не приносящему славы, но такому необходимому труду.

Он знает, что Гиго дю Шатель, пятый приор Картузианского ордена, считал первым долгом монаха переписывание добрых книг и восхвалял эту деятельность в таких словах, часто потом повторявшихся: «Мы хотим сохранить книги, ибо они суть вечная пища для наших душ».

Он знает также старинную молитву монахов-переписчиков, которая ежедневно звучит перед началом работы: «Благослови, господи, эту обитель, где рабы твои заняты письмом, и всех в ней живущих, дабы постигли они разумом своим и претворили трудами своими то, чему учит Священное Писание и что они прочтут или напишут».

Но знание прошлого не помогло нашему монаху провидеть будущее. И все-таки та проблема, что так сильно его

заботила, то есть распространение знаний и среди бедного люда, вот-вот будет решена. А что касается недостатка работы, то ему следовало бы знать о том, что в эти годы, благодаря уму одних, любви к прекрасному у других и желанию показаться утонченным у третьих, накапливаются в библиотеках все сокровища культуры минувшего, от Востока до Запада.

Это первый шаг, который следовало сделать, ибо уже недалеко было то завтра, когда для всех станет возможным почерпнуть из тех богатых кладовых, где хранится история человеческой мысли.

4. ИЗ ДАЛЕКОГО МАЙНЦА.

Прошло не так уж много времени, как однажды, на исходе лета того же года, кто-то постучал в монастырские ворота Субьяко. То были двое молодых людей, только что спрыгнувшие с грубой повозки, полной каких-то странных товаров.

Кто такие, откуда прибыли и что привело их прямо к воротам почтенного монастыря? Хотят переночевать? Или, может быть, желают примкнуть к общине, спастись от соблазнов мирского бытия и жить в покое духа и чувств?

На все эти вопросы добрых монахов те двое ответили на латыни, испорченной, однако, тевтонским акцентом, что выдавало их немецкое происхождение, а затем разговор продолжился по-немецки, ведь многие братья в Субьяко родились в городах Германской империи.

История двух молодых немцев не была необычной для тех времен.

Арнольд Паннартц и Конрад Свейнхейм — так их звали — явились из Майнца, где вплоть до 27 октября 1462 года занимались самым новейшим ремеслом: работали в мастерской, печатавшей книги (слово «типография» тогда не употребляли). Мастерская принадлежала Йоханну Фусту и Петеру Шефферу. 28 октября пожар поглотил заведение, спешно покинутое владельцами и рабочими. Пожар вызвала солдатня Адольфа фон Нассау, что взяла город штурмом и подвергла затем методичному грабежу. Предприятие Фуста и Шеффера они тоже «навестили», а то, что от него осталось, превратилось в «ничейную собственность».

Паннартц и Свейнхейм первыми вернулись в разграбленную и опустошенную пожаром мастерскую и смогли кое-что спасти. Они погрузили все это на повозку и удалились из Майнца и вообще из Германии в поисках более спокойной страны.

Италия в это время переживала период затишья. В 1454 году был заключен мир в Лоди, а за ним последовала «Италийская лига» между Венецией, Миланом, Флоренцией, Римом и Неаполем — то есть между пятью крупнейшими державами Италии — ради сохранения равновесия и мира, по крайней мере, на сорок лет. Стало быть, для Паннартца и Свейнхейма Италия была идеальной страной, и туда-то они и направились на своей повозке.

То было долгое и трудное путешествие: непроезжие дороги, многочисленные заставы у городских ворот, особая подозрительность стражи по отношению к двум иностранцам и их необычному товару. Куда они едут? Что у них в ящиках?

«Едем в Рим,— неизменно отвечали печатники.— Едем к святому отцу, будем у него работать».

Это не было отговоркой, чтобы только заставить отвязаться стражу. Паннартц и Свейнхейм знали, что папа Николай V, скончавшийся в 1455 году, основал богатую библиотеку, снабдив ее рукописными копиями десятков и десятков произведений. Библиотека Николая V включала, среди прочего, единственные существовавшие латинские переводы Аристотеля и Платона, Геродота и Фукидида, Ксенофонта и Полибия и других великих греческих авторов. Эти рукописи, казалось, так и взывают, чтобы их напечатали.

Однако немецкие мастера не знали, что любовь к книгам умерла в Риме вместе с Николаем V, и, когда, наконец, достигли Вечного Города в начале 1465 года, они уже не нашли никого, кто был бы расположен их выслушать. Сама прекраснейшая библиотека Николая V была в полном запустении, а сотни кодексов, оправленных в красный бархат, пропали без вести.

Немцам нечего было делать в Риме, и кто-то посоветовал им просто сбросить всю поклажу в Тибр. Книги не приносят пользы добрым христианам.

Оставшись уже без средств к существованию, оба печатника решили вновь пуститься в дорогу и в последний раз попытать счастья в монастыре Субьяко, где можно найти монахов-немцев и объяснить им, что привезли с собой. Если бы удалось убедить монахов, можно было бы остаться работать у них. В крайнем случае добрая братия не откажет им хотя бы в гостеприимстве.

Приором старинного аббатства, матери бенедиктинского ордена, был эрудированный Джованни ди Торрекремата. Он терпеливо выслушал длинные объяснения немцев, а когда те предложили устроить практическую демонстрацию нового искусства писать «без руки и пера», ответил торжественным

согласием. «Мы будем счастливы увидеть, как печатают какую-нибудь страницу „Доната“».

Многим собратьям Торрекрематы не по душе пришлось это письмо «без руки и пера», они подумали бог знает о каком творении лукавого, но приор бенедиктинцев был не только человеком верующим, но и мужем науки и порадовался возможности присутствовать при чуде.

Уж если господь позволил обоим немцам добраться из Майнца до самой обители в Субьяко, он, верно, намерен дать святым братьям и другое доказательство своего беспредельного благоволения.

А если опыт удастся, то, как утверждают печатники, новая «продукция» смогла бы, пожалуй, конкурировать с теми образцами, что выходят из скрипториев княжеских дворов и университетов. Печатная книга, по словам Паннартца и Свейнхейма, в четыре раза дешевле рукописной. Такое снижение стоимости книг облегчило бы распространения слова божьего и наук человеческих. И новая слава осенила бы монастырь в Субьяко. Приор вполне осознавал всю важность момента и в душе благословлял римскую курию, не склонившую ухо к двум иностранцам.

Монахи поспешно освободили один из больших залов нижнего этажа, а Паннартц и Свейнхейм с помощью нескольких послушников сгрузили странный товар, наваленный на повозку.

Не один подрясник оказался в конце работы запачкан маслом и покрыт сажей и пылью. И на стенах зала и на полу коридоров появились темные пятна разных размеров, не поддающиеся ни воде, ни швабре. Можно себе представить реакцию братьев-переписчиков. Для них чистота и письмо всегда шли рука об руку. Они трудились в тщательно убранных кельях на пюпитрах из старого дерева, ставших гладкими от долгого употребления. Работали перьями, стилями, с точилками, пузырьками для чернил, все в строгом порядке, все освещено ясным дневным светом. Гости же не заботились о таких вещах и, казалось, вообще пренебрегали порядком и чистотой. Это вызывало протест, но любопытство брало верх.

Тем временем Паннартц и Свейнхейм с помощью усердных послушников и под внимательными взглядами монахов-переписчиков собрали тяжелый пресс[7], открыли коробки со шрифтом, приладили рамки, разложили стопы толстой бумаги. Затем занялись приготовлением густой и жирной краски, смешивая льняное масло с сажей. Эта последняя операция требовала особой тщательности, так как краска не должна

была выйти ни слишком густой, иначе она не покрыла бы равномерно все литеры, ни слишком жидкой, чтобы не запачкать бумагу.

Когда краска достаточно загустела, печатники попросили у приора страницу «Доната» и как можно скорее принялись набирать ее, вынимая из коробок металлические брусочки и укладывая их аккуратными строчками в рамке — по брусочку с буквой.

Покончив с этим, они уложили рамку под пресс, старательно смазали краской набор, а на него положили лист бумаги, чуть увлажненный. Потом потянули рычаг, и верхняя часть пресса, скрипя, опустилась на лист бумаги, плотно прижав его к рамке со шрифтом.

Затем рычаг был поднят, а лист осторожно отделен от рамки и отложен в сторонку. И что же? Присутствовавшие при этом монахи с нетерпением ожидали результатов работы, но немцы в десятый, в двадцатый раз повторяли те же самые движения, мало заботясь о зрителях. Мазали краской набор, клали сверху бумагу, опускали и поднимали ходовую часть пресса, затем отделяли лист и откладывали его к другим.

И все? Да, все.

Но когда монахи увидели у себя в руках десять, двадцать листков бумаги с напечатанными на них ровными строками из одних и тех же слов на каждом листе, с одними и теми же инициалами, а все страницы совершенно одинаковы, изумление хозяев было и в самом деле велико.

Оба же печатника искали только возможности работать и совершенствовать свое искусство. Это совпало с желанием общины, и договор тотчас был заключен.

5. КОГДА БУМАГИ В ПОРЯДКЕ.

В этой непростой истории книгопечатания, где столько таинственных страниц, есть, по крайней мере, один достоверный факт. Именно в Субьяко возникла первая итальянская типография, а первым произведением, увидевшим свет, стала латинская грамматика для школьных занятий.

От этого издания не осталось и следа, но труд Лактанция[8] «О божественных установлениях против язычников», ин-фолио с романским шрифтом, скопированным почти несомненно с монастырских кодексов, нашел, вероятно, меньше читателей и сохранился до наших дней. Пометка «29 октября 1465 года в достопочтенном монастыре в Субьяко» указывает на время и место издания книги, о которой можно с уверенностью сказать, что она напечатана в Италии.

Сочинение Лактанция было размножено в 275 экземплярах. Таков был тогда стандартный тираж.

Паннартц и Свейнхейм оставались в Субьяко до 1467 года.

Там они выпустили в свет «Об ораторе» Цицерона и «О граде божьем» святого Августина, затем переехали в Рим, очевидно, по приглашению папы Павла II. Римские аристократы братья Пьетро и Франческо Массимо оказали им гостеприимство в своем дворце и там же разрешили устроить типографию.

К немцам вскоре присоединился миланец Джанандреа Бусси, ученик Витторино да Фельтре[9], занимавшийся корректурой и составлением предисловий и посвящений.

Типография работала в долг, и, хотя выпускала произведения огромной культурной ценности, она не приносила ожидаемых прибылей. По этой причине в 1472 году Паннартц и Свейнхейм обратились к Сиксту IV, преемнику Павла II, с мольбой о субсидии. Написанное Бусси и скрепленное подписями обоих мастеров прошение является не только первым официальным актом касательно издательского кризиса, но и свидетельством из первых рук о работе, проделанной в Италии немецкими печатниками.

Документ начинается с напоминания о том, что издание «Комментариев к Ветхому и Новому Заветам» Николы ди Лира потребовало таких обширных сумм, что совершенно разорило типографов. Затем идет отчет об их деятельности, из которого следует, что в период с 1465 по 1472 год они опубликовали 28 произведений (в том числе Ливия и Вергилия), а некоторые дважды и даже трижды, выпустив в общей сложности 12 500 томов.

Субсидия получена не была, и на следующий год товарищество распалось. Начиная с 1476 года у нас больше нет известий о двух мастерах, чья неоспоримая заслуга — внедрение книгопечатания в Италии.

В 1468 году, когда из-под пресса немецких типографов выходили первые римские книги, в Майнце, почти всеми забытый, умирал первопечатник Йоханн Генсфлейш цум Гутенберг, родившийся в этом же самом городе на исходе XIV или в начале XV века.

Надо сказать сразу, что три города оспаривают честь считаться родиной книгопечатания: Майнц в Германии, Хаарлем в Голландии, Фельтре в Италии.

Без документов историю не пишут. Поэтому будем верить тем из них, что дошли до наших времен, учитывая при этом, что другие могли погибнуть или потеряться.

Сегодня из трех изобретателей: Гутенберга в Майнце, голландца Лоренса Янсзона по прозвищу Костер и Панфило Кастальди из Фельтре в наибольшем порядке бумаги у Гутенберга. Эти документы и есть самые настоящие «документы», то есть судебные акты, акты процессов, которые вел Гутенберг против своих компаньонов и кредиторов. И вот с этих страниц встает мало-помалу его измученная жизнь, по крайней мере, в ее основных чертах.

В средние века рейнский город Майнц называли «золотым» за его богатства, накопленные в результате активнейшей торговли, но... как и все города того времени, он не избежал жестоких внутренних распрей между патрициатом и цехами. Это и предопределило его скорый упадок.

Около 1420 года большинство майнцских патрициев покинуло город. Среди них был и молодой Йоханн Генсфлейш, который примет позднее фамилию Гутенберг. Причина ухода неясна. Одни историки связывают его с беспорядками, имевшими место в Майнце по случаю прибытия архиепископа Конрада, другие же — с противоречиями, порожденными политикой императора Сигизмунда.

Йоханн Генсфлейш-Гутенберг далеко не уехал. От Майнца рукой подать до Страсбурга, и этот город с его вольными учреждениями и демократическим устройством привлек молодого изгнанника. В Страсбурге он начинает вести жизнь, весьма отличную от той, какую вел бы, оставшись в Майнце. В самом деле, один документ свидетельствует, что в 1424 году майнцский патриций записывается в цех ювелиров и чеканщиков, то есть становится золотых дел мастером.

О Гутенберге-ювелире мы знаем немного, но и это немногое кое-что объясняет. Он достиг таких высот в своем ремесле, что мог прямо-таки давать уроки резки по благородным металлам. Вот почему в не таком уж далеком будущем он оказался способен изготовить сложные матрицы для типографских литер[10].

При этом он не пренебрегал и своим образованием. Ведь он должен был начать его уже в Майнце, как и подобало юношам его круга, а кроме того, в Страсбург через Базельские ворота проникали те первые дуновения Ренессанса, которым было суждено окончательно развеять остатки средневекового тумана.

26 марта 1430 г. архиепископ Конрад пожаловал амнистию нескольким эмигрировавшим горожанам Майнца и среди них также Йоханну Гутенбергу. Однако тот не воспользовался этим и, не считая кратких путешествий, оставался в Страсбурге вплоть до 1444 г.

Что его там удерживало? Быть может, любовь. Мы ведь знаем, что в 1437 году он женился на местной уроженке, некоей Анне, но какие-либо иные подробности сентиментального романа молодого майнцского мастера нам не известны. Возможно, его удержали особые льготы, предоставлявшиеся осевшим в Страсбурге иностранцам. Или — что более вероятно — работа, а еще скорее — осуществление замысла, который он тогда уже некоторое время вынашивал. И здесь нам приходят на помощь те самые указанные нами бумаги, те самые официальные документы.

Они гласят: в 1437 году Гутенберг вместе с тремя горожанами Страсбурга организует товарищество. Эти трое — Андреас Дритцен, Андреас Хейльманн и Йоханн Риффе.

Учредительный акт этого товарищества весьма важен для нашей истории, ведь оно предполагало использовать некий секрет Гутенберга, а именно, говоря словами документа, «пустить в ход многие удивительные умения и секреты, содержащие нечто чудесное». Каковы эти умения и секреты,не сказано, но представить себе нетрудно.

Подписывая акт, четверо компаньонов обязались выплатить по восемьдесят флоринов каждый. Сумма значительная, но скоро окажется недостаточной — совокупный капитал будет доведен до четырехсот флоринов. Гутенберг — душа предприятия, и он же распоряжается капиталом, остальные имеют лишь функцию кредиторов. И именно из этого распределения обязанностей рождаются мало-помалу первые неприятности для майнцского мастера.

В самом деле, через год после основания товарищества умер Андреас Дритцен. Он должен был внести еще восемьдесят пять флоринов из ста положенных, а его братья Георг и Николай, прежде готовые погасить долг при условии их приема в долю покойного, внезапно пошли на попятный и потребовали отмены причитающейся с них как с наследников выплаты. Гутенберг, Хейльманн и Риффе имели все основания отвергнуть эту претензию, и тогда братья Дритцены обратились в суд. А поскольку ремесленник из Майнца нес по закону ответственность за все действия компании, то он и предстал перед судьями в качестве ответчика. Процесс завершился приговором, обязавшим Гутенберга возместить истцам пятнадцать флоринов, которые внес покойный в общую кассу.

Дело Дритцен — Гутенберг не заслуживало бы особого внимания, если бы в ходе разбирательства не прозвучали некоторые свидетельские показания, проливающие, хотя и косвенным образом, свет на открытие Гутенберга.

Ремесленник Ханс Дюнне, один из сорока свидетелей, опрошенных магистратом, заявил среди прочего, что получил от Йоханна Гутенберга около ста флоринов за предметы, относящиеся к печатному делу,— за свинец и другие металлы.

Свидетельница Эннель Шультхейс утверждала, что Андреас Дритцен хранил в своем доме «четыре предмета, лежащие в прессе» и что после его смерти Гутенберг послал сказать брату покойного, чтобы тот «спрятал и разобрал их, дабы нельзя было узнать, как они сделаны, так как он, Гутенберг, не желал, чтобы кто-нибудь мог догадаться об этом».

Показания Эннель подтверждены ее мужем, который добавил, что Андреас Хейльманн зашел к нему и сказал: «Выньте части из пресса и разберите их, дабы никому не удалось узнать, о чем идет речь».

Также и Мориц Бейльдех, слуга Гутенберга, был послан к Николаю Дритцену после смерти Андреаса предупредить его, чтобы он не позволял никому увидеть пресс, что был в его доме. Слуга прибавил к этому, что сам Гутенберг поручил ему подойти прямиком к прессу, «разорвать на кусочки страницы и засунуть упомянутые кусочки под пресс, дабы, когда все будет сделано, никто не проник в эту тайну».

Хейльманн, в свою очередь, говорил, будто «хорошо знал, что Гутенберг отправил своего слугу в дом Дритцена потребовать все части, которые были в его присутствии разобраны, потому что надо было кое-что исправить». Он добавил, что после смерти компаньона многим хотелось увидеть пресс, и тогда Гутенберг постарался его демонтировать, «дабы скрыть работу от чьих-либо взоров».

Предметы, относящиеся к печатному делу,— свинец, металлы, части, которые можно разобрать, пресс... Даже если этого ясно не сказано, перед нами — уже организованная, но еще не действующая типография. Гутенберг желает хранить ее в секрете. Желание более чем законное, ведь тогда еще не существовало патентной защиты изобретений.

6. ПРЕСС ГУТЕНБЕРГА.

И если Гутенберг окутал свое открытие тайной, необходимость вынуждает прибегнуть к легенде. Уроженец Майнца любил путешествовать, и похоже, что во время своей поездки в Голландию он повстречал некоего Лоренса Янсзона по прозванию Костер или «церковный сторож», который показал ему нечто очень интересное. Костер развлекался резьбой по дереву, точнее вырезал вензеля или просто заглавные буквы, но не на стволах деревьев, как поступают влюбленные, а на маленьких

брусочках бука, найденных им в лесу на прогулках. Однажды он завернул вырезанные таким образом буквы в лист пергамена и отложил в сторону.

Немного спустя он открыл свой пакет и был поражен, увидев на листе отпечатки некоторых букв. Что произошло? Очевидно, еще влажная древесина при соприкосновении с листом пергамена оставила сероватый след, воспроизведя на пергаменте рисунок, сделанный на дереве.

Костер долго размышлял над своим открытием (которое открытием вовсе и не было, ибо речь шла, по сути дела, о клейме, а клéйма почти столь же стары, как и сам человек), а так как среди его занятий было и обучение клириков, то он решил из вырезанных и собранных вместе букв составить слова, необходимые для написания одной или двух страниц, стольких, сколько требовалось, размножая их, однако вместо древесного сока применил хорошую краску.

Из этих-то листков один и попал в руки Гутенбергу. И тот надолго погрузился в свои мысли, держа в одной руке напечатанную страницу, а в другой пригодившиеся Костеру брусочки.

Вот почему Хаарлем воздвиг памятник своему церковному сторожу, основываясь на каком-то неясном и не подтверждаемом документами предании[11].

Гутенберг возвратился в Страсбург и захотел кое-что предпринять. Нуждаясь в деньгах, он прибег к общей кассе, но работать вместе с компаньонами не стал, более того — отыскал в окрестностях города заброшенный монастырь святого Арбогаста и там, в одной из келий, разместил свою первую лабораторию.

Именно в этом укрытии Гутенберг, имевший только некоторые навыки ручной работы по золоту, рассмотрел и изучил все технические аспекты той проблемы, которую Костер решил столь кустарно. Кое-что надо было просто вспомнить, а что-то и переделать.

Прежде всего не годятся деревянные литеры: они слишком поддаются деформации. Нужно изготовить их из металла, подумать о форме, о матрице, куда можно вливать расплавленный свинец и получать таким образом совершенно одинаковые буквы. Нужно подумать и о наборной доске, куда складывать готовые литеры. Необходимо определить тип краски, густой, но не слишком, чтобы не пачкала, не давала пятен. Потом — как приложить набор к листу и прижать, чтобы краска отпечаталась?

Последняя проблема — самая крупная, ведь от ее решения зависит и скорость, с какой можно печатать одну страницу за

другой. Для этой операции требуется особая «машина». И Гутенберг должен превратиться в механика.

Однако построить печатную машину нелегко, потому что самому мастеру никак не удается ее себе мысленно нарисовать. Ему нужно нечто способное прижать лист к набору, но это нечто должно действовать плавно и производить давление сильное, но не чрезмерное, хорошо бы постепенно нарастающее. Проблема сложна, и Гутенберг напрасно ломал себе голову, пытаясь представить реальные очертания своего замысла.

Часто бывает, что изобретения рождаются из случайных наблюдений и последующих рассуждений. Так и ему выпало изобрести свою машину, глядя на давильню для винограда. Повинуясь винту, пресс движется безостановочно, плавно, но со всей силой, что Гутенберг как раз и считает необходимым, чтобы прижать лист к покрытому краской набору.

Мастер тотчас принялся работать над теми изменениями в конструкции, какие требовала задуманная им машина, и вскоре чертежи простейшего печатного пресса были готовы.

Построил машину какой-то неведомый нам механик. Гутенберг поостерегся сказать ему, для чего она понадобится. И мы можем вообразить, какие догадки должна была вызвать у того порученная ему работа.

Изготовленный пресс состоял главным образом из рамы горизонтальной, над которой бегала каретка, несущая типографскую форму, и рамы вертикальной, державшей подвижный пресс. Поднимаясь и опускаясь с помощью винта, приводимого в действие рычагом, пресс прижимал лист к заключенному в форму набору.

Это и была первая печатная машина. Повторенная, вновь изобретенная, воспроизведенная в железе и в чугуне, усовершенствованная в различных своих частях, эта машина почти триста лет помогала распространять человеческую мысль.

Ламартин, создавший поэтическую историю Гутенберга, заставляет нашего изобретателя обратиться к плотнику, построившему по его чертежу первый в мире печатный пресс, с такими словами: «Друг мой, это не такой простой пресс, как тебе кажется. Он даст людям еще не испробованный ими напиток, от которого рассеется сумрак невежества».

История ли это или легенда, факт остается фактом: Гутенберг начал печатать, псалмы или молитвы — не знаем, но печатать, черным по белому, один и тот же текст столько раз, сколько нужно.

Удача ему не улыбалась. Его компаньоны, устав ждать от него чудес, почувствовали себя покинутыми и преданными.

3. Il viaggio dei Magi

Per Cosimo gli scrittori lavoravano senza sosta.

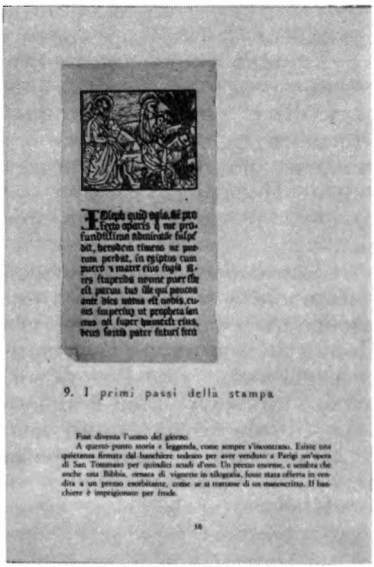
Grazie alle sue conoscenze di banchiere che arrivavano al Cairo, a Costantinopoli, a Gerusalemme, manoscritti rari e preziosi giungevano fino a lui assieme alle spezie italiane, alle sete cinesi e alle porcellane giapponesi.

Un piccolo esercito di copisti e miniaturisti si metteva al lavoro e moltiplicava queste opere, destinate poi ad arricchire le biblioteche di manoscritti greci e bizantini.

Nel 1444 Cosimo aprì la sua biblioteca, che sarà detta poi Laurenziana, agli studiosi ospiti di Firenze. Si può veramente affermare che la sua fu la prima biblioteca pubblica europea.

In quel tempo il suo bibliotecario un giovane colto ed energico, Tommaso Parentucelli. A lui Cosimo affida l'incarico di riformare le biblioteche, di tenere in ordine le raccolte. Non aveva scelto male.

12

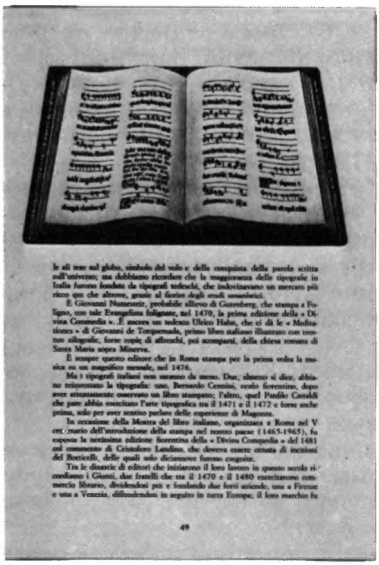


9. I primi passi della stampa

Fine diventa l'uomo del giorno.

A questo punto storia e leggenda, come sempre s'incontrano. Esiste una quietanza firmata dal banchiere tedesco per aver venduto a Parigi un'opera di San Tommaso per quindici scudi d'oro. Un prezzo enorme, e sembra che anche una Bibbia, ornata di vignette in silografia, fosse stata offerta in vendita a un prezzo esorbitante, come se si trattasse di un manoscritto. Il banchiere è impugnato per frode.

38



le ali sono sul globo, simbolo del volo e della conquista della parola scritta sull'universo; ma dobbiamo ricordare che la maggioranza delle tipografie in Italia furono fondate da tipografi tedeschi, che individuarono un mercato più ricco qui che altrove, grazie al favore degli studi umanistici.

E Giovanni Numeister, probabile allievo di Gutenberg, che stampa a Foligno, con tale Evangelista Tolignate, nel 1470, la prima edizione della « Divina Commedia ». E ancora un tedesco Ulrico Hahn, che ci dà le « Meditazioni » di Giovanni de Torquemada, primo libro italiano illustrato con trentun silografie, forse copie di affreschi, poi scomparsi, della chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva.

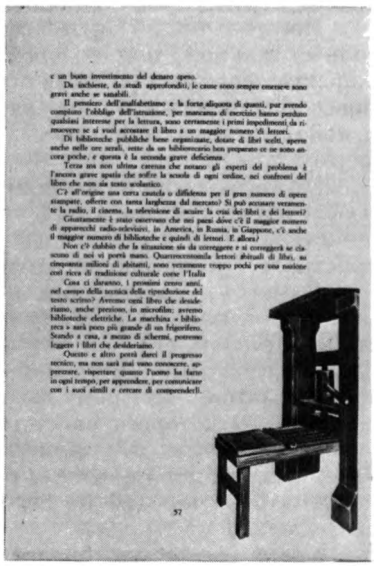
È sempre questo editore che in Roma stampa per la prima volta la musica su un magnifico messale, nel 1476.

Ma i tipografi italiani non saranno da meno. Due, almeno si dice, abbiano relegato la tipografia: uno, Bernardo Cennini, orafo fiorentino, dopo aver sinceramente osservato un libro stampato; l'altro, quel Panfilo Castaldi che pare abbia esercitato l'arte tipografica tra il 1471 e il 1472 e forse anche prima, solo per aver sentito parlare delle esperienze di Magonza.

In occasione della Mostra del libro italiano, organizzata a Roma nel V centenario dell'introduzione della stampa nel nostro paese (1465-1965), fu esposta la sedicesima edizione fiorentina della « Divina Commedia » del 1481 col commento di Cristoforo Landino, che doveva essere ornata di incisioni del Botticelli, delle quali solo diciannove furono eseguite.

Tra le dinastie di editori che iniziarono il loro lavoro in questo secolo ricordiamo i Giunti, due fratelli che tra il 1470 e il 1480 esercitarono commercio librario, dividendosi poi e fondando due forti aziende, una a Firenze e una a Venezia, diffondendosi in seguito in tutta Europa; il loro marchio fu

49



e un buon investimento del denaro speso.

Da inchieste, da studi approfonditi, le cause sono sempre emerse sono gravi anche se sanabili.

Il pensiero dell'analfabetismo e la forte aliquota di quanti, pur avendo compiuto l'obbligo dell'istruzione, per mancanza di esercizio hanno perduto qualsiasi interesse per la lettura, sono certamente i primi impedimenti da rimuovere se si vuol accostare il libro a un maggior numero di lettori.

Di biblioteche pubbliche bene organizzate, dotate di libri scelti, aperte anche nelle ore serali, certo da un bibliotecario ben preparato ce ne sono ancora poche, e questa è la seconda grave deficienza.

Terza ma non ultima carenza che zonzao gli esperti del problema è l'ancora grave spesa che soffre la scuola di ogni ordine, nei confronti del libro che non sia testo scolastico.

C'è all'origine una certa cautela o difidenza per il gran numero di opere stampate, offerte con tanta larghezza dal mercato? Si può accusare veramente la radio, il cinema, la televisione di sciuire la crisi dei libri e dei lettori?

Giustamente è stato osservato che nei paesi dove c'è il maggior numero di apparecchi radio-televisivi, in America, in Russia, in Giappone, c'è anche il maggior numero di biblioteche e quindi di lettori. E allora?

Non c'è dubbio che la situazione sia da correggere e si correggerà se ciascuno di noi vi porrà mano. Quarantacinquemila lettori abituali di libri, su cinquanta milioni di abitanti, sono veramente troppo pochi per una nazione così ricca di tradizione culturale come l'Italia.

Cosa ci durano, i prossimi cento anni, nel campo della tecnica della riproduzione del testo scritto? Avremo ogni libro che desideriamo, anche prezioso, in microfilm; avremo biblioteche elettriche. La macchina « biblioteca » sarà poco più grande di un frigorifero. Seduto a casa, a mezzo di schermi, potremo leggere i libri che desideriamo.

Questo e altro potrà darci il progresso tecnico, ma non sarà mai vano conoscere, apprezzare, rispettare quanto l'uomo ha fatto in ogni tempo, per apprendere, per comunicare con i suoi simili e cercare di comprenderli.

57

Страницы книги «Йоханн Гутенберг»

Они не знали, можно ли извлечь из этого изобретения какую-нибудь пользу, какую-нибудь выгоду, а деньги, потраченные мастером, считали пропавшими.

Гутенберг был вынужден возвратить деньги. После этого у него мало что осталось. Одним словом, он разорился.

Единственное, что его поддерживало,— любовь девушки из Страсбурга, ставшей его женой. Через некоторое время он покинул этот город, перебрался через Рейн и вернулся на родину. Здесь он все начинает сызнова, пробует новые литеры и снова печатает.

7. 42-СТРОЧНАЯ БИБЛИЯ

К сожалению, то, что он выпустил, не имело ни даты, ни каких-либо других признаков издательской принадлежности. Поэтому определить, им ли была напечатана та или иная книга, трудно.

Мы можем только предполагать, что до 1449 года, когда богатый майнцский банкир Фуст и его зять предоставили ему возможность работать с ними, Гутенберг не сидел сложа руки, но сделал известные успехи в своем искусстве и опубликовал кое-что, заинтересовавшее его новых кредиторов.

Библиофилы пришли к согласию, приписав его типографии небольшую поэму немецкого автора о Страшном суде, три издания знаменитой грамматики Доната и календарь — все между 1445 и 1448 годами.

Сегодня от этих произведений остались только фрагменты.

Как истинный банкир, каким он и был, Фуст не давал безвозмездных ссуд. Он составил контракт по всем правилам, обязав Гутенберга уделить в его пользу определенную часть прибыли, а если прибыли не будет, то возвратить взятую сумму. Он же привлек к работе и своего зятя Петера Шеффера. Юноша стал ценным помощником. Образованный человек и хороший каллиграф, он взял на себя улучшение типографского процесса. Похоже, что именно у него родилась мысль о стальном пунсоне для штампования в медных кубиках матриц, которые потом заливались бы расплавленным свинцом. Полученные таким образом сотни литер были совершенно одинаковыми и составляли намного более единообразные строки.

После нескольких малых произведений оба типографа взялись печатать Библию. Это станет шедевром нового искусства, шедевром, способным убеждать и изумлять.

Теперь же следовало работать, и работать на совесть. Гутенберг и Шеффер готовились к новому испытанию. Они

определили количество строк в странице, формат, припасли наилучшую краску, литеры. И, наконец, взялись за набор.

Но — увы! — еще не все страницы были отпечатаны, а Фуст уже дал о себе знать и заявил о своих правах. Новый судебный процесс, новые «документы». Из них мы узнаем, что прекрасную Библию ин-фолио, именуемую сорокадвухстрочной, так как на каждой странице помещалось 42 строки, присудили Фусту. Эта Библия, получившая также название «Мазарина»,— ее копия сохранилась в Парижской библиотеке, основанной знаменитым кардиналом,— первая дошедшая до нас полностью печатная книга.

Гутенберг опять одинок, беден и мало кому известен.

Нужда в деньгах и стремление продолжать свое дело побуждают его искать нового мецената. Он нашел его в Конраде Хумери, странном человеке, который любил окружать себя драгоценными книгами и из боязни причинить им ущерб жил в доме без всякого отопления.

Правда, ни одна из изданных в этот период книг не подписана нашим изобретателем.

Иная судьба ждала двух его бывших компаньонов. Им принадлежит Псалтырь, или Книга Псалмов, опубликованная в 1457 году. В 1462-м вышла новая Библия, на этот раз в 48 строк. Здесь мы обнаруживаем впервые типографскую марку, то есть гербы обоих издателей, напечатанные красным. Мы не знаем никакой другой книги, выпущенной ими после этого в Майнце. Тому была веская причина, и мы о ней уже говорили.

В этом самом 1462 году город вновь стал театром военных действий. Фуст и Шеффер были вынуждены покинуть страну. Они бежали в Париж, а их рабочие разбрелись кто куда. Двое из них, как мы видели, добрались до Субьяко, другие же почти несомненно попали в Венецию, Болонью, Милан.

В Париже Фуст и Шеффер обратились к книготорговцам, чтобы выставить для продажи свою продукцию.

Первая Библия была размножена в сорока экземплярах, каждый из которых — в наши дни драгоценность. Кроме «Мазарины», один из них хранится в майнцском Музее Гутенберга. Он надежно укрыт в бронированном сейфе, а посетители могут видеть его лишь в течение часа ежедневно. Другой экземпляр был найден в 1950 году, и один американец заплатил пятьдесят миллионов лир, чтобы стать его обладателем.

Парижские книгопродавцы с живейшим интересом отнеслись к этим произведениям, напечатанным, а не написанным от руки. Несмотря на высокие цены, покупатели все прибыва-

ли. Молва ширилась, и все библиофилы хотели увидеть, потрогать, сравнить.

Разве не чудо, что все страницы строго соответствуют друг другу? Даже ошибка, если она есть, в точности повторяется во всех экземплярах.

8. ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕЧАТИ.

На этом месте история и легенда, как всегда, перекликаются. Существует выданная немецким банкиром расписка в том, что он продал в Париже сочинения святого Фомы за пятнадцать золотых экю. Цена колоссальная. Похоже, что и Библия, украшенная ксилографическими виньетками, продавалась за непомерную цену, словно речь шла о манускрипте. По обвинению в мошенничестве банкир угодил в тюрьму. Когда Людовик XI, уже получивший, вероятно, в дар от Фуста 42-строчную Библию и по достоинству оценивший его труд, узнал об угрозе, нависшей над головою типографа, то обратился к парламенту [12], указывая, что дело касается нового изобретения, еще неизвестного в Париже. Ему удалось отменить приговор.

Напротив, легенда рассказывает об аресте Фуста, как еретика и колдуна, о его побеге из-под стражи, когда костер для него уже был готов, и о вмешательстве Людовика XI, хитрейшего из монархов [13].

Но ни история, ни легенда не говорят нам о том, было ли упомянуто в этих обстоятельствах имя Гутенберга.

Правда, одно из первых творений его компаньонов — «Декады» Тита Ливия — содержит драгоценное свидетельство Шеффера: «Искусство книгопечатания изобретено в Майнце превосходным механиком Йоханном Гутенбергом» [14]. К сожалению, оба они скоро забыли об этом и даже не замедлили присвоить себе всю честь открытия. Но теперь типографское дело распространялось уже по всей Европе.

От рисунков, нацарапанных на стенах пещеры, до вощеной таблички римского писца, покрытой буквами и цифрами, от хрупкого папируса с таинственными идеограммами [15] до тяжелого пергамента готического письма — этот чудесный графический знак, который всегда служил человеку, рассказывая истории о мире и войне, передавая будущим поколениям напевы поэтов, воспоминания о законах, обычаях, обрядах,— этот чудесный графический знак вот-вот начнет новую жизнь.

Память о писцах и переписчиках со временем уже поблекла. От них останутся только очертания их фигур на барельефах, в скульптуре, на античных фресках.

Свитки хрупких папирусов покоятся в старинных библиотеках мира, став предметом бесконечных хлопот. С тех пор и доныне ценный пергамен будет использоваться только для дорогих переплетов, для немногих документов, для увековечения исключительных событий. Белая, легкая, тонкая бумага уже готовилась наполнить собою весь мир.

У Гутенберга не было причин скрываться, и он был слишком стар, чтобы бежать, когда войска Адольфа II фон Нассау штурмом взяли Майнц, неся пожары и разрушения. Новый правитель не питал к нему неприязни. Едва гуманист папа Пий II Пикколомини сделал Адольфа архиепископом Майнцским, тот пригласил Гутенберга ко двору как патриция (кем он и был по рождению) и даже назначил ему маленькую пенсию. Изгнанник, ювелир, механик, Гутенберг вновь достиг высоких степеней, но только на несколько лет.

Первопечатник умер в своем родном Майнце, как мы уже сказали, в 1468 году.

Тем временем Шеффер продолжал свое дело с тем усердием и умением, каких мы вправе ожидать от того, кто довел до конца Библию — «Мазарину». Ведь за техническое совершенство набора, за единообразие готических литер, за элегантное сочетание черной и красной краски она может рассматриваться как первый шедевр полиграфического искусства. Фуст же, по милости Людовика XI покинув Париж свободным, не обрел покоя и, мучимый, вероятно, угрызениями совести, чувствуя, как родная земля горит у него под ногами, возвратился в Париж и умер там от чумы.

Тайна, которую Гутенберг ревниво хранил столько лет, растеклась теперь по свету.

Искусство печатать при помощи подвижных литер, то есть составляя отдельные строки с тем, чтобы использовать эти же литеры в последующих наборах, знали, как нам кажется, еще в Китае в начале второго тысячелетия нашей эры. Об этом свидетельствует листок бумаги 1324 года из Британского Музея с изречением Конфуция, набранным, несомненно, подвижными литерами то ли из дерева, то ли из терракоты.

Так как речь шла об иероглифах, это не нашло откликов на Западе. В самом деле, «печатание» чем-то вроде штемпеля не могло вызвать удивления. Так делали и в древности.

Однако такой тип воспроизведения внезапно утвердился в XV веке, когда арабы ввели в моду игральные карты. Тогда и начал свою историю этот способ, названный ксилографическим и состоявший в том, что на отполированных деревянных дощечках вырезали фигурки, знаки, примитивные картинки из священной истории, сопровождаемые библейскими стихами,

сентенциями или молитвами. Потом клали краску и прижимали к бумаге или картону.

Так делались и книги. Среди самых знаменитых — «Библия бедных» с текстом только на одной стороне листа (около 1470 года). Один экземпляр ее сохранился в Британском Музее в Лондоне.

Вырезанием по дереву и по металлу, особенно по меди, занимались художники, но чаще ремесленники, которым в течение всего XV века поручали изготовлять виньетки, концовки, заставки, предназначенные для украшения печатных книг.

Первые ксилографии — это просто-напросто линейные схемы без светотеневых эффектов. Человека изображали без строгого соблюдения пропорций и перспективы, пейзажи едва намечены, но эти рисунки в существе своем вполне выражали ощущения и настроения художников.

Очень скоро под влиянием мастеров Возрождения иллюстративные элементы превращаются в живописные декорации. Усовершенствованию типографского дела соответствует все более утонченная техника иллюстрации. Книга улучшается и снаружи: переплеты становятся еще изысканнее и роскошнее.

В Италии, а особенно в Венеции, Флоренции и Ферраре, выходят книги, снабженные не только изумительными гравюрами, но и в высшей степени элегантными переплетами.

Печатники других стран не отставали от своих итальянских коллег. В Швейцарии, где первая типография была основана тогда же, когда и в Субьяко, Руппель, Венсслер, Амербах и Штейншабер издают книги, достойные стать вровень с лучшими современными им творениями итальянцев.

Во Франции печатники приступили к работе уже в XV веке. К концу столетия в Париже насчитывалось 70 мастерских. Среди них прославились предприятия Паскье Бонома, откуда вышли первые тексты на французском языке, и Симона Востра, который издавал книги, иллюстрированные в итальянской манере. Самые старые французские книги с иллюстрациями обязаны своим появлением Мартину Хусу, Жану Ларшеру дю Пре и Антуану Верару.

Первые типографии в Нидерландах также возникли, как мы предполагаем, в 1470 году. Утрехт, Лейден, Хаарлем, Дельфт оказывали гостеприимство знаменитым печатникам, снабжавшим богатых фламандских купцов драгоценными и изящно иллюстрированными текстами. Француз Плантен, владелец типографии в Антверпене, Лейдене и Париже, был, по-видимому, королем нидерландских издателей. Действитель-

но, он опубликовал свыше 1600 произведений, выполненных великолепным шрифтом, изготовленным Гарамоном, Гранжоном и Ле Бле.

В Бельгии первую печатню основали в Алсте в 1473 году Йоханн из Вестфалии и Тьерри Мартенс. В том же году король Венгрии Матьяш Корвин пригласил в Буду работавшего в Италии мастера Хесса и поручил ему организовать первую венгерскую типографию.

В 1474 году в Валенсии выходят первые испанские, а в Кракове первые польские книги.

Три года спустя, в 1477 году, Уильям Кэкстон переезжает из Брюгге в Вестминстер, в Англию, и открывает там опять-таки первую английскую типографию. Но за несколько лет Англия наверстывает упущенное, и там поступают в продажу блестящие творения печатников Пинсона, Грэфтона, Мэйлера и Вольфа, чьи имена войдут в историю издательского дела.

Германия, родина книгопечатания, остается также страной, наиболее богатой типографиями. Правда, десятки и сотни мастеров пошли по стопам Паннартца и Свейнхейма и рассеялись по всей Европе, как Геринг, Кранц и Фрибургер, перебравшиеся в Париж, или Йоханн из Шпайера, приступивший с 1469 года к работе в Венеции, как Йоханн Нумейстер, основавший в 1470 году предприятие в Фолиньо, или Петер из Кельна и Йоханн из Бамберга, ставшие с 1475 года перуджинцами. Те же, что не покинули родину, развернули свою деятельность почти в каждом крупном городе Германской империи.

Однако в целом немецкие печатники не проявили таких талантов, как их романоязычные коллеги. Продукция их обильна, но — за некоторыми исключениями — невысоких полиграфических достоинств.

Конечно, нашлись и там люди, чьи произведения способны поразить рынок, как, например, Антон Кобергер из Нюрнберга, опубликовавший в 1493 году «Всемирную хронику» Хартманна Шеделя и украсивший ее почти 2000 гравюр Михеля Вольгемута, учителя Дюрера, и Вильгельма Плейденвурфа.

Иллюстрации почти всегда — сильное место немецких мастеров, начиная с 1461 года, то есть с тех пор, как Пфистер издал в Бамберге «Драгоценный камень» — первый текст, иллюстрированный ксилографическим способом.

Факт тот, что в Германии выходят в изобилии священные книги (следствие религиозных войн, раздиравших страну). Значительная часть их не представляет собой большой реальной ценности и не привлекла бы читателей, если бы не была

украшена многочисленными иллюстрациями, выполненными нередко великими художниками.

Среди последних был Альбрехт Дюрер, самый известный гравер своего времени, подготовивший для нюрнбергского издателя Кобергера знаменитые пятнадцать листов «Апокалипсиса», увидевшие свет в 1498 году.

9. ГУТЕНБЕРГ И ПЕРЕПИСЧИК.

Здесь уместно вспомнить сон, приснившийся как-то раз Гутенбергу в монастыре святого Арбогаста, потому что в этом сне было поистине нечто пророческое.

— Я услышал два голоса,— рассказывал Гутенберг,— два неведомых голоса, разных по тембру, поочередно звучавших внутри меня. Один произнес: «Возрадуйся, Йоханн, ты обессмертил свое имя. Благодаря тебе, свет разольется по всему миру. Народы, живущие за тысячи миль от тебя, говорящие на языках, не похожих на твой, прочтут и постигнут любую мысль. Сегодня немая, она распространится и преумножится, как отблески пламени,— по милости твоей и твоего творения.

Ты тот толмач, которого ждут народы, чтобы говорить между собой и понимать друг друга.

Ты обретешь бессмертие, ибо даруешь вечную жизнь тем гениям, что остались бы мертворожденными без тебя. И все они, в свою очередь, провозгласят бессмертие того, кто обессмертил их».

— Голос умолк, заставив меня потерять рассудок от гордыни. Затем я услышал другой голос: «Да, Йоханн, ты бессмертен, но какой ценой? Выходит, мысли тебе подобных столь чисты и столь святы, что заслуживают, чтобы ими щедро одарили глаза и уши рода человеческого?

Разве нет среди них — и немало! — таких мыслей, которые в тысячу раз скорее следовало бы уничтожить и задушить, чем размножать по всему миру?

Запомни: человек чаще бывает развращенным, чем добрым и мудрым. Он осквернит твой дар, он злоупотребит этой новой способностью, созданной для него тобою. Уже через сто лет он пошлет тебе проклятие вместо благословения! Родятся люди, чей дух будет могуч и притягателен, но сердце надменно и порочно. Без тебя они остались бы во мраке, замкнутыми в узком кругу. Они смогли бы причинить вред лишь самым близким и современникам. Но теперь, благодаря тебе, они разнесут свои преступления, свои безумия и злосчастья на всех людей всех времен и эпох. И вот — тысячи душ, развращен-

ных одною, вот — юноши, испорченные книгами, чьи страницы источают духовный яд!

Бессмертие, оплаченное слезами и печалями, не слишком ли оно дорого, Йоханн? Жаждешь ли ты славы такой ценой? Тебя не страшит ответственность, которую взвалит эта слава на твою душу?

Поверь мне, Йоханн, живи так, будто ничего не изобретал!

Береги свое открытие, как соблазнительную, но пагубную мечту, осуществление которой оказалось бы полезно и свято, если бы человек был добр, но человек зол... Дать ему в руки оружие не значит ли стать соучастником его преступлений?»

— Я проснулся в ужасе от сомнений,— продолжал Гутенберг.— Какое-то время я колебался, но затем подумал, что дары божьи и в самом деле могут нести порой опасность, но никогда не могут быть дурными. И наделить орудием разум и благородную человеческую свободу — это и значит открыть самое широкое поприще для ума и добродетели, двух дарованных богом достоинств. И тогда я пошел дальше своим путем.

Если сон Гутенберга символизирует победу разума, то легенда о первом публичном испытании типографского дела прямо-таки празднует триумф светского гения.

Легенда повествует о соревновании между Гутенбергом и монахами одного монастыря в Германии. Кто-то рассказал монахам, что мастер из Майнца изобрел способ, как написать множество страниц за время, в которое переписчик делает только одну. Вещь настолько невероятная, что монахи вызвали Гутенберга на состязание.

Йоханн согласился при условии, что состязание будет публичным.

Лучший в монастыре переписчик в сопровождении своих собратьев и любопытных перебирается в дом печатника. Он принес с собой бумагу, перо, чернила, губку для стирания, линейку для подчеркивания строк и свинцовый стержень для разметок.

Из Псалтыря взяли страницу, которую монах должен был переписать, а Гутенберг напечатать.

Колокол дал сигнал к началу. Перо быстро и аккуратно заскользило по бумаге. Монах не слышит гомона зрителей. Он слишком поглощен своей задачей — написать проворно и красиво, даже если в его душу закрадывается сомнение: а вдруг этот Гутенберг и впрямь может оказаться более искусным? Но ведь он, монах, уже тридцать лет переписывает книги!

Все внимание изобретателя обращено к коробке, откуда он вынимает литеры. Он не должен ошибиться ни в одной букве, иначе в наборе произойдет то, что сегодня называют опечат-

кой. Правда, сейчас ей не придают чрезмерного значения, но на том состязании она имела бы роковые последствия.

Закончив страницу, он плотно скрепляет набор, затем с большой ловкостью покрывает его краской и помещает среди двух досок пресса. Кладет на набор лист бумаги и заворачивает винт. Капли пота выступают на лбу, когда, ослабив рычаг, он берет в руки отпечатанную страницу, еще влажную от краски, и расстилает ее на окне для просушки. Затем вновь бежит к прессу и закладывает второй, третий, четвертый лист.

Публика в сильном возбуждении. Она видит, как умножаются листы на подоконнике, и едва колокол возвещает о конце соревнования, так как монах дописал страницу, поднимаются крики: «Да здравствует Гутенберг!» Переписчик понимает по этим крикам, что проиграл, но не сдается. Он хочет посмотреть, что сумел сделать соперник. И печатник немедленно удовлетворяет его желание: берет свежие оттиски и раздает их монахам. Те разглядывают, сравнивают и обсуждают, все еще недоверчиво, хотя все слова совершенно одинаково повторяются на всех экземплярах. И лишь потом они вынуждены признать очевидное: печатная страница рождена не колдовством, но гением и умением человека.

10. ВЛАСТЬ И ПЕЧАТЬ.

Весьма вероятно, что и этот сон и эта легенда появились много лет спустя после смерти Гутенберга, может быть, к концу XV века, когда Германию охватило чувство драматического ожидания, словно приближалось неотвратимое падение.

В Баварии разгоралась крестьянская война. Часто, слишком часто говорили о ведьмах, и все виновные без снисхождения приговаривались к костру. Южную Германию захлестнула волна мистицизма и ереси одновременно, волна, которой суждено было вылиться неизбежно в великую Реформацию.

Именно в этой атмосфере, побуждаемый глубоким стремлением очистить нравы, Дюрер начал свои пятнадцать ксилографий для «Апокалипсиса», изданного затем по-латыни и по-немецки в 1498 году.

В самом деле, происходило нечто великое, небывалое и ужасное. Новая военная техника, развитие огнестрельного оружия, закат кавалерии. Постоянная угроза приближения турок, достигших уже Венгрии. Открытие Нового Света Христофором Колумбом. И это быстрое распространение идей посредством печати, широко используемой как Мартином Лютером, так и доминиканцем Савонаролой,— оно оправдыва-

ло вымышленный сон Гутенберга, тем более что давало пищу для размышлений.

Факел зажегся, и его нельзя было утаить. Майнцский мастер был прав. Отблеск раздутого им пламени лежит на книгах, изданных в Лованьо в 1483—1485 годах, которые Колумб в ожидании аудиенции у королевской четы в Испании читал, комментировал и опровергал, заполняя поля густыми пометками — это были «Естественная история» Плиния, «Книга мессира Марко Поло» и «История деяний, где-либо совершенных» Энеа Сильвио Пикколомини (будущий папа Пий II).

Отблеск этого пламени виден и на «Донатах», которых становится все больше, и стоят они недорого. Клирики покупают их не только для богослужений, но и чтобы «производить расчеты» и читать. Теперь книги продаются, они доступны людям более скромного достатка.

Их продает самый известный флорентийский книготорговец Веспасиано да Бистиччи — последний из мастеров-переписчиков и первый из современных «продавцов бумаги», как он любил подписываться. Их продает Христофор Колумб в Севилье в один из бурных периодов своей жизни. Покупатели находились, и книги распространялись все шире.

Италия — первая после Германии страна, где книгопечатание утверждается, скажем так, шумно. К концу столетия целых 74 итальянских города имели типографии. В одной только Венеции их насчитывалось 151, затем идут Болонья (46), Рим (38), Милан (31), Флоренция (22), Павия (21), Неаполь (20).

Во всех больших и малых городах Италии было 550 типографий, тогда как в Германии в то же самое время всего 51. Так что император Максимилиан[16], приравняв печатников и наборщиков к священнослужителям, позволил им носить драгоценные одежды, подобающие только дворянам, а также пожаловал мастерам герб: орел, распростерший крылья над землей — символ полета и завоевания вселенной печатным словом. Однако следует напомнить, что большинство типографий в Италии было основано немцами, рассчитывавшими найти здесь более емкий рынок сбыта, благодаря расцвету гуманистических штудий.

Именно Йоханн Нумейстер, возможно, ученик Гутенберга, опубликовал в 1472 году в Фолиньо вместе с уроженцем этого города неким Эванджелистой первое издание «Божественной комедии». И опять-таки немец Ульрих Хан выпустил в свет «Размышления» Джованни ди Торрекрематы, первую итальянскую книгу, иллюстрированную 31 ксилографией. Эти гравюры, как полагают, воспроизводят ныне утерянные фрески

римской церкви Санта Мариа сопра Минерва. Этот же издатель впервые напечатал в Риме ноты на великолепном требнике 1476 года.

Но и итальянские типографы не отставали. Двое из них — так по крайней мере рассказывают — заново открыли книгопечатание: один — флорентийский ювелир Бернардо Ченнини, после того, как внимательно ознакомился с печатной книгой, другой — тот самый Панфило Кастальди, который, насколько можно судить, занялся типографским делом уже в 1471—1472 годах или еще раньше, лишь услыхав об опытах в Майнце.

По случаю Выставки итальянской книги, устроенной в Риме в честь 500-летней годовщины книгопечатания в нашей стране (1465—1965), демонстрировалось знаменитейшее флорентийское издание «Божественной комедии» 1481 года с комментариями Кристофоро Ландино. Книгу должны были украсить гравюры Боттичелли, но из них было выполнено только девятнадцать.

Среди издательских династий, начавших работу в XV веке, упомянем Джунти, двух братьев, совместно занимавшихся в 1470—1480 годах книготорговлей, а затем разделившихся и основавших два крупных предприятия: одно — во Флоренции, другое — в Венеции. Позднее они распространили свою деятельность на всю Европу. Их маркой была флорентийская лилия. Назовем также известнейшего Альдо Мануцио, опубликовавшего уже в 1499 году «Гипноэротомахию Полифила» Франческо Колонна, самую прославленную иллюстрированную книгу эпохи Возрождения.

Перечисленные до сих пор издания являются инкунабулами. Так называются книги, выпущенные до 1501 года. Начиная с этого времени, книга больше не «в колыбели» (in cunabula), не в пеленках, как, вероятно, хотели сказать те, кто придумал это название — «инкунабула».

Что и говорить, короткое детство: с 1500 года книга обладает уже всеми известными нам сегодня характеристиками, то есть пронумерованными страницами, фронтисписом, полями, навсегда порывая с обликом рукописной книги, еще сохранившимся у инкунабул.

Искусство книгопечатания приходит и в другие страны: открываются типографии в Индии, Исландии, Мексике, Турции, в Лиме, в Кейптауне и в Москве. Книга проникла теперь повсюду или, по крайней мере, туда, где есть цивилизованное общество.

Рука об руку с распространением типографского дела развиваются также учреждения для «регулирования» печати.

Европейские монархи и князья, глубоко несогласные друг с другом по многим проблемам и всегда готовые сойтись лицом к лицу с оружием в руках на поле брани, все, как один, сходятся в стремлении контролировать издательское дело, препятствовать выпуску литературы, противоречащей их интересам. Власти не церемонятся, принимая самые жестокие меры, чтобы удержать под своей пятою печать. В Англии, к примеру, в эпоху Елизаветы I, книги не могли выходить без специального разрешения, а иметь типографии дозволялось лишь в Лондоне, Оксфорде и Кембридже. Стянув все типографии в эти три города, полиция могла с меньшим трудом надзирать за ними.

Господство цензуры длилось долго, и каждое абсолютистское правительство старалось усовершенствовать органы контроля с целью помешать людям узнать не только о своих обязанностях, но и о своих правах. Однако печати удалось пережить все попытки ее принизить, принести в жертву, извратить. Согласно Гутенбергу, она должна была стать орудием разума и человеческой свободы. И в конце концов она и стала им, по крайней мере, во многих странах мира.

11. НЕПОГРЕШИМЫЙ МЕТОД.

Очень скоро, с увеличением числа изданий, появляется необходимость приводить в конце книги точное написание слов, пропущенных корректором или напечатанных с ошибкой. Вместе с тем, не существует, можно сказать, книги без хотя бы одной опечатки.

Не лишен остроумия был тот болонский издатель, Иннокенцо Рингьери, что в 1551 году завершил книгу «Сто необычных и хитроумных игр» таким откровенным признанием: «Исправление и устранение ошибок, допущенных в этом произведении по моему или чьему бы то ни было недосмотру и оказавшихся из-за удивительного и вводящего в заблуждение разнообразия печати недоступными для их выявления, я препоручаю, о прилежные и любознательные читатели, вашей сдержанности, особенно, если вы вспомните, что и вы люди и, может быть, сами нечто подобное испытали».

Профессия корректора всегда была и до сих пор остается настолько трудной и неблагодарной, что можно представить себе, какое любопытство вызвала книга некоего Джонсона, опубликованная в Англии в 1783 году,— она называлась «Логография» и обещала обучить непогрешимому методу исправления и предупреждения любой возможной ошибки.

Правда, когда она вышла, то как раз на первой странице обнаружилась опечатка, и книга очень скоро канула в Лету.

Когда Козимо Медичи пожелал преподнести в дар ученым фьезоланским монахам библиотеку, то перед ним встала проблема, которую было не так-то легко разрешить. Как создать за короткое время книжное собрание, достойное внимания людей, давно посвятивших себя гуманистическим изысканиям? Доверенным книготорговцем дома Медичи был, как известно, Веспасиано да Бистиччи, поставщик папской курии и дворов герцога Урбинского, а также короля Матьяша Корвина, искренний и изящный писатель. Козимо призвал его к себе и спокойно спросил, может ли тот при неограниченном кредите приобрести в сжатые сроки определенное количество произведений.

Веспасиано сразу же ответил категорическим «нет». «Барские причуды»,— подумал он, наверное, про себя. Потом поразмыслил: где это видано, чтобы отказывать в услуге самому знатному клиенту в городе? Тотчас приступил к делу. Пригласил сорок пять переписчиков из числа самых искусных и проворных во всей Тоскане. За двадцать два месяца ему удалось получить от них копии двухсот томов!

Так была пополнена библиотека Фьезоланского аббатства к вящему удовольствию Козимо, монахов и книготорговцев. Так вообще пополнялись библиотеки тогдашних вельмож.

Герцог Урбинский, к примеру, имел под началом от тридцати до сорока переписчиков, трудившихся одновременно в разных городах Италии. «Новонайденные манускрипты,— рассказывает Грегоровиус[17],— переписывались почти с исступлением. Искусству расшифровки и копирования придавали тогда высочайшее значение. Средневековый монах, переписывая, мог продвигаться не спеша, так как работал для своего монастыря. Теперь же, то есть незадолго до изобретения книгопечатания, трудов копииста с лихорадочным нетерпением ждали в литературном мире. Поджо Браччолини[18] переписал Квинтилиана[19] за тридцать два дня. А Бьондо[20] с гордостью заявлял, будто в молодости он «с изумительным пылом и быстротой» снял копию цицероновского «Брута»[21] с кодекса из Лоди (находка, вызвавшая огромный энтузиазм). Никколи[22], человек, не занимавший должностей и лишенный состояния, но обласканный Медичи, переписал бесконечное количество книг. То же самое делал Николай V, прежде чем стать папой. Масса переписчиков находила себе занятие повсюду, где собирали библиотеки: во Флоренции, в Урбино, в Пезаро, в Риме... Особенно велика в этом заслуга Николая V. Он устроил в Ватикане настоящее предприятие по размноже-

нию рукописей. Даже во время поездок он требовал, чтобы его сопровождало целое войско знатоков каллиграфии, называвшихся либрариями. Среди них было множество французов и немцев».

12. КНИГИ И ЧИТАТЕЛИ.

Это последние чудеса искусства переписывать творения человеческой мысли. И именно поэтому еще страшнее и печальнее для истории цивилизации кажется то, что произошло в той же Флоренции несколько лет спустя.

В мае 1497 года неистовый доминиканец Джироламо Савонарола присутствовал при чудовищном костре из книг на площади Синьории за год до своего собственного костра на той же площади. Но в тот день жгли книги, и книги ценнейшие — «Морганте»[23], Боккаччо, Петрарку. Один из манускриптов был, по словам современника, украшен «миниатюрами и золотом стоимостью в невесть сколько скудо».

То был не первый костер из книг и не последний.

Некий китайский император, по наущению своего министра, приказал в 213 году до н. э. истребить в один день 470 ученых и сжечь все книги, кроме трудов по медицине, земледелию и богословию. Еще свежо воспоминание о кострах из шедевров культуры, разложенных по приказу Гитлера. На площадях Мюнхена и Берлина, Лейпцига и Зальцбурга сотни тысяч томов еврейских, пацифистских, «нейтральных» или просто не согласных с нацистским режимом авторов были преданы огню.

Однако не всегда произведения человеческой мысли гибнут по чьей-то воле и почину. В 1904 году в помещениях Национальной Библиотеки в Турине вспыхнул пожар. Несчастный случай или небрежность, а не коварный замысел, но как бы то ни было — потери оказались невосполнимы. То, что не досталось огню, стало жертвой водяных струй насосов или завалов.

4 ноября 1966 года река Арно неожиданно вышла из берегов и разрушила дамбу как раз напротив Центральной Национальной Библиотеки Флоренции. Грязная и зловеще расцвеченная черной нефтью вода хлынула в подвалы, проникла на первый этаж, унесла и затопила «более миллиона единиц хранения».

Книги, собрания газет и журналов, все, что помещалось на стеллажах длиной в двадцать четыре тысячи метров, вместе с каталогами, сейфами для редчайших рукописей, все, что нужно для нормального функционирования современной биб-

лиотеки, за несколько часов превратилось в липкое море грязи. И не только Национальная Библиотека была в тот день затоплена и попорчена водами Арно, но также исторический Кабинет Дж. П. Вьессе[24], Государственный Архив и маленький, но ценный Музей школы. Еще сотни тысяч томов, документов, писем огромного значения стали на много дней добычей воды и ила.

К катастрофам, так сказать, естественным, вроде пожаров, наводнений, землетрясений, добавляются разрушения, причиненные войнами.

Громадный ущерб понесла богатая Александрийская библиотека в Египте во время осады города Цезарем в 48 году до н. э., а ее гибель несколько столетий спустя — невосполнимая утрата. То же произошло и с роскошной библиотекой Матьяша Корвина в Будапеште, опустошенной и разграбленной турками в 1529 году.

Достаточно вспомнить последнюю мировую войну, в ходе которой только итальянские книгохранилища лишились около 40 000 манускриптов, 376 инкунабул, 16 320 редких изданий. Не говоря уже о миллионах и миллионах книг, утраченных библиотеками всех стран, участвовавших в войне.

Несмотря на эти горькие потери, никогда еще библиотеки всего мира не имели таких богатых и легко доступных фондов, как сегодня, благодаря изобретению книгопечатания и постоянным техническим усовершенствованиям.

Знаменитая Библиотека Конгресса в Вашингтоне, основанная в 1800 году, насчитывает 57 миллионов наименований книг, рукописей, периодики, географических карт, изданий с точечным шрифтом Брайля, микрофильмов, пластинок. 27 миллионов содержит Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина в Москве. 13 миллионов — Национальная Библиотека в Париже.

В Центральной Национальной Библиотеке Флоренции — самой крупной в Италии,— открытой для публики спустя год с небольшим после наводнения, собрано около 4 миллионов книг, 3655 инкунабул, тысячи различных манускриптов. Список самых значительных библиотек мира мог бы заполнить многие страницы.

Пресс Гутенберга был скромной деревянной конструкцией.

Спустя четыреста лет появился первый металлический пресс, верхняя часть которого двигалась автоматически. С прежним удавалось печатать в день 300 экземпляров. С новым это число возросло до 3000.

Но чтобы удовлетворить спрос на периодические издания, предстояло сделать следующий шаг. На место пресса пришла

плоская машина Кенига и, наконец, благодаря Огасту Апплегэту и Ричарду Фо — первые ротационные машины, неоднократно усовершенствованные, пока в 1870 году Уилсон не приспособил к ним автоматические фальцующие устройства.

Набор также прогрессировал со времен Гутенберга.

Сейчас по-прежнему набирают вручную, но только в особых случаях. Обычно же используются линотип и монотип, изобретенные соответственно Отто Мергенталером в 1884 и Толбертом Лэнстоном в 1887 годах. Линотип был позднее усовершенствован (1897). Рассказывают, что это название он получил во время его демонстрации в первый раз в Лондоне. Когда он с шумом и треском начал работать и показалась отлитая целиком строка, то какой-то пораженный рабочий пробормотал: «A line of types!» И в самом деле, это уже не был набор из отдельных литер, но целая строка.

Монотип отливает и компонует отдельные литеры прямо из свинца посредством импульсов, поступающих от клавиатуры. В составляемые таким образом строки автоматически вносят потом нужные исправления.

И для иллюстраций применяют теперь новую репродукционную технику. Рядом с ксилографией и офортом встали литография (то есть рисунок на камне, получаемый специальным химическим способом) и цинкография (воспроизведение рисунка или фотографии на заранее обработанной цинковой пластинке). Другие способы служат для репродуцирования цветных иллюстраций и печатания их на бумаге любого типа.

Отныне типографское дело поставлено на индустриальную основу, и было бы слишком долго перечислять все изобретения, технические усовершенствования, новые машины и новые системы для замены металлических литер фотонабором, новые краски, различные сорта бумаги.

Но не все благополучно в мире книг.

Печатается гораздо больше, чем на самом деле прочитывается. Между книгой и читателем, между издателем и потребителем книг нет еще той гармонии, которая управляла бы производством таким образом, чтобы приносить справедливое вознаграждение тому, кто пишет и печатает книги, и полное удовлетворение тому, кто их читает.

Опросы и углубленные исследования выявляют причины этого, и причины серьезные, пусть даже и устранимые.

Неграмотность и сильная прослойка людей, хотя и получивших обязательное образование, но из-за отсутствия навыков потерявших почти всякий интерес к чтению,— таковы первые препятствия, которые следует устранить, чтобы приблизить книгу к большему числу читателей.

Еще слишком мало публичных библиотек, хорошо организованных, снабженных отборной литературой, открытых и в вечерние часы, руководимых подготовленными библиотекарями. Это второй крупный недостаток.

Третья, но не последняя причина, отмеченная знатоками этой проблемы,— все еще тягостная апатия, которой страдают школы всех ступеней по отношению к книге, не являющейся учебной.

Лежит ли в основе всего известная осторожность или недоверие к большому количеству печатных произведений, в таком изобилии поставляемых рынком? Можно ли действительно обвинять радио, кино и телевидение в том, что они обостряют книжный и читательский кризис?

Справедливо замечено, что в странах с наибольшим числом радиоприемников и телевизоров, в Америке, в России, в Японии, существует также и наибольшее число библиотек, а стало быть, и читателей. В чем же тогда дело?

Нет сомнений, что ситуация могла бы измениться и изме́нится, если каждый из нас приложит к этому руку. Четыреста тысяч читателей на пятьдесят миллионов жителей — это и в самом деле слишком мало для страны с такой богатой культурной традицией, как Италия.

Что принесут нам ближайшие сто лет в области техники воспроизведения рукописного текста? У нас будет любая книга, какую мы пожелаем, даже редкая, на микропленке. У нас будут электрические библиотеки. «Библиотечная» машина будет не намного больше холодильника. У себя дома с помощью экрана мы получим возможность читать книги, какие захотим.

Это и многое другое сможет дать нам технический прогресс. Но никогда не будет бесполезным узнать, оценить и воздать должное тому, что сделал человек во все времена, чтобы общаться с себе подобными, обучать их и попытаться понять.

Перевод с итальянского В. Ронина

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] Амвросий (340—397) — епископ Милана, один из «отцов церкви».

[2] Висконти — знатный ломбардский род, правивший в Милане в XIII—XV вв. Ему на смену пришла династия Сфорца.

[3] Сервий (IV—V вв.) — римский филолог, знаменитый комментатор Вергилия.

[4] Фра Джованни да Фьезоле (1387—1455), известный под именем Беато Анджелико.

[5] Св. Бенедикт (V—VI вв.) — основатель духовного ордена бенедиктинцев и старейших в Европе монастырей в Субьяко, Монтекассино и др.

[6] «Донат» — учебник латинской грамматики, составленный в Риме в IV в. Элием Донатом и широко использовавшийся в средневековых школах.

[7] Авторы явно преувеличивают значение типографского пресса, считая именно его главным изобретением Гутенберга. В действительности, при переезде из города в город печатникам того времени обычно было удобнее заново собрать пресс на месте, чем возить его с собой.

[8] Луций Цецилий Фирмиан Лактанций (ок. 250—ок. 325) — римский писатель, «христианский Цицерон», воспитатель императора Константина Великого.

[9] Витторино да Фельтре (1378—1446) — итальянский педагог-гуманист. Организовал в 1424 г. в Мантуе школу под названием «Дом радости», где гармонически сочетались теоретическое и практическое обучение, умственное и физическое воспитание.

[10] Речь идет, видимо, об изобретенном Гутенбергом ручном словолитном инструменте для изготовления строго единообразных литер. Именно это изобретение, а не создание печатного стана современные исследователи считают главной заслугой майнцского мастера.

[11] Более вероятно другое предположение: антигермански настроенные голландцы XVI в. чтили память Костера как якобы первого изобретателя типографского шрифта. Подобные же настроения в Италии выдвинули на эту роль врача и типографа Панфило Кастальди из Фельтре.

[12] Парламент — здесь: высшее судебно-административное учреждение во Франции XIII—XVIII вв.

[13] Легендарны, по-видимому, и та и другая версии истории Фуста.

[14] Фактическая погрешность авторов: произведение Ливия было издано в Германии лишь в начале XVI в.

[15] Идеограмма — условный графический знак, выражающий не звук или слог, а целое понятие (обычно слово).

[16] Максимилиан I — австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи (1459—1519).

[17] Фердинанд Грегоровиус (1821—1891) — немецкий историк культуры, автор многотомной «Истории города Рима в средние века».

[18] Поджо Браччолини (1380—1459) — итальянский гуманист, писатель и философ, канцлер Флорентийской республики. Автор сатирических новелл, этических и политических трактатов.

[19] Марк Фабий Квинтилиан (35—ок. 95) — римский оратор и педагог.

[20] Флавио Бьондо (1392—1463) — итальянский гуманист, историк. Автор «Истории со времени упадка римлян», построенной на критическом анализе источников.

[21] «Брут» — один из диалогов Цицерона об ораторском искусстве.

[22] Никколо Никколи (ок. 1365—1437) — итальянский гуманист, собиратель памятников античного искусства, монет и рукописей.

[23] «Морганте» — популярная в Италии эпическая поэма Луиджи Пульчи о рыцаре Орландо и его верном оруженосце — добродушном великане Морганте.

[24] Джованни Пьетро Вьессе (1779—1863) — итальянский историк, издатель «Итальянского исторического архива». Основал во Флоренции Литературный кабинет.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аввакум, протопоп 184
Авдеев П. 223
Аверьянов М. В. 89
Агеенко В. 52
Агин А. А. 60
Адамович Т. В. 71, 73, 76
Адливанкин С. 61
Аксенов И. А. 261
Алданов М. А. 77, 84
Александр I 146, 148
Алексеев П. 126
Алигер М. И. 61
Альтман М. С. 54
Алянский С. М. 266
Амартол Г. 167
Амвросий, епископ 300, 331
Амио Ж. 125
Анаксимен 8
Андерсен Х. К. 233, 235
Андреев Л. Н. 84, 104, 267
Андреев Н. 84
Анна Иоанновна, императрица 152, 154
Анненков П. В. 125
Анненков Ю. П. 57, 60, 61
Анненкова Е. Б. 57
Анненский И. Ф. 52
Антоновская А. А. 257
Апплегэт О. 330
Априлов В. 275
Аракчеев А. А. 151
Арбатов С. 265
Аристотель 305
Арма Е. М. 268—270
Архангельский А. Г. 259
Архипов А. Ф. 177
Асеев Н. Н. 114, 120, 259—261, 264, 265
Ассадулаева У. 85
Ахматова А. А. 57, 62, 71, 256
Ашукин Н. С. 109, 110—113, 117, 118, 121, 122

Бабаджан В. 51
Бабореко А. К. 65
Бажан М. 61
Бажов П. П. 251
Байрон Д. Н. Г. 129, 130, 143, 144, 157
Бакст Л. С. 229, 243
Балтрушайтис Ю. К. 52
Бальзак О. 113, 130, 131, 186
Бальмонт К. Д. 49, 50, 54, 265
Баммель Г. 257
Бантыш-Каменский Н. Д. 154, 155
Баранова Н. 76
Баратынский Е. А. 157, 219
Барбару 128
Барклай-де-Толли М. Б. 148
Барсамов Н. 52
Бартенев П. И. 160
Батюшков К. Н. 140, 201
Бахрах А. В. 68, 70, 73, 76, 84
Бахрушин А. А. 156
Бахтин М. М. 29
Башкиров А. 52
Баян В. 257, 258, 263
Бебутов Г. 96, 98
Бедный Д. 256
Бейль А. М. см. Стендаль
Бейльдех М. 311
Бекетов П. П. 149
Белинский В. Г. 38
Белоконь С. И. 236
Белоусов В. 92
Белоусов И. А. 67
Белоусов Р. С. 186
Белый А. 47, 50, 256, 263—265
Бенедикт Нурийский 302, 332

Бениславская Г. 95—97
Бенкендорф А. Х. 126, 135, 155
Бенуа А. Н. 51, 60, 201, 204, 206, 207, 213, 214, 224, 226—228, 230—232, 235, 236, 243
Бенуа Н. Л. 202
Бергсон А. 50
Бердяев Н. А. 50, 54
Березин М. 264
Берте А. 186—192, 195—198
Берто Ж. 55
Берштейн Г. 253
Бестужев А. Ф. 144
Бехайм М. 207
Бибиков А. И. 153, 154
Билибин И. Я. 213, 226—229, 235, 236
Бирон Э. И. 151, 152
Бируков Н. П. 110
Бирюков Н. З. 243
Биск А. 52, 264
Бистиччи В. да 324, 327
Благинина Е. А. 259
Благой Д. Д. 54
Блок А. А. 50, 58, 66, 67, 81, 87, 109, 122, 237, 239, 256, 263, 264
Блюм А. В. 109
Богатырева Р. П. 163
Богданович И. Д. 138
Богомолов А. Е. 71
Богомолов Н. А. 255
Богородский Ф. С. 260
Бодлер Ш. 267
Боккаччо Д. 328
Большаков К. 258, 260
Большаков Т. 287
Бородаевский В. В. 259
Боттичелли С. 325
Брайль Л. 329
Брант С. 210
Браччолини П. 327, 332
Брежнев Л. И. 250, 252
Брестед Д. 50
Брик О. М. 111
Брокгауз Ф. А. 209
Брунелесски Ф. 299, 302
Брюсов В. Я. 39, 40, 49, 256, 265, 266
Булгаков С. Н. 54
Булгарин Ф. В. 145
Бунин И. А. 65—69, 71—75, 79—82, 84, 85, 102, 103
Бурлюк Д. Д. 259, 261
Бусси Д. 308
Бутягина В. 29
Бьондо Ф. 327, 332
Бядуля З. 43

Вагин В. В. 237, 239, 240, 242, 243, 246, 253
Вагинов К. К. 259
Ваньер Ж.-Л. 133
Вардин И. 93
Васильев К. Н. 269
Васильчиков Ю. В. 105
Васнецов В. М. 209, 227
Ватаци Н. Б. 43
Вебер Г. 50
Вейнбаум М. Е. 81, 84
Вельтман А. Ф. 157
Венгров Н. 90, 263
Венелин Ю. 273—276
Венецианов А. Г. 213, 214
Вергилий М. П. 66, 138, 300, 308
Верейский Г. С. 246
Вержбицкий Н. К. 96
Верлен П. 267
Верман К. 50
Вернадский В. И. 9
Верхарн Э. 56, 264, 267
Вильборг А. 232
Вильбуа 136
Вильегорский М. 160
Виньи А. де 130
Висконти Б. М. 300
Витрувий 19
Властарь Матфей 167
Волконский П. М. 134
Волошин М. А. 46, 47—50, 52—54, 56, 57, 263, 264
Волошина Е. О. 47
Волошина М. С. 47, 49
Волынский А. 51
Вольгемут М. 320
Вольтер 125, 129, 132—134, 136, 137
Вольф М. О. 45, 86, 89, 228, 232, 257, 288
Воронцов А. Р. 150
Воронцова Е. К. 150
Востоков А. Х. 275
Врубель М. А. 209
Вульф А. 144, 159
Вульф Н. А. 138
Вульф П. И. 159
Вышеславцев Л. Н. 62
Вьессе Д. П. 329, 332
Вяземский П. А. 129, 130, 137, 140, 144, 145, 148, 150, 158

Габрилович Е. И. 259
Гавронский Я. О. 77

Гагарин Г. Г. 222
Галилей Г. 251
Ганин А. 257
Ганнибал А. П. 146
Ганьон А. 190
Гарнет Э. 80, 85
Гастев А. К. 260
Ге Н. Н. 219
Гейне Г. 38, 131, 251
Гераклит Эфесский 26
Герасимов М. П. 257
Герман Э. Я. 264
Геродот 305
Гершзон Р. 249
Гете И. В. 38, 65, 66, 80, 128, 129, 241—243
Гилельсон М. 123
Гиляровский В. А. 103
Гиппиус З. Н. 81
Гитович Н. И. 104
Гладков Ф. В. 111, 118, 119
Глазков Ю. Н. 252
Глез А. 51
Гнедич Н. И. 157
Гнедов В. 260
Гоголь Н. В. 12, 15, 32, 109, 206, 215, 220, 250
Голике Р. 232
Голлербах Э. Ф. 50, 54, 231
Голубева О. Д. 266
Гомер 124, 125
Гончаров А. И. 132
Гончаров Д. Н. 147
Гончарова Н. И. 137
Гончарова Н. С. 52
Голодный М. 111, 112
Голубева О. Д. 255
Горбатко В. В. 252
Горбунов К. 181
Городецкий С. М. 52, 87, 89, 112, 115, 120, 257, 261
Горчаков А. М. 144
Горшельдт Т. 222
Горький А. М. 29, 101, 102, 104, 264
Горянский В. И. 264
Готье Т. 45, 49
Гошкевич И. 49
Грабарь И. Э. 51
Грановский Т. Н. 165
Грегоровиус Ф. 327, 332
Грек Максим 168
Греч Н. И. 140, 159
Грибоедов А. С. 144, 145
Григорьев А. А. 114
Григорьев С. Т. 112, 114, 116, 119
Грин А. С. 48, 111 116, 121
Грин М. 84
Гроссман Л. П. 54
Грот Я. К. 43
Гуаспари М. Б. 299
Гудон Ж. А. 135, 136
Гукасов А. О. 76
Гусев-Оренбургский С. 104
Гутенберг И. Г. фон 250, 252, 299, 308—313, 315—318, 321—323, 326, 329, 330
Гюго В. М. 38, 131

Давыдов Д. В. 137, 146
Д'Аламбер Ж. Л. 128
Даль В. И. 49
Дамаскин И. 168
Даниил Московский, митрополит 168
Данилов Кирша 142
Данте А. 46, 128, 246
Дантес Ж. Ш. 160
Дантес Е. Н. 160
Дашкова Е. Р. 147, 149, 150
Деген Ю. 263
Данцигер Ю. 257
Денкоглу И. Н. 276
Державин Г. Р. 153
Дзержинский Ф. Э. 41
Дидро Д. 50, 128, 253
Дикс Б. 230, 231
Диц Ю. 231
Дмитриев И. И. 153
Добролюбов Н. А. 38
Добужинский М. В. 60, 213, 229, 231, 243
Домье О. 60
Донат Э. 315, 332
Доре Г. 60
Дорогомилов А. Р. 117
Дорошевич В. М. 104
Достоевский Ф. М. 15, 20, 128, 205
Драч И. Ф. 61
Дритцен А. 310, 311
Дритцен Н. 310, 311
Дудник П. 174
Дульский П. 236
Дурова Н. А. 146
Дурылина С. Н. 54
Дюбушаж Г. 190
Дюма А. 131
Дюмурье Ш. Ф. 128
Дюнне Х. 310
Дюрер А. 210, 214, 216, 225, 320, 321, 323

Евдокимов И. В. 111, 112, 115, 121
Евреинов Н. Н. 54, 264
Евсевий Кесарийский 136
Егоров Е. Е. 165—168
Екатерина II 133, 146—149, 152, 153
Елизавета Петровна, императрица 153, 326
Ермакова Т. А. 276
Ерохин В. П. 13
Ерохина О. П. 237
Есенин С. А. 32, 71, 86—100, 257, 264, 265, 292
Есенина Е. А. 88
Есенина Т. Ф. 88
Ефимов Б. Е. 60
Ефрон И. А. 209

Жид А. 277
Жирмунский В. М. 129
Жуковский В. А. 123, 138, 144, 147, 158, 162, 226, 229

Забелин И. Е. 114, 165
Завадовский П. В. 148
Загряжский И. А. 137
Зайцев Б. К. 79, 82—85
Захария Копыстенский 168
Званцева Е. Н. 229
Звеерс А. 79, 84
Зданевич И. 260
Зеелер В. Ф. 81
Земенский К. 54
Земсков В. Ф. 93
Зинина А. И. 44
Злобин С. П. 180
Зозуля Е. Д. 264
Зубакин Б. 29
Зуров Л. Ф. 71, 73, 84

Ивакин Ю. А. 57—61
Иван Грозный 142, 224
Иванов Вс. В. 50, 57, 111, 112, 114, 116, 121
Иванов Вяч. И. 52, 87, 259, 263
Иванов Г. В. 264
Ивнев Р. 87, 257, 260, 261, 265
Иегер О. 50
Иероним 136
Изабелла Кастильская, королева 301
Измайлов И. 154
Инбер В. М. 54
Индикоплов К. 168
Инзов И. Н. 131, 274
Иоанн Златоуст 203
Исаковский М. В. 32

Каверин В. А. 118
Казин В. В. 116, 119
Калашников И. К. 177—185
Калинковский К. 43
Кальдерон Б. де ла 126
Каменский В. В. 57, 58, 103, 259, 265
Кантемир А. Д. 118
Кипиловский А. 275
Каразин Н. Н. 205
Карамзин Н. М. 133, 138, 145, 146, 162
Каратыгин В. А. 157
Карпов М. И. 37
Карпов П. И. 265
Кастаньер Т. 196, 197
Кастальди П. 309, 325, 332
Кастекс П.-Ж. 195, 197, 198
Катаев В. П. 258
Катанян В. А. 259, 260
Каутский К. 38
Квинтилиан М. Ф. 332
Кениг Ф. 330
Керн А. П. 162
Киачели Л. 98
Кибрик Е. А. 246
Киреевский П. В. 140
Кириакиди И. 253
Клейнборт Л. М. 86
Клычков С. А. 52, 88
Клюев Н. А. 87, 89, 90, 257, 264
Кнебель И. Н. 226—232, 235, 236, 270
Кноблох Г. 251
Князьков С. А. 236
Ковалев К. П. 57
Ковалева А. Э. 42
Кожинов В. В. 13
Козимо 300—302
Козинцева Л. 47
Колас Я. 43
Колли Л. 52
Колодеев И. Х. 43
Коломб Р. 191—193
Коломинов В. В. 281
Колонна Ф. 325
Колосов В. 159
Колумб Х. 145, 207—209, 323, 324
Кольцов М. 263
Комаров Г. 253

Конашевич В. М. 26, 246
Констан Б. 130
Константин I (Великий) 203, 332
Кончаловский П. П. 54, 61
Конфуций 318
Корвин М. 320, 327, 329
Корелин М. 50
Корнеев А. В. 283
Корнеев А. 30
Корнеев Б. 263
Корнель П. 129
Костенко К. Е. 54
Костин А. Л. 253
Косцов И. 45
Кочубей М. 154
Крамской И. Н. 219
Крандашевская Н. В. 264
Краузе В. 50
Кречетов С. 267
Кроленко А. А. 269
Кропоткин П. А. 51
Кругликова Е. 57
Крученых А. Е. 260, 261
Крылов И. А. 138, 153, 233, 234, 250, 251
Ксенофонт 305
Кузмин М. А. 50
Кузнецов П. 61
Кузнецова Г. Н. 79, 81, 85
Кузьмин Н. В. 19, 23, 60, 61, 289
Кунов Г. 51
Купала Я. 43, 86
Куприн А. И. 102—104
Купченко В. П. 45
Курбский А. М. 142
Кусиков А. Б. 261, 265
Кустодиев Б. М. 51, 54, 60, 213, 227, 246
Кутлер Т. 52
Кутузов М. И. 131
Куфаев А. 139
Кушнер Б. А. 259
Кэкстон У. 320
Кюстин А. де 27
Кюхельбекер В. К. 157

Лавренев Б. А. 111, 260
Лажечников И. И. 152, 157
Лазо С. Г. 177
Лактаций Л. Ц. Ф. 307, 308, 332
Ламартин А. 51, 130, 313
Ландино К. 325
Ланн Е. Л. 264
Лансере Е. А. 201
Лансере Е. Е. 60, 201—225, 243
Лансере Е. Н. 201
Лансере Н. Е. 212
Лапин Б. М. 259
Ларионов М. Ф. 52
Ласкарис К. 300, 301
Лафарг Ж. 38, 56
Лафонтен Ж. де 129, 138
Лебедев И. 52, 54
Левитан И. И. 209
Ленин В. И. 37, 38, 40, 41, 44, 250
Лентулов А. 61
Леонардо да Винчи 57, 65, 214
Леонидзе Г. Н. 95, 98
Леонов Л. М. 55, 239, 240
Леонтьев К. Н. 50
Лермонтов М. Ю. 31, 58, 215, 220, 253
Лернер Н. О. 156, 219
Лесков А. Н. 283
Лесков Н. С. 220, 251, 283, 284, 288—291
Либаний 203
Ливий Т. 300, 308, 317, 332
Лившиц Б. К. 263, 264
Лидин В. Г. 109, 112, 116, 119, 264
Линкевич В. П. 230
Линьков А. П. 165
Липранди И. П. 131
Липранди К. 196, 197
Лисицкий Л. М. (Эль Лисицкий) 243
Лихуды И. и С. 168
Лозинский М. А. 52
Ломан А. П. 93
Ломоносов М. В. 132, 137, 151
Ломунова М. Н. 177
Лонгшан С. 133
Лорен К. де 251
Луговской В. А. 55
Лукомский Г. К. 236
Луначарский А. В. 29, 41, 256, 259, 265
Лэнстон Т. 330
Любий Ф. 154
Людовик XI 317, 318
Людовик XIV 129
Люлий Р. 168
Лютер М. 323
Ляшко Н. Н. 120

Маврина Т. А. 61
Магеллан Ф. 208
Маджоре Д. 301
Мазепа И. С. 154
Маккавейский В. 263, 264

Маклюэн М. 13
Маковский С. К. 51, 236
Максимилиан I, император 324, 332
Малиновская Е. К. 41
Маль Э. 52
Малютин С. В. 227, 235
Мамин-Сибиряк Д. Н. 104
Мандельштам О. Э. 46, 47, 71, 256, 258, 259, 264
Манн Т. 66
Мануйлов В. А. 47, 98
Мануцио А. 325
Мариенгоф А. Б. 257, 259, 265
Мария Антуанетта, королева 252
Маркс А. Ф. 80, 228
Маркс К. 38, 50
Март В. 265, 266
Мартенс Т. 320
Мартино А. 194, 195, 196
Масанов И. Ф. 269
Масперо Г. 50
Массимо П. 308
Массимо Ф. 308
Матусевич В. А. 123
Маяковский В. В. 47, 58, 61, 71, 98, 110—112, 115, 116, 121, 251, 256—261, 264, 267
Меаччи М.-Л. 299
Медичи К. 299, 327
Медичи Л. 299, 301
Мейерхольд В. Э. 99
Мексин Я. 236
Мельгунов С. П. 168
Мельников Ю. 169
Мергенталер О. 330
Мережковский Д. С. 81
Мериме П. 130
Метценже Ж. 51
Мещерский П. И. 144
Микелоцци Б. ди 301
Миллер П. И. 124
Миндлин Э. Л. 256, 257, 267
Миних И. Э. 152
Мирабо О. Г. Р. 128
Миролюбов В. С. 87, 88
Митрохин Д. И. 232, 236
Михайлов М. Л. 109
Михалков С. В. 245
Мицкевич А. 131, 157
Мишель А. 51
Мишле Э. Р. 51
Могила П. С. 168
Модзалевский Б. Л. 123, 126, 131, 132, 140, 145, 149, 152, 154, 156, 159, 164
Молок Ю. А. 268—270
Мольер Ж. Б. 123, 127, 129
Монтень М. 130, 203, 206
Монтескье Ш. Л. 138
Морозов И. И. 91, 92
Морэ А. 50
Мунта Р. Э. 51
Муравьев А. И. 163
Муравьев Н. Н. 163
Муравьева Е. Ф. 163
Муравьев-Апостол И. М. 144
Муравьев-Апостол М. И. 163
Муравьева-Логинова Т. Д. 80, 84
Мурашов М. 87, 88, 90
Муромцева-Бунина В. Н. 65, 67, 70—79, 81—85
Мятлев И. П. 131

Навои А. Н. М. 253
Назаров А. 29
Наполеон I 128, 143, 194
Наппельбаум И. М. 259
Наппельбаум Ф. М. 259
Нарбут Г. И. 226—236, 246
Нассау А. фон 304, 318
Некрасов Н. А. 31, 33, 109, 110, 220, 253
Нельхиден С. Е. 259
Немирович-Данченко В. И. 52, 104
Нестор, летописец 142
Никитин Н. Н. 111, 116, 118
Николай I 27, 133, 134, 145—147, 223, 224
Николай V, папа 302, 305, 327
Николли Н. 327, 332
Никулин Л. В. 258, 267
Нилус П. А. 75
Новиков И. А. 54, 265
Новиков Н. И. 28, 117
Норов А. С. 131
Нумейстер Й. 320, 324

Обер А. Л. 205
Обер Л. И. 159
Овидий 66
Огарев Н. П. 65
Оленина Е. М. 162
Олеша Ю. К. 258
Орешин П. В. 99, 257, 264
Орешникова В. А. 82
Орлов В. Н. 66
Орсини К. 299, 300,
Осетров Е. И. 268
Осипова (Беклешова) А. И. 164
Осипова-Вульф Н. А. 164

Островский А. Н. 32
Охочинский В. 236

Павел I 146
Павел II, папа 308
Павленко П. А. 55
Павленков Ф. Ф. 45
Подагрик П. 299
Палавичини Д. 301
Палаузов Н. 275
Палей А. Р. 106
Палькин Н. Е. 30
Пальмов В. 265
Панин П. И. 154
Паннарц А. 304—306, 308, 320
Парентуччели Т. 302
Паркер Ч. 25
Парменид 26
Парнах В. Я. 52
Парни Э. 129
Парнок С. Я. 54, 264
Перов В. Г. 31
Парфенов П. 142
Пархоменко И. К. 54
Пастернак Б. Л. 57, 256, 260, 261, 265
Петников Г. Н. 260, 263
Петр I 135, 137, 146, 153, 165
Петр III 146
Петрарка Ф. 66, 328
Петрова А. 46
Петрянов-Соколов Н. В. 7
Печаткин В. 286
Пешкова Е. П. 101
Пий II, папа 318, 324
Пикар А. 45
Пиколомини Э. С. см. Пий II
Пистунова А. М. 201
Пифагор Самосский 26
Платон 13, 66, 73, 305
Плейденвурф В. 320
Плетнев П. А. 144
Плиний 66, 324
Плутарх 124, 125
Повицкий Л. О. 95, 99
Погодин 139, 157, 274
Полевой К. 127
Полевой Н. А. 127
Поленова Е. Д. 227, 235
Полибий 305
Полканов А. 52
Полоцкий С. 264
Полторацкий К. М. 131, 162
Помяловский Н. Г. 114
Пономаренко П. К. 41
Попов П. И. 252
Пре Ж. Л. дю 319
Прегель А. Н. 84, 85
Пришвин М. М. 111, 112, 114, 117, 120
Прокофьев А. Н. 39—41
Пруссак В. 257
Пугачев Е. И. 119, 148, 153—155
Пушкин А. А. (сын) 157
Пушкин А. А. (внук) 157
Пушкин А. С. 12, 15, 23, 30—32, 37, 58, 65, 70, 109, 114, 123—163, 169, 202, 209, 220, 221, 237, 250, 253, 260
Пушкин В. Л. 124, 138
Пушкин Л. А. 146
Пушкин Л. С. 140, 144
Пушкин С. Л. 123, 125, 132
Пушкина Н. Н. 147
Пушкина О. С. 124, 138
Пущин И. И. 144, 164
Пятницкий М. Е. 33

Рагозин З. 50
Радимов П. А. 264
Радищев А. Н. 27, 148—151, 162
Радищев Н. А. 149
Радищев П. А. 149
Раевский В. Ф. 131
Раевский Н. Н. 127
Райх З. Н. 99
Раменский А. А. 161—163
Раннит А. 84
Расин Ж. 129
Рафалович С. Л. 257, 261
Рафаэль Санти 133
Рац М. В. 268—270
Реизов Б. Г. 193, 194, 197
Ремизов А. М. 48, 50, 52, 264
Ренан Ж. Э. 50
Ренье А. де 22, 56, 269
Репин И. Е. 202, 203, 209, 219, 224
Рерих Н. К. 61
Рескин Д. 55
Решетов А. 260
Ржевский Л. Д. 81
Рингъери И. 326
Рифф Й. 310
Рогожин Н. П. 255—257, 259, 261, 264—267
Родченко А. М. 246
Рождественский Вс. А. 55, 61
Рожицын В. 263
Рожков В. 7
Розанов В. В. 50, 54

Розанов И. Н. 260
Розанова О. В. 261
Рокоссовский К. К. 41
Ролан П. де ла 128
Романова М. В. 37
Романовский Е. Н. 178
Ронин В. К. 339
Россинский А. Н. 42
Рублев А. 202
Руманов А. В. 89
Рылеев К. Ф. 139, 142, 144
Рыленков Н. И. 32

Сабашников М. В. 45, 270
Сабашников С. В. 45, 270
Савонарола Д. 323, 328
Садовский Б. А. 292, 293
Садофьев И. И. 112, 119
Сайтанов В. 123
Сакер А. Л. 92
Самокиш-Судковская Е. П. 11
Самусь Г. Ф. 44
Свейнхейм К. 304—306, 308, 320
Свифт Д. 269
Северянин И. 257, 258
Сейфуллина Л. Н. 98
Сельвинский И. Л. 54
Семен А. 145, 250
Сент-Бев Ж. О. 131
Серафим Саровский 83
Сервантес С. М. де 126
Сервий Тулий 331
Сергеев-Ценский С. Н. 54
Серебрякова З. Е. 202
Серов В. А. 51, 209
Сеше А. 55
Сигизмунд I, император 309
Сидоров А. А. 45, 234—236
Сикст IV, папа 329
Симановский И. Б. 42—44
Синани А. Б. 103
Синани И. А. 101—105
Синицина Е. Е. 159
Скиталец С. Г. 67
Скотт В. 59, 129, 130, 143, 144, 161, 162
Смирнов-Сокольский Н. П. 34, 149, 154
Смирнова-Россет А. О. 138, 160
Собко Н. П. 51
Соболевский С. А. 131, 142
Соколов П. И. 126
Соколов-Микитов И. С. 111, 112, 120, 121
Соколовский А. 257
Сократ 66
Солдатенков К. Т. 165
Соловьев В. С. 50
Соловьев С. М. 180, 250
Сологуб Ф. К. 50, 54, 265
Софокл 66
Спасский С. Д. 260, 264
Спенсер Г. 50
Спушковский М. 167
Срезневский И. 49
Сталь Ж. де 144
Станюкович К. М. 104
Стасов В. В. 202, 220
Стендаль 130, 131, 188—196, 198
Стейнлен Т. 60
Степанов А. Х.
Стефан Яворский 168
Стивенсон Р. Л. 113
Столбов Т. Н. 37, 38
Строганов Г. А. 149
Струве М. 263
Струве П. Б. 67
Стрыленский К. 196
Стурдза А. С. 131
Суворов А. В. 155, 156
Суриков В. И. 54, 209
Сурков П. И. 38, 40
Сухотин П. С. 114, 116
Сфорца Ф. 300
Сытин И. Д. 89, 232
Сю Э. 131

Табидзе Т. Ю. 93, 95, 96, 98
Тарасенков А. К. 265
Твардовский А. Т. 32
Телешов Н. Д. 66, 67, 77, 101, 103, 104
Теребенина Р. Е. 163
Тертуллиан К. С. Ф. 136
Тетруева Ю. А. 96—98
Тимофеев К. А. 142
Титов Г. С. 21
Тихонов Н. С. 55
Толстой А. Н. 50, 54, 111, 114, 116, 120, 180, 265
Толстой Д. А. 294
Толстой Л. Н. 15, 20, 27, 32, 33, 65, 114, 184, 201, 202, 205, 207—209, 213—222, 224, 225, 253
Толстой Ф. П. 233
Толстая Т. В. 260, 261
Топоров А. М. 21
Торнабуони Л. 300
Торо Г. Д. 215
Торрекремата Д. ди 305, 324

Тредиаковский В. К. 148
Тренев К. А. 111, 114, 121
Третьяков С. М. 260, 261, 265
Трубецкой П. П. 219
Тургенев А. И. 131, 146, 153, 157
Тургенев И. С. 32, 113, 250
Турчинский Л. 47
Тычина П. Г. 61
Тэмуджин см. Чингисхан
Тэн И. 51
Тэффи Н. А. 65, 74, 75, 77
Тюрин Н. 22
Тютчев Ф. И. 249, 253

Уваров С. С. 150
Уистлер Д. 210
Уитмен У. 215
Ульянинский Д. В. 115
Ульянов Н. П. 124
Уткин И. П. 111
Ушаков Н. Н. 61
Ушаков Ф. В. 150

Фавст К. 203
Фагэ Э. 195
Фадеев И. М. 269
Фальк Р. Р. 61
Федин К. А. 111, 113, 116, 117, 121, 122
Федоров Иван 251
Федотов В. И. 28
Фельд М. М. 92
Фельтре В. да 308
Фенелон Ф. 28
Фердинанд Арагонский, король 301
Ферекид 203, 206
Ферми Э. 11
Ферреро Г. 50
Фет А. А. 32, 201, 202, 221
Филимонов В. С. 157—159
Фиолетова А. 264
Флавий Иосиф 167
Флобер Г. 19
Флоренский П. А. 47, 54
Фо Р. 338
Фонвизин Д. И. 140, 152
Форг Э. Д. 194
Фридрих II 135, 136
Фукидид 305
Фуст Й. 304, 315—317, 332
Фьезоле Ф. Д. ди 339

Хан У. 324
Хейльман А. 310, 311
Хитров Е. М. 90
Хитрово Е. М. 131
Хлебников В. В. 256, 259—261
Холлоши Ш. 230
Хренков Д. 16
Христофоров А. 168
Хрулева Р. 48
Хумери К. 316
Хусу М. 319

Цветаева М. И. 46—48, 50, 54, 265
Цезарь Г. Ю. 329
Цетлин М. С. 70, 71, 73—79, 82, 84, 85
Цицерон М. Т. 329

Чан-Чунь 183
Чапыгин А. П. 111, 112, 114, 116, 119, 180
Чацкина С. И. 88, 92
Чачиков А. М. 260
Чеботаревская А. 54
Ченнини Б. 325
Чернев И. 178, 179
Чернышов З. 127
Чернявский В. С. 88
Чехов А. П. 32, 33, 67, 80, 101, 102, 104
Чехонин С. В. 213
Чиковани С. И. 98
Чингисхан 180—184
Чуковский К. И. 54
Чуковский Н. К. 259
Чулков Г. 50
Чурилин Т. В. 260

Шагинян М. С. 54, 55, 98
Шамиль 222, 224
Шатель Г. дю 303
Шатобриан Ф. Р. де 189
Швыров А. В. 60
Шевченко Т. Г. 31, 58, 60
Шевырев С. П. 274
Шедель Х. 320
Шекспир У. 127—129, 142, 252
Шенгели Г. А. 48, 54
Шершеневич В. Г. 260, 265
Шеффер П. 252, 304, 315, 316, 318
Шибанов П. П. 166
Шиллер И. Ф. 128, 209
Ширяевец А. 86, 88, 264
Шишков А. С. 274, 275

Шишков В. Я. 111
Шишкова З. К. 258
Шлоссер Ф. К. 50
Шмаринов Д. А. 246
Шопенгауэр А. 50
Шоу Б. 48
Шпет Г. Г. 54
Шультхейс Э. 311
Шумилов В. Н. 147

Щеголев П. Е. 110
Щепкина-Куперник Т. Л. 258

Эйдельман Н. Я. 123
Эйзенштейн С. М. 213
Эйзлер М. 260
Эллис 54
Энгельс Ф. 38, 50
Эредиа Ж. М. де 260
Эренбург И. Г. 47, 52, 54, 263—265
Эрнст Н. 52

Юзефович М. В. 127
Юниверг Л. И. 226
Юстин 136
Юшкин Ю. Б. 298
Ющенко О. Я. 62

Яблоновский С. 82, 85
Яблонский В. П. 93
Языков Н. М. 144
Якобсон Р. О. 261
Яковенко И. 274
Яковлев А. С. 111, 116
Якубович В. И. 268, 269
Ян В. Г. 180, 181
Яновский Ю. 62
Янсзон Л. 309, 311
Янчук Н. А. 43
Яснов М. Д. 174
Яшвили П. Д. 95

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (р. 1907)

Академик. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР. Работает в области физической химии. Автор научных и научно-популярных книг. Председатель Центрального правления Всесоюзного добровольного общества любителей книги, член президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель редакционного совета альманаха «Памятники отечества».

Вадим Валерианович Кожинов (р. 1930)

Критик, литературовед. Сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Автор многочисленных работ, среди которых — «Книга о русской лирической поэзии XIX в.», «Виды искусства» и другие.

Николай Егорович Палькин (р. 1927)

Поэт. Главный редактор журнала «Волга». Автор сборников «Звездный пахарь», «Куст калины», «Золотая подкова», «Соловьи России».

Евграф Васильевич Кончин (р. 1930)

Журналист. Автор книг «Загадки старых картин», «Московский поиск. Судьбы, открытия, гипотезы, загадки».

Александр Кузьмич Бабореко (р. 1913)

Литературовед, исследователь русской классической литературы. Автор книги «И. А. Бунин. Материалы для биографии», ряда статей, посвященных творчеству А. К. Толстого, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого.

Юрий Борисович Юшкин (р. 1938)

Инженер, библиофил, автор очерков о творчестве С. А. Есенина и А. А. Фета.

Олег Алексеевич Сайкин (р. 1936)

Кандидат исторических наук. Исследует эпоху революционного движения в России 60—80-х гг. XIX в.

Арлен Викторович Блюм (р. 1933)

Кандидат филологических наук, доцент Ленинградского Государственного института культуры им. Н. К. Крупской. Автор книг «Ф. Ф. Павленков в Вятке», «Каратель лжи, или Книжные приключения барона Мюнхгаузена», ряда статей по истории русской книги XIII—XIX вв.

Владислав Онуфриевич Матусевич (р. 1937)

Публицист, критик. Автор очерков по истории литературы и книжного дела.

Александр Павлович Линьков (р. 1906)

Автор работ «О чем напомнил старый экслибрис» (о собрании П. И. Щукина), «Кто что собирает» (о коллекции В. Я. Брюсова) и др.

Александра Михайловна Пистунова

Критик, искусствовед. Автор книг «Прикасаясь к книге» (о Н. В. Кузьмине), «Единосущная троица» (о Кукрыниксах) и др.

Леонид Иосифович Юниверг (р. 1945)

Книговед. Научный сотрудник Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Автор работ по истории книжного дела в России.

Ольга Петровна Ерохина

Автор очерков о древних русских городах, о народных талантах.

Раиса Борисовна Гершзон

Филолог. Репортаж «В мире мини-книг» — ее первое выступление в печати.

Николай Александрович Богомолов (р. 1948)

Критик, литературовед. Научный сотрудник факультета журналистики МГУ. Автор работ по истории русской и советской поэзии.

Вячеслав Васильевич Коломинов (р. 1934)

Кандидат исторических наук. Автор статей «Российская Академия», «Пушкин и Российская Академия», «Забытые экспедиции Российской Академии».

SUMMARIES

Igor Petryanov-Sokolov

TO SERVE THE PEOPLE

The academician, the Lenin Prize laureate, chairman of the Central Board of the All-Union Bibliophile Society, prominent scientist in the field of physical chemistry tackles upon the primary tasks of modern science and problems of environmental protection.

Vadim Kozhinov

EMBODIED IN THE WORD

An interview with the well-known Soviet literary scholar and critic on the subject of books in Russia and their historic and philosophic impact.

Nikolai Palkin

THE LAND WHERE THE SONGS WERE BORN

The well-known poet, editor-in-chief of the "Volga" magazine recalls the beginning of his literary career and the books that influenced him throughout his childhood and youth.

Yevgraf Konchin

THE RESCUED TREASURES

In 1918, the hard times for the Soviet Republic, V. I. Lenin, Chairman of the Council of People's Commissars, showed deep concern for the library of P. I. Surkov of the village Rudniki. The library books have been a matter of concern to researchers and book collectors until now.

Vl. Kupchenko

THE PEARL OF THE POET'S HOUSE

Coctebel is regarded as a place of note by many writers and bibliophiles as the famous Russian Soviet poet M. A. Voloshin used to live and work there. The Poet's House which is a museum now, possesses the unique library and archives of the poet.

Konstantin Kovalev

A CONSUMING PASSION

The flat of Kiev writer and collector Y. A. Ivakin resembles a small museum of books and paintings of the beginning of the XX century. The article

covers the collection of book jackets and paintings by L. Baxt, A. Lentullov, R. Falk and others.

Alexander Baboreko
"THE GOLDEN TREE OF LIFE"

The well-known literary critic who has a special interest in the life and writings of I. A. Bunin explores the activity of the renowned writer during World War II.

Yuri Yushkin
SKETCHES TO THE YESENINIANA

The article is based on the new facts about S. A. Yesenin's literary career A number of autographs, photos and dedications are published here for the first time

O. Saikin
THE SMIRDIN OF YALTA

This was the name given to Sinani, a popular book-seller, whose bookshop at the seaside of Yalta was known by way of being a club for the writers who stayed in the Crimea.

A. Blum
THE WRITER AND THE BOOK

In 1926 on the request of N. S. Ashukin, an outstanding literary scholar, a few Soviet writers answered a questionnaire revealing their attitude towards books as a source of their creative endeavour. Many of the answers are cited here for the first time.

Vladislav Matusevich
THE MUSE OF READING

A. S. Pushkin viewed as a reader and bibliophile.

A. Linkov
YEGOR YEGOROV'S LIFEWORK

One could often see the bulky figure of the tireless collector of Russian antiquarian book rarities at the market of Sukharevka in Moscow before the Revolution of 1917. The article gives an account of his life and collection.

Margarita Lomunova
"I AM BOUND TO LOOK FOR MY OWN"

The critic gives an outline of the writings by Isai Kalashnikov, shows the scope of his reading.

Roman Belousov
WHO WAS HE, JULIEN SOREL?

The popular writer who has been doing a research of Stendhal's "Le Rouge et Le Noir" attempts to trace the prototype of the protagonist.

Alexandra Pistunova
"HAJJI MURAT"

Lansere as a book illustrator. His illustrations to Leo Tolstoy's "Hajji Murat" posthumously published by Golique and Vilbourg rank high in the artist's legacy.

L. Yuniverg
KNEBEL AND NARBUT

The history of a number of book illustrations by G. I. Narbut and of the artist's relations with the publisher I. Knebel.

Olga Yerokhina
IN THE STUDIO OF VLADIMIR VAGIN

Having visited the artist's studio, the correspondent studies the background of the book patterns maker's artistic skill.

Raisa Gershzon
IN THE WORLD OF MINI-BOOKS

The first Russian miniature book was printed in Moscow in 1829. At the last exhibition at the Scientific Library of the Moscow State University the mini-books of 453 titles were displayed.

N. Bogomolov
IN THE YEARS OF DAYSPRING

The turbulent years of 1918—1922 witnessed a remarkable progress in all spheres of Soviet culture. The article gives an account of a number of obscure literary almanacs and collections issued in those years.

A LETTER TO A BIBLIOPHILE FRIEND

An open letter written by a book collector in anticipation of a new catalogue of the "Academia" publishing house provides a peculiar sample of epistolography.

V. Kolominov
"TO YOU, YURY VENELIN"

Poet Foma Peshakov dedicates his poem to the author of the first Russian book on the history of Bulgarian people.

O. Zavalova
DICTIONARIES OF BRITAIN

A review of the exhibition of the British publishing production. The correspondent explores the vast world of encyclopaedic literature.

N. Leskov

AN UNQUENCHABLE PASSION FOR BOOKS

"Leskov appeared to be an expert and judge in that..." the writer's son said of his father's enthusiasm about books. The publication comprises Leskov's articles on the state of Russian publishing business at the end of the XIX century.

Boris Sadovsky

THE END OF THE BIBLIOPHILE

A little known story by the Russian writer is published here. Its subject is based on real facts.

Maria-Letizia Meacci, Maria Bartolozzi Guaspari

JOHANN GUTENBERG

An abridged translation of the book by the Italian scholars on the famous publisher and inventor of the printing press.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА И ЖИЗНЬ

Игорь Петрянов-Соколов. Служить людям. *Беседу вел Владимир Рожков* 7
Вадим Кожинов. Воплощенное в слове. *Беседу вел Владимир Ерохин* 13
Николай Палькин. Родина песен. *Беседу вел Алексей Корнеев* 30

БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОФИЛЫ

Евграф Кончин. Спасенные сокровища 37
Вл. Купченко. Жемчужина Дома поэта 45
Константин Ковалев. Всепоглощающая страсть 57

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Александр Баборекo. «Златое древо жизни» 65
Юрий Юшкин. Этюды к Есениниане 86
О. Сайкин. Ялтинский Смирдин 101

ДЕЛА МИНУВШИЕ

А. Блюм. Писатель и книга 109
Владислав Матусевич. Муза чтения 123
А. Линьков. Дело жизни Егора Егорова 165

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ КНИГ

Маргарита Ломунова. «Я обязан искать свое...» 177
Роман Белоусов. Кто же он, Жюльен Сорель? 186

РЕЗЦОМ И КИСТЬЮ

Александра Пистунова. Хаджи-Мурат 201
Л. Юниверг. Кнебель и Нарбут 226
Ольга Ерохина. В мастерской Владимира Вагина 237

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Раиса Гершзон. В мире мини-книг 249
Н. Богомолов. В зоревые годы 255
Письмо другу-библиофилу 268

ВОКРУГ СВЕТА

В. Коломинов. «Тебе, Юрий Венелин...» 273
О. Завалова. Словари Британии 277

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Неугасимая любовь к книге. Малоизвестная статья Н. С. Лескова. *Публикация и предисловие А. Корнеева* 283
Борис Садовский. Конец книголюба. *Публикация Юрия Юшкина* 292
Мария-Летиция Меаччи, Мария Бартолоцци Гуаспари. Йоханн Гутенберг. *Перевод с итальянского В. Ронина* 299

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ

Виктор Федотов. Старое издание «Гайаваты». Московские книжники 28
Олекса Ющенко. Сердце и слово. *Авторизованный перевод с украинского Леонида Вышеславского* 62
А. Р. Палей. «Поэт не просто сочетает строки...» 106
Юрий Мельников. Савкина горка 169
Петру Дудник. Читая Есенина. *Перевод с молдавского Михаила Яснова* 174

Именной указатель 333
Коротко об авторах 343
Резюме на английском языке 345

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА

Выпуск двенадцатый

Редактор ВОК *К. П. Ковалев*
Редактор издательства *М. Я. Фильштейн*
Художественный редактор *Н. Д. Карандашов*
Технический редактор *Е. И. Полякова*
Корректор *О. В. Добромыслова*

Н/К

Сдано в набор 26.10.81. Подписано в печать 09.04.82.
А—05372. Формат $60\times84^1/_{16}$. Бум. офсетная № 1, 80 г.,
бум. офсетная № 1, 120 г.
Гарнитура школьная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 20,46+0,93 вкл. Усл. кр.-отт. 45,11.
Уч.-изд. л. 20,33+0,65 вкл.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 3381. Изд. № 3343
Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Книга»
103009, Москва, ул. Неждановой, 8/10

Ордена Октябрьской Революции
и Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
113054, Москва, ул. Валовая, 28

Адрес редакции:
103009, Москва,
Большой Гнездниковский переулок, д. 10,
«Альманах библиофила».
Телефон: 229-23-47